

Сергей Юрьенен

СКОРЫЙ

В

ПЕТЕРБУРГ

Сергей Юрьенен



Ardis, Ann Arbor

Copyright © 1991 by Ardis Publishers  
All rights reserved under International and  
Pan-American Copyright Conventions  
Printed in the United States of America

Ardis Publishers  
2901 Heatherway  
Ann Arbor, Michigan 48104

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

IUr'enen, Sergei, 1948—

Skoryi v Peterburg / Sergei IUr'enen.

p. cm.

ISBN 0-87501-071-7

1. Short stories, Russian. I. Title.

PG3482.U74S56 1990

891.73'44—dc20 90-48803

CIP



## СКОРЫЙ В ПЕТЕРБУРГ

*Hauptbahnhof* во Франкфурте-на-Майне, этот многослойный спрут, оказался изнутри намного сложнее его недоразвитого воображения; прошло, таким образом, около часа, а уже смеркалось, прежде чем он умозаключил, что за истекшие сто с лишним лет все здесь миниатюризовалось, отчего искать, быть может, следует уже не поезд, а метро.

Так оно и оказалось. Только не городское, не *U-Bahn*, а *S-Bahn* — *гальнобойное*. И попасть на его уровень, оказалось, можно прямо из-под этих вот дымно-храмовых вокзальных сводов — лифтом. Эта пара бетонных кубов, оказалось, лифты.

С первой попытки он ошибся кубом. Но зато нашел зонт. Который стоял на своем острие в углу цельнометаллической кабины. Кто-то забыл.

И забыл предусмотрительно: когда *S-Bahn* вылетел на мост, пересекая неподвижность реки, темное стекло извне пошло крапинами. Которые вдруг превратились в струи, смывшие навязчивое отражение собственного лица. Две малолетки рядом с ним — по жанру панки из предместья — не сговариваясь опустились на пол. Он сжимал поручень; на уровне его паха качалась растрепанная голова химически-василькового цвета. Из ворота черной кожанки грязновато-бледным стеблем подбритая шейка, вместо волос как бы уже стекловата.

*Bad Homburg*. Переступив на перрон, он раскрыл над собой зонт. Изнанка оказалась лилового шелка.

На привокзальной площади мокла старушонка. Не по сезону на ней были легкие светлые брюки. Сумка через плечо, рядом огромный чемодан на колесиках. Была простоволоса, жидкие волосы жирно блестели, свисали намокшие лепестки синтетического жабо. Он взял ее под зонт. Воспрянув, старушка стала делиться с ним чем-то, из чего он понял только то, что она сейчас из Парагвая. *Ja*, кивал он. *Ja*. Явилось такси — палевый «мерседес». Энтузиастка дальних странствий держала над ним

его зонт, пока он укладывал в багажник чемодан. В верхнем правом углу крышки этого чемодана, сработанного из особо прочной пластмассы, имелось окошечко, сквозь оргстекло которого четко проступало имя и координаты. *Не* фрау Борман. Даже не фрау Менгеле, исчезнувший супруг которой ныне стоит миллион. Галантный иностранец, впрочем, не за нацистами охотился в этой стране. Тем более не за их полувдовами. Геронтофил кровавый, Раскольников, тот бы уже затверживал домашний адрес доверчивой туристки; этот нет. Совсем иной сюжет. *Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского.* Ему вернули зонт.

— *Viel Glück!* — кокетливо сказала фрау Пик.

Номер отъехавшего такси являл собой, тем не менее, перебор. Эт-то мы еще проверим... сказал он себе. Над головой барабанил дождь. Вдали смазано светила вывеска отеля «*Victoria*». Прошло минут десять, прежде чем он сложил зонт, открыл дверцу и сел на кожаное сиденье.

— Нах казино.

— Шпильбанк? — уточнил немец.

— *Genau.*

Основанное в 1841-м ландграфом Людвигом фон Гессен-Гомбургским [по идее брата (*кому?..*) Франсуа Блана] казино, пра-матерь общеизвестного заведения в Монте-Карло, оказалось неподалеку — на расстоянии, включая чаевые, одной только монеты (5 марок). Его место в «мерседесе» тут же заняла поджидавшая пара, промокшая до нитки, но хохочущая: им, видимо, повезло не только в любви.

Окруженная полуопавшими деревьями парка, обитель Дьявола — пятиглавые фонари по обе стороны крыльца — выглядела элегантно. Шесть отлогих ступеней взвели его под остекленно-железный навес. Дверь на себя: мне нужен миллион, Лукавый...

В начале первого он вышел в фойе, на ходу срывая с себя тщательно выбранный галстук. Он сдал его в гардероб. Возвращенный залог он снял со стекла до последней марки. Плащ. Ах, еще и зонт. Некто в багровом сюртуке с черными лацканами и обшлагами распахивает дверь. Сопровождает радушной фразой; известное *афшиевание* чувств вполне подлинных спасает, однако, от уплаты чаевых... — Прочь! прочь отсюда! — в ночь. *Я проиграл все... и вышел как очумелый; я до того страдал, что тотчас побежал к священнику (не беспокойся, н е был, н е был и не пойду!). Я думал дорогой, бежа к нему, в темноте, по неизвестным улицам: ведь он пастырь Божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на исповеди. Но я заблудился в городе и когда дошел до церкви,*

которую принял за русскую, то мне сказали в лавочке, что это не русская... Меня как холодной водой облило.

Он сидел на железной перекладине штакетника. Ощетинившийся подбородок *Брани меня, скота, но люби* упирался в костяшки руки, вцепившейся в другую, сжимавшую рукоять зонта. Поляна асфальта перед ним сияла сочным салатovým отражением газовой вывески. А ведь был момент! *Придя в воксал, я стал у стола и начал мысленно ставить: угадаю или нет? Что же, Аня, раз десять сряду угадал, даже Zero угадал. Я был так поражен, что стал играть и в 5 минут выиграл 18 талеров.* Счетверенные шаги пересчитали ступени крыльца; мимо него, уткнувшегося в зонт, прошла пара пожилых носорогов, на самке была преждевременная в начале октября норковая шуба, самец выбрасывал тупорылые ботинки. Потом с другой стороны на мертвенно-зеленую туманность из темноты выплыл их «вольво», тонна шведского металла, с большим упреждением защитившая пассажиров от всех невзгод на жизненном пути. Тонна развернулась к нему задом, озаряя рубиновым светом изморосную взвесь над асфальтом. 18 талеров, конечно, не миллион, но уж с транспортом-то не было б проблем. Он разрядился вслед удаляющейся тонне противотанковым снарядом, 45-миллиметровым, и ему стало пусто. Под ложечкой. Где, щелкая зубами, кувыр-калась через голову неутоленная крыса. Взбесившаяся от перенапряжения. Посреди Германии. Западного ее остатка. А ведь и у него была бабушка. *Babulin'ka* его. Столп веры, можно сказать. В девочках Распутина видела. В снесенной церкви на Семеновском плацу, и Григорий Ефимович был в малиновой рубашке подпоясанной. Он вспомнил ее, блудный внук. Как закладывала она шпилькой на ночь синий том Станюковича. Блики лампы на Лескове — красный переплет. Успенский Глеб, о Боже мой! И Гарин-Михайловский, но — не заплакать, нет, железки слез сжимаются всухую.

Появился игрок. Его дешевое пальто в обтяжку вызвало симпатию. Меж лацканов пальто белел расстегнутый ворот рубашки. Кадык, усы — скорее турок, чем араб. Из пачки турок достал сигарету, убедился, что последняя, отбросил пачку за пределы асфальта, этак бескомплексно отбросил, с полным пренебрежением к (вынужденной, быть может) среде своего обитания. Тоже и он, плащ расстегнув, вынул пачку английских «Кравен», произведенных, впрочем, в Бельгии. С полминуты они курили молча, неизвестно отчего остолбенев в этой туманности посреди вселенской черноты. По-английски он нарушил молчание:

— Ты имел удачу?

— Нет, — отозвался турок немедленно, поворачиваясь к свету

воксала. На лицо они были ровесниками, но черты турка жизнь обозначила, пожалуй, ожесточенней. — Сегодня не имел.

— Ты часто играешь?

— Каждую пятницу.

— Живешь во Франкфурте?

— Да... — Он поколебался. — В отеле.

— Ты на машине?

— Нет. А ты?

— Тоже нет.

— Ничего. — Выпростав худое запястье, турок взглянул на часы. — Сейчас придет автобус.

— Автобус?

— Да. Последний.

— Во Франкфурт?

— Да. *Hauptbahnhof*, южная сторона.

— Сколько стоит?

— *Kostenlos*.

Он не поверил. — *Free of charge*?

— Да, — подтвердил турок. — Это автобус от заведения. Каждый час ходит. Начиная с двух дня.

*Гуманно...*

Затянувшись, турок отщелкнул окурочек, угасший в сиянии асфальта, и с отчужденной насмешкой произнес по-немецки числительное.

— Сколько? — не понял он.

— 12 сотен, — повторил турок.

— Потерял?

Он кивнул.

— Сначала, — сказал он, — я выиграл. Сразу. Четыре сотни.

За пять минут.

— Надо было уйти.

— Э, — сказал турок. — Разве это деньги?

— А сколько тебе нужно денег?

— Мне?

Турок обдумал и усмехнулся.

— А тебе?

— Мне, — ответил он, — не деньги нужны, а свобода.

— Ты поляк?

— Русский.

В ответ на это турок почему-то промолчал.

— Между прочим, — тогда добавил он, — вот в этом казино играл Достоевский.

— Кто?

— *Достоевский*, — с нажимом сказал он. (Турок бесчувственно

молчал.) — Русский писатель. Великий русский писатель.

— Э, писатель... Здесь, — сказал турок, — рок-звезды бывают. Министры. Шейхи. Эмиры! — Помолчал. — Ты что, его видел?

— *Sure!* И ты его видел.

— Я?

— Портрет, — сказал он. — Не понимаешь? — Он вскинул руки, указательными пальцами размашисто начертил раму... — Разве не заметил? У кассы висит.

Турок деликатно прикоснулся к сгибу его локтя:

— Тэйк ит изи.

Из аллеи на свет медленно въехал автобус. Развернулся и замер, не открывая дверей. Темный изнутри. На боку отливало золотом «*Casino Express*». Сейчас же по получению этого письма вышли 10 импералов... Десять импералов, чтобы только расплатиться и доехать. Сегодня пятница, в воскресенье получу и в тот же день во Франкфурт, а там возьму *Schnellzug* и в понедельник у тебя. Ах, да! Буклет. Он же взял в фойе перед игрой. Он откинул полу плаща, вынул и разогнул. Репродукция не улучшила портрет, срисованный с дагерротипа 1861 года. 39-летний *Fjodor Michailowitsch Dostojewskij* без бороды, с пушком над верхней губой, с белым бантом, сидел тут нога на ногу в кресле посреди условной природы — таким юным Вертером.

— Смотри! — шагнул он к турку.

Тот взглянул.

— Ты говорил: писатель. Тут написано: «*Der Dichter*».

— Где?

Турок указал на текст под репродукцией.

Точно...

Минимизировали. В поэта превратили. В Огарева... Он спрятал буклет под плащ. Пальцы у него тряслись, а на уме вертелась вдруг невесть откуда возникшая поговорка: «Что для русского хорошо, для немца — смерть».

— Тэйк ит изи, друг, — повторил турок. — Я тут, знаешь, кого видел? Саба аль-Араби аль-Саба. И не на портрете, а живьем...

Автобус раздвинул двери. Взглянув на часы, турок в знак удовлетворения точно прицелился по стеклышку: «Германия!» — с чувством произнес. Было 0.35. Казино поспешно покидали урочные игроки. Турок направился к переднему входу; он — помедлив — предпочел воспользоваться задним. Сел у окна. Погодя место рядом занял англазированный черный джентльмен — светло-серое пальто, белое кашне. Приоткрыв невидимой рукой с зажатой у основания пальцев дымящей сигаретой портмоне из крокодиловой кожи, сосед стал пересчи-

тывать купюры по 500 и 1000, оставаясь при этом столь *cool*, что нельзя было понять, выигрыш он прикидывает или наоборот. Спрятав деньги, поправил кашне, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Игроки, превратившись в пассажиров, бледными коконами сидели в полумраке — обособленно и настолько *выеденно* индифферентно, что даже когда в бок их автобусу едва не врезался серебристый «порш», синхронно стартовавший с автостоянки справа, — никто головы не повернул на взвизг тормозов. Плядя сверху на отпятившийся «порш», на обладательницу похвальной реакции, которая беззвучно хохотала со своей подругой за лобовым стеклом, на дыры ртов и красные зигзаги сигаретных огоньков, он выдвинул из подлокотника пепельницу и закурил, добру и злу внимая равнодушно. Он тоже будет *cool*.

Оставив позади Рулеттенбург, где уже только бензоколонка продолжала бодрствовать в своем бессонном излучении, автобус вырулил на автобан. И растворился в скорости и тьме.

Франкфурт. *Hauptbahnhof*. Он выпал в осадок у южного подножия этого левиафана. Здесь еще кипела жизнь — с сильным гомосексуальным присутствием. Подперши цоколь колоннады, рельефно пребывали в ожидании спроса стриженные ежиком амбалы в черной коже с шипами, нервно расхаживали пергидрольные херувимчики в длиннополых пальто; поводя плечами, травести в мини-юбке нес свои парафиновые перси к новенькому «BMW», застенчиво приспустившему стекло...

Вбежав под высокие своды вокзала, он замер лицом к лицу с расписанием убытия. В Германии эти щиты интенсивно желтого цвета, и на параноидальном этом фоне — сочно-красный шрифт. Поэтому вначале он принял за расстройство зрения тот непреложный факт, что *Schnellzug* его — ушел.

Еще работала вокзальная пивная. Ее стоячие столы были вынесены под своды. Облокотившись о толстое дерево, он созерцал двойную перспективу — многоперронного устья заказанных ему путей и ночи в чужом городе. Двое здоровенных парней грохнули об его стол толстодонными кружками. Оба были в маскировочной пятнистой форме, словно из прокоммунистических джунглей выскочили, черный и белый: *US Army*. Боковым зрением он видел, как, сдвинув на взлобья совкообразные козырьки своих кепи, скорее, бейсбольных, чем армейских, товарищи по оружию, скалясь друг на друга, соударились пивом — как булыжниками.

— Эй, мэ! — окликнул его один. — Могу я купить тебе пиво?

— Оставь его, — сказал другой.

Почему бы и нет? Он отошел от стола. Вернулся он с таким же литром и солонкой. На ней была красная жестяная головка с забитыми солью отверстиями. Он постучал этой головкой о ладонь, после чего принялся облеплять влажной солью края своей кружки. Так делали демобилизованные офицеры в питерских пивных погребках, где мальчиком сживал он с дедом, кавалером Святой Анны и Георгиевским, еще при Сталине в начале 50-х. Соленую сушку грыз и вбирал. Впитывал. И все ради того, чтобы орально-алкогольная стадия его инфантильного опыта отозвалась перед концом света на этом хауптбанхофе. Зачем он это делал, он и сам не знал. В советскую свою бытность соли он на пиво не лепил. Он вообще не любил пиво. Защитники свободы заинтересованно следили за его первым глотком. Особенно белый, который не выдержал:

— И как оно?

— Нормально. — Он усмехнулся. — *Хоккей*.

— В Германии так не пьют.

— Так пьют в России. Хочешь попробовать? — протянул он красноголовую солонку.

Белый посмотрел на солонку, помотал головой и засмеялся. Лицо у него было попорчено бритвой.

— Ты прав. Вредно для...

Пытаясь вспомнить слово, он услышал, как бдительный негр предостерег словоохотливого собрата:

— *The guy gets on my nerves*.

— Эй, а ты куда едешь? — ослушался тот.

— Да никуда. — Отпил еще с солью. — Уже приехал.

— Ты русский, что ли?

*Вопрос вопросов...*

— *Yes, I am*.

— Слышишь? *Русский он*.

— Русский не русский, *he makes me mad*. — Негр отвернулся с пивом в кулаке. — *Leave him alone*.

Они продолжали пить молча. Белый тем не менее взгляды вал с подавленным любопытством. Он подмигнул ему:

— *Kill the Russian* — а?

— *Sorry?*

— Ничего, — сказал он, сваливая с большого пальца тяжесть кружки. — *Have a good trip, you guys*.

Перед витриной книжного магазинчика он остановился — взглянуть на себя. Вынул расческу и причесался. Из-за стекла на него смотрел толстый том в целлофане: «*Tough guys don't dance*». В переводе на немецкий.

В центре зала билетных касс зияла лестница в подземный

переход. Он стал спускаться, сознавая напрасность пива. Жизнь прожить тоже можно было по-другому.

Тут, под вокзальной площадью, расположилась дурная бесконечность, облицованная плиткой. Вполне достаточная для приступа агарофобии — когда бы потолок, всей тяжестью лежащей на нем площади, не давил фобией прямо противоположной. Ни той, ни другой он, впрочем, не испытывал. И вообще ничего. Кроме хмельной усталости. Он остановился. Вокруг, в искусственном освещении, было безлюдно, только вддали, среди приземистых колонн, виднелось лежбище панков. Человек 12-15 вповалку, как расстрелянных. Вслух он произнес по-русски:

— *Непреложность ночи...*

Он выбрал пойти налево и дошел до конца зала. Здесь была шеренга телефонных кабин и газетная лавка, еще открытая. За прилавком пожилая женщина еврейского вида, пальто внакидку, докуривала через мундштук «голуаз». Перед ней кипами лежали свежие газеты этого мира. Вдоль прилавка он дошел до экзотических типа «Женьминь Жибао», «Русской мысли», «Правды», потом вернулся. Выбрав «*Libération*», парижскую «*Libé*», он расплатился (пальцы у нее были запачканы типографской краской), сунул газету в карман плаща и вышел.

*National / International* — надписи на кабинах. *Позвонить в СССР?* Щель первого автомата была забита монетами. Соседний с виду функционировал нормально. Он снял трубку; но он не вспомнил ни одного номера, кроме того, который не менялся с тех пор как, их впервые, а ему уже было 17, подключили к городской сети. Он давно не звонил туда, где жизнь без него продолжалась со всей своей неизбежностью: отчим, мама... вряд ли они заглядывают в оставшиеся там книги его мятежной юности — апельсинно-рыжее бабушкино Евангелие, десяти-томник Федора Михайловича в каторжно-свинцовом переплете... его пометки на полях в их глазах вряд ли смогли бы оправдать, но помогли бы объяснить последующую судьбу блудного сына, который в подземельях франкфуртского *Hauptbahnhof'a* экстраполирует в настоящий момент прошлогодние факты о состоянии здоровья двух некогда близких ему провинциально русских людей, — и вешает трубку. Вопреки процессам некроза пусть они еще побудут живыми и вместе, единственной иллюзией о чем-то цельном на периферии, куда не добрались еще из центра его сознания извиристо-хищные трещины распада.

Он извлек записную книжку. Но как прикажете принять сию реальность? отлистывал пестрящие странички. Париж, Израиль, Лос-Анжелес, Лондон, Стокгольм, Нью-Йорк, Нью-Хевен, штат Коннектикут... одним было поздно, другим рано, а в общем —

не к кому было. И вдруг он вспомнил: *Б.!*

Однофамилец известного террориста, Б. должен находиться в телефонной книге. Два потрепанных тома ее лежали на полке. Он раскрыл верхний, закурил и стал водить нечистым пальцем по страницам. Ага! Не спуская пальца с найденного номера, он втокнул в щель марку, но монета не провалилась — застряла. Ее ребро блестело из щели, показывая свой узор: шести-конечную звездочку меж двух завитков. Он похлопал по автомату. Безрезультатно. На полу кабины, кроме пары окурков, недоеденного банана и половинки игральной карты с оттиском подошвы (пиковый валет), ничего не было. Он вышел. В желобе водостока у стены нашел бесполезные ему колготки, дымчато-серые. Что же касается шпилек, то в радиусе десяти метров дамы их не роняли, а дальше сожаление об утраченной монете улетучилось. На ходу он стал думать о Б., собирая воедино образ своего германского ровесника с его безрадостными усами подковой и мукой сосредоточенности в глазах.

У выхода на Кайзерштрассе одна кабина была свободна, но в ней нестерпимо воняло мочой. Персонаж в соседней был коротко стрижен, за исключением длинного обесцвеченного клока на затылке, он весь был обтянут мотоциклетно-толстой черной кожей и вел разговор всерьез, упершись в стену подошвой сапога. Третий телефон был на стене снаружи, на высоте, удобной для парализованных, которых в этом городе, видимо, хватало: в этот час автомат был занят инвалидом, который, сидя в своем кресле на колесах, вел беседу по-испански. О стену рядом с телефоном опиралась девушка с усталым лицом индейского вида. На ней были дешевые джинсы и куртка из кожаменителя. Без выражения она смотрела на инвалида, дожидаясь, когда он наговорится, чтобы повесить трубку и покатить его куда-то дальше в ночь.

С Б. они разговорились пару лет назад в Дахау, в кинозале мемориала перед сеансом, они оказались рядом, среди японцев, на жестких, нарочито дискомфортных сиденьях. Потом они хрустели вместе серым гравием на плацу, скрипели половицами в бараках, на кованых воротах просовывали пальцы в холодно-липкие железные буквы общеизвестного назидания «*ARBEIT MACHT FREI*», заглядывали в пустые печи, после чего в секции дезинфекционных камер музея, где предусмотрительно был оборудован сортир, Б. долго и трудно рвало желчью. Профессионально он был, как это называется в Германии, «свободным публицистом», политически самоопределялся либералом, но не левым, а в духе времени — консервативным, сексуально, по его словам, пребывал в полном ступоре после разрыва с женщиной,

«и может быть, с Женщиной как таковой», а в целом — мироотношенчески — в отличие от своего однофамильца, демонстрировал неизлечимый мазохизм. В перчаточном отделении своего «оппеля» Б. возил память о покойном отце, рядовом члене национал-социалистической партии: небольшой «вальтер». На рукояти «вальтера» спесиво-хищный орел прочно держал в своих когтях символический итог отцовской жизни: лавровый венок с тщательно спиленной свастикой. Кроме этого нуля, впрочем, Б. унаследовал еще и ателье по производству миниатюрных железных дорог, особо точных коллекционных моделей. Во главе производства стоял старший брат, регулярно переводивший интеллектуалу Б. фамильные проценты. Но поскольку гарантированное существование в этой жизни далеко не все, Б. по пути в Нюрнберг, где они и расстались, по-сыновьи горько усмехался над промотавшимся немецким отцом.

Освободившаяся кабина пахнула бензином. Нагретая трубка отдавала свежевыбритостью. Гадая о возможных метаморфозах однофамильца террориста, — в телефонной книге их была целая колонка, но только один публицист Людвиг Б., — он зарядил автомат и на кнопочной клавиатуре стал набирать номер. Жизнь, конечно, не вокзальная литература, но и в ней иногда стреляют из небольших пистолетов.

— *Kein Anschluss unter diese Nummer*, — ответила трубка магнитофонным женским голосом.

Не может быть. Он набрал снова. На этот раз аншлюсс произошел. Спустя минуту.

«Людвиг? Я в отчаянии, что тебя разбудил», — поспешно сказал он по-французски.

«Не понимаю», — ответил по-немецки мужской голос.

«Это Людвиг?»

«Нет. Это — Гюнтер».

«Извините... Вы говорите по-английски?»

«В Германии, — ответил Гюнтер, — мы говорим по-немецки».

«По-немецки я не говорю».

«А я говорю только по-немецки».

«О'кей. Их мехте мит Людвиг шпрахен».

«Его нет».

«Где он?»

«Ты что, из Интерпола, *Mensch? Er ist in Moskau*. От газеты полетел. На кинонеделю Фассбиндера. Теперь тебе ясно?»

«Ясно».

«Тогда гутенахт!»

Он вышел на Кайзерштрассе. Улица начиналась аллеей, где уютно желтели освещенные изнутри телефонные кабины, все

пустые. Перспектива уходила во тьму Франкфурта, но здесь, у вокзала, еще догорал — и по левую сторону ярче — первый вечер уик-энда: витрины, вывески. У порно-кинотеатра путь ему заступила крашенная брюнетка:

— 70.

— Но мерси, — вырвалось у него.

— Француз?

Он неуверенно кивнул.

— *Französisch ohne Gummi.*

Он отказался, а потом — через три шага — понял. Подумашь... сказал себе. В Париже иначе и не «французят». В одном из четырех залов кинотеатра еще не кончился последний сеанс. Там крутили историко-садомазохическую ленту «Россия под кнутом». На фотоснимках опричники-песьи морды готовились садировать роскошные телеса боярынь: дыбы, цепи, плети. Поперек шла надпись: «Для подготовленного зрителя». Пожилая, хорошо сохранившаяся кассирша за окном доедала ложечкой обезжиренный йогурт.

Он дошел до угла. Постоял, свернул налево. Одно за другим поплыли мимо заведения, которые в свое время — в московском Отделе виз и регистраций — он обязался не посещать. В подписанных им «Правилах поведения советского гражданина в капиталистическом мире» они, эти заведения, определялись как «сомнительные». Перед ними кое-где стояли зазывалы, рослые плечистые пожилые немцы. По возрасту — ветераны войны, по стати, возможно, и «СС». Огневой шрам на одном, другому вытекший глаз прикрывала узкая черная повязка. В своей нынешней роли они вели себя корректно по отношению к прохожим. За рукав не хватили, как это водится на Пигаль. Крыши машин вдоль тротуара равнодушно отражали сомнительное излучение реклам. В конце квартала он перешел улицу и вернулся на Кайзерштрассе. Он был *cool*.

Два нижних этажа углового дома занимал, так сказать, универсам секса. Он был открыт, хотя забрало решетки над входом уже приспустили. В освещенном фойе юноша и девушка, взявшись за руки, изучали рекламу видеофильмов. Неправдоподобно красива была эта блондинистая пара — как из сборной по теннису... из оперы Вагнера, из «Кольца Нибелунгов»... Магазин самообслуживания на первом этаже — печатная продукция и аксессуары — был уже закрыт. Со второго этажа, откуда доносилась музыка, по отлогой винтовой лестнице спустилась группа германских тинэйджеров призывного возраста. Они перекликались нарочито громко, причем один из них позволил себе попутно ударить ладонью по пластику перил: высокие, крепкие,

обескураживающе неагрессивные парни. Возможно, они и не пополнят ряды вермахта. В медбратья пойдут — катать инвалидов. Или отлетят от службы в Западный Берлин... Демократия, она предоставляет массу вариантов для уклонистов всех мастей. Что будет с ними со всеми? Если в бледный изумруд этой демократии вонзятся те хищные алые стрелы, которые некогда, в детстве, под настольной лампой, его еще молодой отчим, слушатель Военной академии, терпеливо выгибал по карте, остро очиненным карандашом «Тактика» беря в «клещи» луга, озера и леса «плохой» Германии?

Он поднялся на второй этаж.

Посреди зала полукольцом сомкнулись кабинки пип-шоу. Стоячие, они зияли распахнутыми дверцами, показывая одно и то же: зашторенное изнутри смотровое окошко, прорезь для монет, пепельницу, урну. Пошлепывая мокрой тряпкой, юный уборщик подтирал в этих кабинках черный линолеум, одновременно выметая оттуда смятые сигаретные пачки, сплюснутые окурки. Тревожно пахло дезинфекцией. Уборщик был в черной рубашке с белыми пуговицами, с виду итальянец. Роковый кок его аккуратной прически набриолиненно сверкал в свете люминесцентных ламп. Он изящно нагнулся, чтобы переставить свое ведро, оно было из мутного, белесо-бледного пластика. Выпрямившись, он не поднял глаз. Скрытые динамики пип-шоу сменили свое диско на нечто сразу и сильно проникшее под кожу — нью-йоркской песней о безумной тяге куда-то за семь морей, — он плохо разбирал слова. Женский голос отдавался соло необузданной, испепеленно-нежной истерике:

*Everybody's looking for something....*

Справа, в дальнем углу, трое-четверо запоздалых клиентов изучали экспозицию цветных полароидных снимков. Он приблизился. На снимках были голые девушки, разномастные, и под каждой фломастером был написан порядковый номер. Тут же, от экспозиции по правую руку, была дверь с красиво выполненной надписью, усыпанной блестками: «*SUPER SEX!!!*»

Над номером «7» была блондинка — взбитая высоко вверх прическа под панка, тощее, почти совсем безгрудое тело. На снимке она стояла на коленях, хищно распластав ладони на впалом своем животе. Ее растопыренные пальцы с длинными алыми ногтями десятью стрелами указывали на безволосый венерин холмик, под которым слегка зияли боттичеллиевой розовостью наивно-нагие губы, и в левой — колечко. Золотое, быть может.

Он попробовал ручку двери: открыто. Под взглядами созерцателей снимков он перешагнул порог и заперся изнутри. Как в туалете ночного экспресса. Черное кожаное кресло. Он сел, обнаружив у себя между ног урну, края которой были обтянуты сменным пластиковым мешочком. Черным. Вытянув ноги, он испытал всю тяжесть этого дня в чужом городе. *Ни одним словом, кроме слова «игра», нельзя назвать производимые в детстве манипуляции половых органов.\** Он расстегнул на себе плащ. Извлек сигарету. Решение темы визионерства в этой кабине, где слева от клиента на полочке лежала пачка клинексов, — было стереометрическим. Выпуклые формы прозрачного оргстекла перед его глазами сходились на нет, глубоко вклиниваясь в сцену, которая там, за стеклом, была решена в форме сердца. *Игрального сердца «червей»:* сцена была обтянута алым ворсом, изрядно, впрочем, затоптанным. Он вынул горсть мелочи, всю, что осталась, и одна за другой втолкнул в прорезь монеты на сумму в десять марок. После чего закурил и нажал на табло вызова кнопку под цифрой «7».

Песня тем временем продолжалась, снова и снова возвращаясь разрывающими сердце словами, что-то вроде:

*Some people want to use you,  
some people want to be used by you...*

Плюшевая занавесь пошла волной, и за стеклом на сердце сцены вышла женщина. Червовую даму с колечком он узнал не сразу. Она была уже одетой: туфли на низком каблучке, джинсы, дождевик. Сумка через плечо, и воротник поднят. Косметику она уже смыла, обнажив молодое утомленное лицо, вполне студенческое. Взглянув на него сверху вниз, она виновато улыбнулась:

— *Entschuldigung, aber...* — и отвела слегка руку с зажатой меж пальцами недокуренной сигаретой.

Носком туфли наступила на что-то, отчего желоб кассы по его сторону стекла захлебнулся от мелочи. Пара монет шлепнулась на пол.

— *Tut mir sehr leid!* До завтра, о'кей? Завтра я работаю.

— О'кей.

— Ауфвидерзеен.

— Ауфвидерзеен.

С пола монет он не стал подбирать. Дослушал в одиночестве песню про семь морей. Поднялся, машинально проверил «мол-

\* Зигмунд Фрейд, «Достоевский и отцеубийство».

нию» (хотя и не расстегивал все это время брюк) и вышел — навстречу пронзительно-пытливым глазам последнего посетителя пип-шоу, пожилого и несколько вычурного джентльмена с серебряно-седой эспаньолкой и в пенсне. На нем было нечто вроде пелерины: в одной лекарский баульчик, а между прокуренными пальцами другой истлевала толстая «гавана». Несколько смутившись от взгляда этого змия, должно быть, из породы первертов, невесть откуда возникающих в ночных мегаполисах, он исподлобья глянул на полароидный снимок и поспешил в туалет: *n-пиво, будь оно неладно...*

Вышел он оттуда как бы протрезвевший.

Выключив музыку, некто без лица подсчитывал выручку. Груда мелочи сверкала на черной стойке.

Внизу, в фойе, все еще стояла пара из эпоса о богах и героях — Зигфрид и Валькирия, — переместившись к витрине, где были выставлены образцы вспомогательных орудий из синтетического латекса и пластмассы.

У входа мялся человек с открытой банкой кока-колы в руке. Меж лацканов пальто белел расстегнутый ворот рубашки, чернела грудь... турок-эмигрант...

— О! Привет!

— Привет...

Игрок из Бад Гомбурга вяло взмахнул рукой.

— Уже закрыто, — сообщил он турку с радостью, и самому показавшейся неуместной. Тем более, что сам-то — посетил.

Они отошли на угол. Моросило. Он вспомнил, что имел зонт. Где это он его забыл? Почти все витрины уже погасли, только вспыхивал, меняя цвета, светофор. Он обернулся на стук каблуков. Это была та самая блондинка — окольцованная. С подругой. Мимоходом блондинка улыбнулась ему, и, взявшись под руку, женщины перебежали на красный свет, удаляясь в сторону вокзала. Турок сделал глоток из банки и утерся тыльной стороной запястья. После чего сказал:

— *I have some troubles...* Имеешь ты сигарету?

Они повернулись и пошли дальше по Кайзерштрассе. Квартал за кварталом перспектива погружалась во тьму. Вернувшись с крупным проигрышем к себе в отель, турок обнаружил, что дверь его номера взломана. Все было вверх дном. Нет, ничего не украли. Нет, в полицию он не звонил. В турецких делах немецкая полиция не поможет. Тут политика. Как русский, ты должен понять. Слышал о «Серых волках»? В газетах время от времени. Ну, что тебе сказать? Фашисты. Он, конечно, вернется в отель. Но не сейчас. Утром.

— Ты что, коммунист?

Турок допил свою кока-колу и тихо поставил банку на край скамьи. Какой он коммунист. Он политикой вообще не интересуется. Это политика, такая несудьба, заинтересовалась в нем, а он здесь, на чужбине, просто так, игрок... Не очень везучий, к тому же.

Они сидели в парке перед памятником И.-В.Гёте. Гуманист позлащенно мерцал на фоне черного небоскреба. Это был банк, один из гигантских столпов, подпирающих небо этого города. Он чувствовал, что околевает в своем прорезиненном плаще.

— Пошли? — предложил он.

— Куда?

— Не знаю. На вокзал?

— Слишком светло, — отказался турок, обдумав. — Я лучше здесь пересажу. Ты иди.

— Пойду, пожалуй, да... — Он вынул из кармана кулак. — Могу тебе оставить марок пять.

— Не надо, утром у меня будут. Должен мне один. Вот если сигарету еще... Нет, у тебя *последняя*. Не возьму.

И не взял.

\*\*\*

На Кайзерштрассе он, бегущий, был опознан. — Эй, француз! — крикнули ему вслед. — Так и быть, 50! Мит циммер, натюрлик!..

Из подземного перехода лестница на *Hauptbahnhof* оказалась перекрытой решеткой, но ворота Северного входа еще были приоткрыты. Их как раз запирали, но он вклинился. «У меня *Schnellzug!* — Он задышался. — Утром!..» — «Куда?» — спросил вокзальный шущман. «В Санкт-Петербург!» Недоверчиво шущман оглянулся на служащего в синем, который, выхватив из кармана расписание, стал лихорадочно листать страницы, отыскивая сей малоизвестный населенный пункт. «А билет?» — спросил нетерпеливый шущман. «Есть у меня!..» — полез он с готовностью и вытащил ключ с номерком. Это был ключ от вокзальной камеры хранения, и его оказалось достаточно. «Проходите», — впустил его шущман, после чего запер ворота изнутри.

А в камере машинка у него стоит. Портативный «Гермес-бэби», единственный отныне гарант существования...

Он сидел с девушкой, обернув ее полый плаща и, можно сказать, в обнимку. Они сидели спинами к запертым дверям вокзального почтамта. На самой верхней ступени мраморной

лестницы. Освещенная с болезненной яркостью лестница, рябя в глазах, сбегала глубоко вниз, и кое-где на ней сидели, свесив голову, пассажиры. Пережидали остановку в своем пути. Куда? Слева от них, подстелив красный спальный мешок и натянув на глаза бейсбольную каскетку, спал старик. Поджав ноги в новеньких джинсах и белоснежных шерстяных носках. Рядом с его кедами на мраморе лежала Библия, и спал он уверенно, как дома, хотя и был, скорей всего, из Штатов.

А она, которую по-братски он обнимал от холода, филиппинкой оказалась. Смуглая малышка, и с лицом, в котором было нечто мило-поросячье. Он читал «Либерасьон», она подсела. Не из Парижа ли он? Пусть будет из Парижа. По-английски она говорила намного лучше, чем он. Старшая сестра у нее в Нью-Йорке замужем. В Штатах она уже была, а в Европе первый раз. Только что из Амстердама *via* Лондон. Два года мечтала о Европе в пустыне. Разве на Филиппинах есть? Нет, но она в Ливии работала. Сестрой милосердия в психбольнице. Нет, не боится она никого, владея карате. Куда она сейчас, она не знает. В Швейцарию, быть может: в 5.45 есть скорый на Базель. Она достала из дорожной сумки сэндвич и оторвала ему половину. А как насчет Баден-Бадена? Как раз по пути в Базель. Можно и туда. А это интересно? Еще как: там есть казино. Рулетка, знаешь? Белый шарик? О, это ее интересует. Ей бы хотелось попытаться счастья, тем более, что денег — вот! — полно. Поедем вместе?

Бывшая медсестра покачивала книжечкой дорожных чеков.

— А как тебя зовут?

— Джой. Это не совсем филиппинское имя, но мой папа в банке работал. В американском. Он умер, — добавила она. — И я свободна. *Absolutely*.

— Мне вообще-то в Петербург, — раздумчиво сказал он. *Поскорей бы только в Россию! Конец с проклятой границей и с фантазиями. О, с какой ненавистью я буду вспоминать об этом времени. Прости только ты меня и не разлюби. Твой в е с ь отныне. Федор Достоевский.* — Но если в Петербург нельзя, то что ж! Поедем в Баден-Баден, Джой.

\*\*\*

*Откуда возникает соблазн причислять Достоевского к криминальным элементам? — спрашивал Фрейд в вышеупомянутой работе, отвечая так: Из-за выбора им сюжетов, где действуют главным образом убийцы, насильники и прочие эгоцентрические фигуры, что свидетельствует о существовании аналогичных склонностей в его*

*внутреннем мире, а также из-за некоторых фактов его жизни... Достоевский скорее всего уязвим как моралист.*

*Достаточно бесславлен и конечный итог нравственных исканий Достоевского. После иступленной борьбы во имя примирения изначальных импульсов личности с требованиями человеческого сообщества, он вынужденно регрессирует к подчинению мирским и духовным авторитетам — к преклонению перед царем и христианским Богом, к мелкодушному русскому национализму, — ко всему тому, к чему умы менее значительные пришли с гораздо меньшими усилиями...*

*Культура будущего немногим будет ему обязана.*

# УБИЙСТВО НА РАЗЪЕЗЖЕЙ

Средь бела дня с Разъезжей крик:

— Спасите! Убивают!

В полуподвале парикмахерской меня как раз *превращали в мальчика*. Когда раздался этот крик, лица в зеркале исказились, как в комнате смеха. Мама из зеркала пропала сразу, а парикмахерша все стряхивала ножницы, тряся рукой. Через зеркало за ней с разинутыми ртами мелькали к выходу клиенты с парикмахерами — черные и белые.

Ножницы со звоном разлетелись по мрамору.

В зеркале остался лишь один *благородный* старик. Во время блокады у него лопнули барабанные перепонки. Поэтому он не услышал, что на Разъезжей убивают и, закрывшись на диване страшноватой обложкой журнала «Крокодил», продолжал дожидаться очереди. Со стены над ним в мое зеркало смотрели два портрета — в красно-черной рамке Сталин и его сменивший на посту товарищ Маленков.

Меня уже наполовину *превратили*; в знак протеста под накрахмаленной салфеткой оба кулака еще были сложены в запрещенные к показу фиги. Кольца волос с золотистым отливом непрочно цеплялись за складки этой белизны, над которой из зеркала смотрел на меня скорбными глазами некто обезображенный. «Локоны, как у барышни», — любясь мной, говаривала бабушка. Сейчас, отрезанные острыми ножницами, эти локоны были обречены на исчезновение. Жалко было их ронять на серый мрамор, где шваброй эту часть меня сметут, насыпав влажные опилки. Но что теперь поделать? Я разжал свои кукиши и соскользнул на пол. В кармане я имел с собою спичечный коробок — увы, без спичек. Я подобрал три локона позолотистей и задвинул — на память бабушке о том, каким я был. А с улицы тем временем кричали:

— Спасите! Люди добрые!

Кроме двери, на Разъезжую смотрела витрина с золотыми буквами наизнанку. Но снизу в нее видно было только небо — низкое и неприязненное. Салфетка была туго, я не смог. По мраморным крутым ступеням я взбежал к двери и приоткрыл с усилием.

На улице еще было светлей, чем могло показаться из ярко освещенной парикмахерской. В сплошной стене домов напротив из окон высовывались люди. Отчаянно сигналила трофейная машина «BMW», наперерез которой, фартуков не сняв, подбегали продавщицы из булочной на углу Загородного. Убивали на нашей стороне и по-соседству: толпа на мостовой стояла запрокинувшись.

Наддав, дверь вышибла меня на тротуар — обязанного парикмахерской салфеткой.

Над Разъезжей кричала голая женщина.

Направо тут, шагах в десяти, овалом облупленной стены в дом вклинивалась подворотня; над ней, над тротуаром, был в небо выдвинут балкон. Обнесенный с трех сторон решеткой с железными лилиями. Вот в нем, как в клетке, она и бесновалась, прикрываясь одной рукой. С четвертой стороны была дверь в квартиру — высокая, в две створки и со стеклами. Женщина прижала к ним ладони и прильнула, глядя внутрь. Потом она отпрыгнула, себя за волосы схватила и вздулась горлом:

— Он Мишу порешил!

Слева от парикмахерской остановился 25-ый автобус, разжал дверки и выпустил своих пассажиров, один из которых подхватил меня и перенес к витрине парикмахерской. Все они, водителя включая, вбежали в толпу — уже большую, как на демонстрации в праздник. За ней послышались резкие гудки. Толпа раздвоилась и выпустила милицейскую карету, которая, распахивая двери, передними колесами въехала на тротуар. Выскочили милиционеры и, на бегу выдергивая наганы, скрылись в подворотне.

Женщина на балконе руками и коленом упиралась в двери. «Ой, люди! — крикнула она. — Сейчас он и меня зарубит!» И верно: из дома саданули так, что сдвиг дверей треснул, и руки женщины отдернулись. Еще удар, еще!.. Она — плечом, потом она прижалась, пытаясь удержать ногами, затылком и спиной — босая, с распущенными волосами и голая над улицей, как в бане: живот и груди на ней подпрыгивают от ударов.

Еще один автобус выпустил людей:

— Что происходит, граждане?..

И сразу умолкали с открытым ртом.

Над Разъезжей раздался звон железа и стекла — обеими рука-

ми женщина закрылась от осколков.

Вдруг, вся в крови, отпрыгнула к перилам.

Ахнув, толпа на мостовой откатилась, давая место. «Назад, дуреха!» — снизу взревел милиционер с усами а ля Буденный, но было поздно: схватившись за перила, она закинула колено, уперлась, оттолкнулась и вывалилась в небо — волосами вниз.

Удар об мостовую был такой, что все оцепенели, а старушка рядом со мной перекрестилась.

Потом все закричали, показывая пальцем на балкон. Оттуда вниз смотрел какой-то гражданин. В рваном дождевике и стриженный под «ежик».

— Убийца! Убийца!

Он уронил топор и сжал виски. Схватился за перила и рухнул на колени. Он рыдал и разбивал о лилии свое лицо. Из дома вышел на балкон милиционер с наганом. Потом их стало много: стекло хрустело под подошвами. Они подняли окровавленный топор, оторвали гражданина и увели с собой, закрывши над Разъезжей двери с выбитыми стеклами.

Приближались сигналы «неотложки».

Я спустился в парикмахерскую и влез в кресло. В зеркале передо мной появилась голова — наполовину стриженная, наполовину с локонами. Лядя в «Крокодил», расхохотался благородный глухой старик.

Захлопала дверь. С Разъезжей, потирая руки, возвращались парикмахеры с клиентами.

— Ну, жизнь пошла! — удивлялись они. — Середь бела дня уже убивают. Как каких-нибудь баранов, понимаете.

— *Амнистия*, — повторяли они. — Клемент Ефремычу спасибо. Навыпускал бандитов.

— При чем тут Ворошилов? Это все Берия, его козни. А вот будет суд — всплывет!..

— Нет, вас, мужчины, хлебом не корми: все к политике сводят. А тут все просто. Тут Любовь!

За моей спиной появились в зеркале женщины.

— Красивая и молодая! — сказала мама. — Жить и жить!

— А ты на его место встань! Годами лелеешь где-то светлый образ. Являешься, а этот образ какой-то Миша...

— Зинуль! Ребенок.

— ...понимаешь-шь. Любой бы голову потерял!

Превращение в мальчика было закончено при помощи механической машинки, даже и внешне похожей на щипцы для вырывания волос. Спереди они мне оставили чубчик, который подравнивали ножницами.

— Освежить?

«Тройной» с пульверизатором, с оранжевой резиновой грушей в желтой сеточке отставили.

Салфетку сняли.

Мое место заняла мама, а я влез на диван и, чтобы посмеяться, взял журнал, отброшенный стариком, которому обильно намазывали горло. На передней обложке был свирепый крокодил с вилами наперевес. Я представил, как эти зубцы протыкают мой живот. Я стал вдыхать по-рыбьему, чтоб не стошнило. Голова закружилась. На задней обложке была карикатура на палача какого-то народа: тучный карлик в мундире с ожерельем из черепов, в галифе и сапожках. Стоит в озере крови и держит зазубренный топор. Кровь с топора срывается каплями в озеро, где плавают, с бессильным гневом глядя, отрубленные головы народа, которому не повезло.

Стошнив на мрамор, я пришел в себя. Маме парикмахерша сказала:

— Сиди, сиди! Петровна подотрет.

Когда мы вышли, движение восстановилось, но под балконом с лилиями еще стояли люди, обсуждая. Сеялся дождик, о котором бабушка говорит «ситничек». Без локонов голове стало холодно. Справа по Разъезжей подходила колонна новобранцев. С чемоданами, рюкзаками и просто мешками молодые люди в пальто и кепках некрасиво валили за военным с флажком. Меня потянули с тротуара.

На месте, где стоял автобус, меж сизыми торцами переливалось радужное сияние. Словно не масло из мотора, а обронили павлинье перо. Красиво. А с собой не подобрать.

Меня дернули, отрывая глаза. И я пошел — но выворачиваясь весь назад.

# НОВАЯ ЭПОХА

Отчим получил новое назначение.

Приехали и мы.

Гостиница была на Сталинском проспекте.

В номере пахло «Тройным» одеколоном. На тумбочке лежали две книги — «Саламбо» и «Танк». Эту размалеванную моими дошкольными каракулями книгу для служебного пользования я знал наизусть — вплоть до германского танка «Маус», горы металла с уроненным стволом. Другая была без картинок. Шкаф был пуст, только в нижнем ящике валялась знакомая щетка и темно-зеленая бархотка — наводить лоск на хромовые сапоги.

Окно выходило на проспект как раз в том месте, где он пересекал центральную площадь этого города. Она была больше, чем Дворцовая, хотя памятник на ней поменьше Александрийского столпа.

Отчим пришел со службы и взял меня за папиросами.

Мы пересекли проспект.

Вождь стоял лицом к Востоку.

Он остановлен был в движении. Усы улыбались, правая рука была приподнята. Как отчим, он был в фуражке, но при этом в зимней форме — в шинели с длинными гладкими складками. Не в галифе, а в брюках, но из-под которых выглядывали носки армейских сапог, подошвами приросших к постаменту, где на боках зеркальных блистал закат. Мраморные ступени были завалены привядшей сиренью — данью горожан. С четырех сторон квадраты клумб с казенными нарциссами.

Отчим вздохнул.

— Отца он не любил, но к Матери привязан был всю жизнь.

Помолчав, я высказал идею принести Ему цветы.

Отчим дернул щекой.

— Не по-мужски. Это пусть штатские...

Из новой школы я возвращался один. У Окружного Дома офицеров под гранитным постаментом Танка-Освободителя рас-

крылись сизые тюльпаны. Свежевыкрашенный, с обновленными алыми звездами, он смотрелся на фоне облаков как новенький. Но я знал, что это боевой Т-34. И что орудие его отнюдь не случайно взведено на Запад.

В номере я облюбовал себе нишу окна. С книжкой «Восстание на «Стерегущем» я забирался на гладкий белый подоконник, упирался ногами в простенок — и уходил в море, в беспокойную Балтику Семнадцатого года. Я знал, что большевики победят, но все равно было тревожно, и я возвращался, устремляясь на проспект и площадь — где у подножья памятника, как муравьи сновали штатские. Первомайский парад прошел здесь без меня. Но предстоял Ноябрьский — по случаю Сорокалетия Великого Октября. Я знал, что этот парад превзойдет мои ожидания. Мама давила на отчима, чтобы скорее выбил у начальства квартиру, но лично мне из офицерской гостиницы уезжать не хотелось. Такого НП — с видом прямо в Центр жизни — у меня еще никогда не было. Даже на лето мне никуда не хотелось.

Мы все еще жили в гостинице, когда я пошел в третий класс.

Ночью я проснулся от грохота.

Было сильно накурено. Яростно отдергивая папиросу, отчим смотрел в окно на площадь, где лягали траки и надсаживались моторы. Он был в фуражке, воротник шинели поднят. Охваченный надеждой, я рванулся из-под одеяла:

— Война?

Но мама приложила палец к губам, и я отпал обратно, решив что началась подготовка к параду.

Утром отчим был не на работе. Он лежал на диване под своей шинелью. Набрякшая рука свисала к цинковому тазу. Сапог с него мама не сняла.

Бутылка из-под «Московской» откатилась по половицам и со звоном врезалась в другую.

Я приподнял шинель за ворот и увидел небритую скулу.

— Где мама? Мама где, Гусаров?

Он скребанул щетиной и застонал.

— Исподтишка-а, — заговорил он. — Под покровом ночи! В своей державе яко тати. Ну, осквернители, ужо вам!..

Захрипел и вылез, и навис — с торчащими погонами. Надсаживался, головой мотая, ругался, но не мог.

Занималось утро — серое и мозглое.

Я подошел к окну поближе.

Памятник исчез.

Я не поверил своим глазам. Протер их и забрался в нишу.

Не было Его. И даже признаков того, что еще вчера перед сном в самом центре этой центральной площади, озаренный

прожекторами, высился Вождь. Центра не стало тоже — все было плоско и безбрежно. Сквозь туман лоснился разлив торцов.

Я повернулся к отчиму.

Весь черный и со лбом, являвшим нечеловеческую муку, он нависал над тазиком.

— Прости, — сказал он. — Пойми меня, сынок...

Я открыл рот, но горло мне сдавило.

— Ведь я Ему присягу дал. А они! На горло трос и оземь...

— Папа! — услышал я себя. — Не надо, папа!..

Как тошнит мужчину, в этой жизни я еще не видел. Тем более, как он, мужчина, плачет.

Это было без слез. Да и рвало его всухую.

А между спазмами он выражался и кулаком грозил, мне обещая, что Армия такого не снесет. Поднимется! Вот увидишь, сынок!..

Но не случилось ничего.

Пасмурным праздничным утром 7-го Ноября колонна его танков пронесла свои орудия мимо битком набитых правительственных трибун и опустевшей площади. Пролязгала вниз по проспекту, отныне Ленинскому, и скрылась за пределами окна, уступив место издалека рокочущим частям ракетной артиллерии — оружию эпохи новой.

# ОХОТА НА СВЕТЛЯЧКОВ

— Подумаешь, — говорю я, задетый за живое этим словом *именной*. — У моего тоже был. Бельгийский. Только он его в Фонтанке утопил. Зато у него есть серебряный крест.

— Он в Бога верит, да?

Мы смотрим друг на друга, упираясь локтями в землю. Мы лежим на самой макушке горы. На опасной полянке — между двумя обрывами. Это самое высокое место во всем Сочи, наша с ней полянка. Если встать на колени, то над травой видно море. Оно далеко: полгорода, который под обрывом, отдаляет взгляд... А на другом горизонте — горы. Иногда их видно, иногда нет. Но все это нам сейчас неинтересно. Мы утонули в траве с головой, и зеленое уютно накрывает нас и эту толстую Гретку, которая за нами увязалась.

— Ты что! — решаю я соврать на всякий случай. — Конечно, нет. У него не под одеждой носить, а другой. Георгиевский называется. За отвагу. Раньше вместо медалей за отвагу кресты давали. При царе.

— Фонтанка — это что? — Гретка говорит.

Есть же такие... А еще в четвертый класс пойдет. Дура. И нос облупился.

— Ты что, не была в Ленинграде?

— Не-а.

— Река такая.

— В Ленинграде? Там же Нева.

— И Нева. И Фонтанка, и канал Грибоедова и... Много еще. И Мойка, — вспоминаю я.

— А на следующий год мы, знаете, куда поедем? На Волгу. Где мама с папой родились. И все мои бабушки и дедушки. Это они потом в Казахстан переехали, а до этого на Волге жили. Волга больше Невы. Волга самая большая русская река.

— А Нева, — говорю я, — самая глубокая.

— Он у тебя, наверное, тоже коммунист, — говорит Света.

— Коммунист, конечно, — снова вру я. — А как же? Взрослые, они все коммунисты.

— Не все. Тетя Паша, например.

— Ну, тетя Паша... Она не в счет.

— Почему — не в счет?

— Она же домработница.

— И что с того?

— Раба.

— Умный какой, — говорит Гретка. — Умный-умный, только неразумный. Рабы в Америке живут.

— В Америке?

— В Америке. Раньше в Африке жили а теперь в Америке. И они черные.

— Черные? Да? А почему моя мама говорит: «Совсем меня рабу превратили»? Кто по дому работает, тот и раб. Потому что это черная работа, а мама хочет государством управлять, и сам Ленин так обещал. А раньше у нас тоже были домработницы, — говорю я Свете. — Две. Тетя Ксюша, а потом Ядзя. А теперь нет. — Я вздохнул. — Потому что Хрущев у нас тыщу отнял. А у вас?

— Не знаю. Тетя Паша не из-за денег у нас работает, а потому что меня жалеет. Вообще-то она всех жалеет, даже дедушку. Потому что Бог, это любовь.

Гретка засмеялась. — Скажешь тоже... Смотри. — Она отняла ладони от щек и показала нам указательный палец с обкусанным до мяса ногтем. Схватила за этот палец и, глядя на Свету, туда-сюда подвигала им в кулаке.

— Пф-ф, — сделала губами Света, но щеки у нее зарделись.

— Ну, и что? — говорю.

— Так, — и улыбается загадочно.

— Что так?

— Так, и все. Много хочешь знать. Верно, Света?

— Так говорят, когда сами не знают, — говорю я.

— А ты думала, наверное, что я не знаю? Я еще со второго класса знаю. А ты с какого?

— Про что? — говорю.

— Про то. Не с тобой разговаривают.

— С первого, — говорит Света. — Но это любовь для взрослых, а та для всех. Которая Бог.

— Это почему для взрослых? Вовсе нет! Один русский дядька моей сестре так предлагал. Когда Эльвирка в пятом классе была. Для взрослых!

Гретка с корнем выдернула травинку и стала покусывать стебелек. Только позавчера они поселились в даче напротив, а волосы

у нее уже выгорели до белизны и лицо шелушилось, все красное. А Света загорела так, как только местные загорают. Я даже думал сначала, что она нерусская, такой ровный, гладкий загар покрывал ее лицо и шею, и ключицы, и ниже. Она разлепила губы:

— Не знаю. Так тетя Паша говорит.

— Через год, — сказала Гретка, — и я пойду в пятый.

Мы помолчали.

— И все будут немецкий изучать. А я на уроках немецкого буду книжки под партой читать, как Эльвирка. Потому что мы и так немецкий знаем.

— Подумаешь, немецкий... Я по-немецки тоже знаю.

— Ну, и что ты знаешь?

— Знаю. Хэнде хох знаю. И еще: ахтунг, партизанен, рус, сдавайсь, матка, шнеллэр, яйки, млеко, дранг нах остен, Сталин гут, Гитлер капут. Вот.

— Эх, ты, *млеко*. Кому ты это говоришь? Ведь я — немка, понимаешь? Это мой родной язык, а ты: хэнде хох.

— Как это, немка? Из пленных, что ли?

— Не из пленных. Из русских. Русских немцев.

— Которые за наших?

— За ваших, за ваших. Успокойся.

— А ты не хвастайся. Света вон китайский знает. Самый трудный язык в мире. И молчит.

— Китайский? У нас никто китайский не учит. Ни одной школы в городе нет.

— Еще бы. На всю СССР одна такая. Здесь, в Сочи. И Света в нее ходит. Скажи ей, Света.

— Так мои родители захотели, — говорит Света. — Когда я изучу язык как следует, они заберут меня к себе в Пекин. Но это еще не скоро будет.

— Что, такой трудный?

— Очень. Такой, что голова иногда болит. И даже часто. Почти всегда.

— Зато в Пекин поедешь.

— Да. Но мне без тети Паши как-то не хочется в Пекин. Лучше мы с ней в Новый Афон будем ездить. Мы, Алеша, сегодня снова едем.

— Когда?

— А как тетя Паша по дому управится. Может быть, сегодня и вернемся.

— В гости? — влезла Гретка.

— Да, — сказала Света. — К одним добрым людям. Вечером выйдешь, если вернемся?

— Конечно, выйду, — говорю.

— А выпустят?

— Не выпустят, сбегу, — говорю, и Света улыбается.

— Э-эх, — вздыхает Гретка. — Наверное, хорошо у кого родителей нет. Да, Света?

— Конечно, спокойней, — говорит Света.

— А ты разве еще не носишь лифчик? — спрашивает Гретка.

— Не-а, — крутнула Света головой. — А ты?

— Ношу, конечно. Еще с прошлого лета. Показать?

Гретка села, выставив из-под подола красные колени и ляжки, и медленно, по одной отстегнула пуговицы на своем сарафане, глядя на нас, и Света покраснела, потому что один мешочек лифчика завернулся трубочкой и мы увидели над ним белую грудь — совсем как у взрослых женщин, только еще красивей, с тупым розовым кончиком. А потом Гретка тоже посмотрела на эту грудь, ойкнула и, хохоча, шлепнулась на живот. И они стали шептаться и хихикать, и Света тоже, и мне стало неудобно лежать. Я поднялся на ноги. Передо мной сверкало море. В траве по пояс я сбежал вниз, на дорогу. Разогнавшись, ноги сами вынесли меня на шоссе. Погодя они стали замедляться, влипая подошвами в асфальт. Я добежал до столба, к которому была прибита погнутая жестяная дощечка с расписанием редкого автобуса, сделал медленный круг возле перееханной докрасна змеи и, набрав книзу скорости, вернулся к девчонкам. Но они не хотели смотреть змею, хотя я сказал, что это настоящая медянка, а не какой-нибудь там уж. — Подумаешь, невидаль, — обидно добавила Гретка, и я улегся обратно. По крайней мере, после пробежки лежать снова стало удобно. Девчонки в упор смотрели на меня и слегка улыбались, Света тоже.

— А скажи, Алеша, только честно... Ты пионер?

— Пионер, — кивнул я. — Меня еще весной приняли.

— Вот и дай тогда честное пионерское, что не соврешь, о чем мы спросим.

— А о чем?

— Дай честное пионерское, тогда узнаешь.

Я пожал плечами.

— Ну, даю.

— Как следует скажи.

— Ну, честное. Ну, пионерское. Ну чего?

Одинаковая улыбка змеилась на их губах.

— Ты себя трогаешь?

Щеки мои вспыхнули.

— Как?

— Тебе лучше знать. Как все плохие мальчики и некоторые девочки тоже.

Под их пристальным удвоенным взглядом щеки разгорались все сильнее, но я изо всех сил старался не смигнуть.

— Так да или нет? Что же ты молчишь? Сам слово дал, никто за язык не тянул. Или ты хороший мальчик? Паинька, да? И ничего еще не знаешь?

— Про что? — спрашиваю я эту ехидину, и они смотрят на меня, как на ребенка, и Света тоже.

— Про это, — говорит Гретка. — Эх, ты. А мы-то думали...

Я сажусь и смотрю вдаль, на всякий случай сжимая ноги. Девчонки садятся тоже. Выгибаются, потягиваются. Даль так чиста, что между белой головой и черной я вижу не только Ахун-гору, но и самые далекие горы. Если не знать, то через семь шагов можно сорваться с полянки в пропасть. Глубоко внизу долина. Она вмещает оставшийся город и чайные плантации, и деревеньки, которые называются аулы, и потом поднимается Ахун-горой, которая величиной с пенек. Там, за ней, если прищуриться и взглядеться как следует, — белые хребты гор. Там самый Кавказ.

— Так и быть. Расскажу один анекдот, и если ты поймешь, то... Знаешь, Света?

— Смотри какой.

Гретка шепчет ей на ухо. — Нет? Ну, слушайте тогда. Ты-то поймешь, а он — посмотрим. Однажды одна девушка, она уже совсем взрослая, ей уже шестнадцать было — Приходит на берег моря. Рано-рано, когда никого еще нет. И хочет поплавать, да: а зовут ее Тутка... — Такого имени нет, — говорю я. — Неважно, это анекдот. Ну вот. Как там дальше? Да: и то ли купальник забыла надеть, то ли почему-то решила искупаться без ничего (Света фыркнула...), да, потому что все равно никто не увидит. Ну, и она оставляет на берегу свое красивое платье, а когда выходит, вся мокрая, — платья нет. Пропало. Кто-то, значит, стянул. — У нас говорят: *стырил*, — сообщаю я. — А у нас, как я сказала. Девушка идет без ничего по пляжу и вдруг находит большую лупу, ну, стекло, которое увеличивает, во-о-от такое, — и руки описывают над нами круг, который кончается хлопком, а я говорю, что таких увеличилоч и в помине нет. — Хочешь слушать, слушай, не хочешь — не мешай. И без тебя плохо помню. И девушка ставит его на бок, это стекло, ну, чтобы не видно было спереди, потому что проходит старый рыбак. «Рыбак-рыбак, — спрашивает она. — Ты не видал Такую?» Ой, — она шлепнула себя по губам. — Сбилась. Все из-за тебя. Забыла сказать вначале, что на пляж девушка пришла с болонкой, которую звали Такая, и не спорь, это, наконец, невыносимо. Рыбак посмотрел на нее, а она ведь, слушай внимательно, стоит

за лупой (и Света снова фыркнула...), ну, за стеклом. Представляешь, во сколько раз оно увеличивает? Вот. И говорит, — сделала губы трубочкой и грубым голосом рыбака сказала нам: «Сколько лет рыбаку, а такой не бачил. Прости, Тутка», — и пошел восвояси. Все. Чего вылупился?

— *Бачил* это по-украински, — говорю я.

— Без тебя знаю. Это, чтобы складно. Поняла, Света?

— Угу. Я знала наподобие. «Глубина четыре метра, начинающим опасно».

— Подожди ты! Видишь, он не понял.

Я откинулся в траву, положил под затылок руки, сплетя пальцы. Вкруг дырки неба чернели стебли. Дырка бездонная, и в ней точка. Неподвижная. Соринкой. Кроме упорной мысли, что такой увеличилкой что угодно можно поджечь, собрав солнце в одну точку, мне ничего не лезло в голову, и я молча следил за ястребом.

Колено Гретки толкнуло в щеку.

— Прости, Тутка, — требовательно сказала она сверху. И пыхнула губами: — Не понимает. Слушай, а так... — и одним словом сказала то же самое.

— Проститутка, ну.

— Что это значит, не знаешь?

— А что?

— Ничего.

— Нет, а что это значит?

— Скажи ему, не мучай, — услышал я Свету.

— Ты скажи. Столько времени дружите, а он у тебя ничего не знает. Не по-товарищески, Светочка.

— И скажу. Думаешь, не скажу?

— Скажи, — прошу я, двигая глазами за ястребом.

— Такая женщина, которая... ну, которая предлагается... Нет.

— Света выдохнула. — Лучше у отца спроси. А не скажет, я скажу. Только потом. Все нужно знать, Алеша.

— Только не говори, от кого слышал, — добавила Гретка.— Ладно?

— Ладно, — вяло согласился я.

— Вот и не сказала.

— И не сказала.

— А я *знаю*. Знаю, почему не сказала.

— Знаешь?

— Знаю.

— И ошибаешься. Я просто при тебе не хочу говорить с ним про это. При такой дуре, как ты.

— Сама дура. — Гретка мелькнула надо мной красными труса-

ми. — Дура и влюбилась. — Трава стихла, и я понял, что Гретка стоит неподалеку. Шла бы домой, пожелал я. Вот привязалась... Как это не понимает человек, что никто его не хочет? Я чувствовал себя исчезающей точкой. Подо мной — пропасть, и, как ястреб, распластавшись, я повис над ней. *Влюбилась*. Я боялся шевельнуться. И вдруг дернулся от неожиданности. Но тут же прикусил губу, глядя как веточкой она чертит на моем животе. Боль была терпимой. Я молча ждал.

Донесся крик: «Светушка-а...» И повторился.

Я приподнялся на локтях.

Белые царапины на глазах делались красными и вздувались.

— Что это? — почему-то прошептал я. Мы оба смотрели, как, часто дыша, поднимается и проваливается непонятный знак.

— Так. Иероглиф. — Она запросто выговорила это трудное, редкое слово.

— Красивый. Это какая у них буква?

— Не буква. Слово.

— Какое? — Я не поднимал на нее глаз.

— Я потом тебе скажу, ладно?

И вспрыгнула на ноги, обдав меня ветерком из-под платья.

Стоя порознь в высокой траве, мы с Греткой смотрели, как их домработница опустила кошелку и надевает ей на голову панамку от солнца. Держась за руки, они ушли вверх по шоссе.

Когда мы проходили мимо кирпичной стены их гаража, Гретка сказала:

— А знаешь, почему они на автобусе ездят? Шофер от них ушел. Теперь некому их распрекрасный «ЗИМ» водить.

— Раньше тебя знал.

— А скоро у них и дачу отнимут. И будут, как все.

— Дачу? Кто отнимет?

— Государство, — сказала Гретка. — И ни в какой Распекин она не поедет. Ее в детдом сдадут. Потому что ее дед душегуб, только до него еще очередь не дошла. Вы на какой пляж идете вечером?

— Не знаю, — сказал я и толкнул калитку.

Наши сады разделены колючей проволокой. Невидимой.

От калитки лестница уводила глубоко вниз, к водопроводному крану, под которым мама мыла посуду. Я спускался мимо сплошной темно-зеленой стены, и бетонные пограничные столбы, выступая острогранно из листвы, сопровождали меня в пути. Я задержался, чтобы посмотреть в просвет на обреченный сад. Без присмотра он одичал, разросся вольно, звенел и поблескивал, имея внутри себя каменную немоту трехэтажного дома. Ветви еще незрелого винограда густо оплели удобную прово-

локу, и широкие шершавые листья закрывали вид на ту сторону. Однажды я проник лицом в глубь коварной листвы и увидел ее деда. Он собирал паданцы алычи. Папа не раз говорил о нем: генерал, заслуженный человек...

С тарелкой в руке генерал переваливался на корточках, тяжело кружа возле мощного ствола алычeveго дерева, корнями проросшего землю. Генерал был в одних штанишках до колен, и на колени ему обвисал белый живот, а на голове был расстелен клетчатый носовой платок. Солнце ему, наверное, вредно. Чтобы платок не съехал с лысой головы, генерал закрутил его с четырех сторон смешными рожками. Набрав себе алычи, он поднялся с трудом, спустился к каменной раковине и под скудной струйкой долго ее отмывал. Тщательно, по штуке. Потом, возвращаясь из лавки с хлебом, я видел, как он сидит в шезлонге на террасе и вынимает изо рта косточки, и над баллюстрадой стреляет ими в свой сад. Сплюнет в ладонь косточку, сдавит пальцами скользкость — стрельнет. Косточка иногда выскальзывала и через некоторое время внизу щелкала о камни. Но в общем стрелял он хорошо.

Сейчас из-за проволоки безлюдьем звенели кузнечики и дом, как бы прислушиваясь к самому себе, стоял с закрытыми глазами.

Мама обернулась с нижней площадки. По ее лицу я понял, что тарелки жирные.

— Где это ты блудил?

Я пожал плечами.

— Красный весь. Ты не перегрелся? А ну, поди-ка.

Я спустился.

Она стяхнула руку и локтем потрогала мне лоб. Мокрым пальцем оттянула мне нижнее веко, и на секунду я ощутил, как я уродлив изнутри.

— Иди ложись.

Я поднялся к ступенькам двери.

— У тебя что, живот болит? — крикнула она снизу.

Я задержался, чтобы помотать головой.

— А чего это ты за него держишься?

— Ничего не держусь.

И отнял ладонь.

Нарочно болтая руками, я поднялся еще на две ступеньки и вошел в тень и зябкость коридора.

— Ложись давай, — сказал хмурый голос папы из-за книги «Русь изначальная». Он лежал на кровати, где часто спит мама. Когда они в ссоре. Он спит тогда в другой комнате, которую мы тоже снимаем, чтобы папа отдыхал от нас и курил вволю.

Брат взмахнул краем простыни, и я, сбросив сандалеты, лег к нему лицом. Под простыней его глаза были живые. Переханную змею он видел еще вчера, когда они с мамой возвращались с рынка. Но он не знал, что ястребы так далеко залетают с гор. Того слова он тоже не знал. Спроси у папы. Хорошо, и он откинул простыню, опасно обнажая нас.

— Папа, — звонко сказал.

— Н-ну. — Отозвавшийся голос ничего хорошего, кроме плохого, не обещал.

Брат молчал.

— Мы вечером пойдем купаться?

— От вашего поведения зависит. Спите.

Под простыней он прошептал, что забыл. Я повторил ему в горячее ухо. Он медленно закрыл и открыл глаза. Только не сразу, прощелестел я одними губами. Подожди.

— Ну, сколько раз вам можно —

Голос яростно взревел и осекся, потому что брат успел задать вопрос. Тяжесть папы поерзала, скрипя пружинами.

— Это где ты набрался таких слов? — нерешительно спросил он.

— А на пляже слышал, — нашелся брат. Все-таки ему уже было шесть с половиной лет. — Один дядя так сказал. Одной тете.

Мы мирно лежали в ожидании. Папа еще раз пошумел пружинами.

— Мерзкая, значит, женщина, — сообщил он наконец. — И только пикните мне! Хотя бы раз.

Под простыней я нащупал руку брата и крепко пожал за отвагу.

Погодя я закрыл глаза. М е р з к а я. Вглядывался в алую пелену, пока не расслышал за ней дальний неприятный звук, и алое меняло цвет, темнея мне навстречу, из коридора накатывался тот трясучий нервный звук, из дальнего, из темного, и выходила мерзкая Матюшина, высокая, жилистоногая, и коробком трясла, зажатым в кулаке, как бы грозя нам Леонид Матюшина сегодня мне сказала если твой гаденыш снова хоть что-нибудь напишет на обоях в общем коридоре вот как это ВЫ ВСЕ ВРАГИ ФАШИСТЫ сотри немедленно я ему пальцы все сломаю я всех вас посажу Матюшина Матюшина Как же ты мог с такой Ну поверь Ну голубушка Надо встать выше Умер вождь а мы с ней коммунисты ты мог ну как же Да если бы им с ней вдвоем на полюсе то и тогда не стал бы говорю тебе — даже тогда — мама всхлипывала реже реже — говорю тебе — высморкалась в пеленку брата улыбнулась вся зареванная — даже тогда все

повторял на полюсе где белые медведи одни с конфет Матюшина курила папиросу над газом голубым размещивала алюминиевым половником в кастрюле из которой дымилось рыбой нет

Они стояли друг против друга, папа и Матюшина, и втягивали часто, жадно, дым из папирос между двумя торчащими пальцами, и, серый, он поднимался над газовыми плитами к счетчикам электричества, корытцам оцинкованным, тазам, кастрюлям, дуршлагам, ребристым доскам, о которые самозабвенно белье тереть пузырящееся, вздувающееся. И папа был парадный. Я вспомнил! Сияли пуговицы. И день, голубизной входя меж черных внешних стен облупленных на кухню, тускло сиял на голенищах начищенных сапог. И на Матюшиной сияли пуговицы, только алюминиевые, потому что она ведь не совсем военным человеком была, но вроде, как бы, и немножко тоже. Но важным. Бригадиром поезда. Важным железнодорожным человеком. И писала Всю жизнь писала на людей Губила Ох скольких загубила не помню я не помню никак не вспомню но ведь Страшно было Всем И деду Погубит Ничего святого Святого опомнись Своими бы руками эту гадину Не связывайся с ней Погубит Или мало тебе и так досталось Туберкулез Волчанка Астма это когда нет воздуха А был такой красивый опираясь на эфес А сзади полуобняв рукой в перчатке до локтя бабуля Время Время Что с нами оно сделало Оставь Не связывайся Пусть ее подлюю

И молча И темнея лицами похожими на репродуктор Черная тарелка прорванная пыльная торжественно на кухню вынесена общую чтоб всех собрать Они курили Одни на кухне Все остальные были штатские и не решались переступить порог Толпясь из коридора лицами одними лицами не глядя никуда все слушали торжественный чекан правительственного сообщения о состоянии товарища нет о кончине я был с краю да о кончине у домохозяйки и палец вел по корявому краю раковины и снимал каплю Когда она наливалась грозя сорваться Чистую Спелую Прозрачную И думал Капля Капля Капля Девочка Ты как у девочки Капля у девочки Назову это каплей Стану думать о капле И смутно ощущая что делаю что-то нехорошее и стыдное за что обрушатся вот-вот оттуда сверху где живут они бранятся скорбят заходятся в слезах и ненавидят снимал Снимал Одну за одной Тебя Капля Одна и та же Возобновляющаяся Всегдашняя Моя

И внимания никто не обращал И голос перестал И музыка широкая и сонная и золотая загремела и покатила среди оцинкованных тазов и Матюшина захлюпала захлюпала и скулы терла с темными подглазьями запавшими Никто не утешал

Никто Все штатские смотрели над порогом как вся в полувоенной форме борется кулаками с ревом Папа Воткнул папиросу в баночку с аккуратнo чтобы не пораниться загнутыми краями Из-под редких шпротов Вкусных празднично Которую отмыли и обезвредили после зажигания бросать горелые спички Папа И длинно через кухню шагнул За плечи взял И рухнула на грудь зазвякавшую медалями И вдруг завыла так нечеловечески что дед тихонько плюнул *тьфу!* и неслышно ушел по коридору Папина рука все хлопает по серой и длинной спине и туфли у папиных сапог сошлись носками косолапо По спине Иосифсорионович иосифсорионович из стали ей жалко нашего вождя но ведь потом был из малины маленков Они как два бойца Обнятые утешали один другого коммунисты И бабушка взяла за локоть Застудишь ручки Идем Подальше от греха И увела

А наша мама, издалека, стремительно всплывая, услышал голос брата, иногда бывает тоже

— ...проститутка, — и вдруг понесся вихрь шелестящий и крепко книга стукнулась углом об стену над изголовьем, оставив вмятину, упала, обернувшись своей ценой, помеченной в углу, и гапа обыденно добавил:

— Ну что за блядство! Им говори не говори —

После ужина я упал с вишни в колючую проволоку.

Светлана все не выходила, и я спустился по наклонной колюче скошенной траве в глухой и дальний угол сада и влез на вишневое деревце. Ствол истончался, дерево шаталось, но я влезал все выше среди ветвей и спелых винных ягод, чтобы удостовериться в отсутствии Светланы. Как под ногой вдруг треснуло. От страха, что деревце сгублю, разжались сами руки. Я даже выбрать не успел, куда упасть.

Набираясь терпения, я лежал на колючках. Неподалеку боком стоял последний пограничный столб, и здесь, в углу, избыток проволоки сложили моток на моток — стожком таким. И обмотали, чтоб держалось.

Когда недвижим, то терпимо. Я было попытался приподняться, но не нашел опоры и напрасно поцарапал локти. Колючки цепко держали сзади, язва и не пуская. И я остался, как был. Животом кверху. Упираясь сзади только двумя большими пальцами между колючками. Чтобы не дать им глубже в меня войти. И отгибая шею, удерживал голову стоймя. Тяжелую. Дважды крикнул на помощь, и оба раза отозвались только колючки в спине.

Нет, должны же хватиться! То глаз не спустят, а тут хоть погибай, говорил я про себя с сердитой радостью. Ожесточение давало силы. Какая-то незнакомая еще улыбка подергивала щеки и скалилась зубами. Когда я понял, что шея вот-вот уронит голову, я осторожно стал пробовать затылком, нельзя ли устроить голову удобней. И я увидел генерала.

Где-то внизу, в окне их дома, срывающегося в небо. Генерал висел вниз головой. Из застекольной темноты белело внимательное перевернутое лицо. Я скалился на генерала, обнажая десны, разнимая челюсти до боли за ушами, гримасничал, как клоун, потому что хохот тряс мной проволоку, как висел он книзу головой, — с руками, важно заложенными за спину, — точь-в-точь фигурка, та, трофейная, меж пальцев дочери, размером в палец взрослого (*напомни, я пороюсь в хламе игрушек*), но только в медный палец, та, которую я с детства Пушкиным упорно величал, а выяснилось, что не более чем Бисмарк, — и выкричав до хрипа всю ненависть, набрал ее обратно в грудь.

И докричался: генерал задернул шторы, и стекло в миниатюре изобразило сумрачное небо, а подо мной собрались все, кто был еще в живых. И лестницу приставили. И папа, как пожарник опытный, взошел по ней, прогибая упругую гору ржавой проволоки, и снял меня, кровавого, с колючек и отнес в хозяйскую «Победу».

Чтобы я не выпачкал сиденье, Тимофей Сидорович расстелил сзади много одинаковых газет «Сочинская правда». Но кровь остановилась. Думаю, от страха умереть. От столбняка. С минуты на минуту. Выгнуться, как только что на проволоке, и хрипя и пенясь изо рта, дух испустить. Как на картинке в старой медицинской книге, которую прячет мама, но все равно я доберусь.

Мама говорит:

— К счастью, у мальчика хорошая свертываемость.

— Как на собаке заживет, — говорит папа.

— До свадьбы-то уж точно, — все повторяет над рулем хозяйка Ефросинья Артемовна.

С папой они сидели спереди и всю дорогу курили, а мама сзади сжимала мне запястье, чтобы не умер как-нибудь случайно. И я не умер. Но Светланин иероглиф исчез бесследно, к сожалению. Исчезновение я обнаружил, задравши майку у врача перед уколом противостолбнячной сыворотки. Мне помазали йодом ноги, задницу и спину. В одном месте выстригли затылок и тоже ваткой смоченной прижгли.

На обратном пути началась гроза. По крыше «Победы» колотил дождь. Я заснул и больше ничего не слышал, даже как в дом внесли. И никто ничего не услышал.

Когда все стихло, я проснулся. Мамы не было. И значит, помирились. Я отодвинулся от жаркого брата, спустил ноги на пол и пошел к окну. Задвижка поднималась туго. Я вытолкнул створки, влез на подоконник. Сад дымился и сверкал, как жесьть. И моя замороженная длинная струя, пока не сорвалась, висела, как серебряная, звеня где-то внизу об камни. Нам строго запрещалось из окна, и я бесшумно опустил задвижку, чтобы никто не догадался.

Пусть далеко от моря, но поселяясь на горе, мы были правы: здесь, на дне, на солнцепеке, мы задыхались, как три рыбы.

Папы все не было.

Солнце постепенно придвигало нас к стене дома, в котором был папа, и наконец прижало вплотную, и тогда от дверей часовой сделал нам замечание. На ремне у него была кобура, но не пустая, как у милиционеров некоторых, а наполненная пистолетом системы Макарова. Я узнал его по рукояти, когда часовой отвернулся.

Мы отошли, и мама купила в киоске три газеты. Помогая себе коленом, она сложила из них пилотки, совсем как у часового, который скрылся от прямого солнца за двойными высокими дверьми и из сумрака смотрел, довольный, сквозь стекло.

Когда двери выпустили папу, мы были как вареные.

Мама сказала, что готовить сегодня невозможно. И мы пошли в ресторан. Вошли и сели за столик, накрытый белой скатертью.

— Уф-ф, — громко выдохнул папа. И стал стирать со лба ладонью след фуражки. — К чертовой матери такой отдых.

— Выбирай выражения при детях, — сказала мама.

Подошла официантка, и он заказал четыре соляночки, четыре порции беф-строганов — Хватит трех, сказала мама, и официантка повторила: значит, три. И триста коньячку, но только лучшего, «Клим Ворошилов и наоборот», и официантка повторила: КВВК, улыбочиво кивнула, а лимонада не было, увы. Ну, так чего там у вас есть? Есть минералочка. Тащите. Пару.

Когда официантка отошла, мама спросила вполголоса:

— Ну, что же ты молчишь?

Он барабанил пальцами по скатерти.

— Леонид, - окликнула она.

Он поднял мутные глаза.

— А, ты об этом... Ничего особенного. Понадоблюсь им — вызовут еще. Но случай очевидный. Об убытии оповестить. Дня за три. Армейские погоны иммунитетом там не обладают, но все же хорошо, что в форме был. Этот, что напротив снимает, ду-маю, и поныне там сидит. Немец-то.

— Выходит, как Фадеев?

— При чем тут Фадеев. Тут все ясно, а там же, вроде, несчастный случай...

— Такой же, как и с этим эмгешником. И я уверена: таких десятки. Неужели ты не видишь, Леонид? И это все только начало.

— Конца, — тяжело усмехнулся папа.

— Искупления! Будет и у нас Нюрнберг.

— Никогда, — раздельно сказал папа. — Хватит разума, и у них.

— А вот попомнишь тогда.

— Опомнятся. Дадут укорот пузану. Уверен. И чем раньше, тем лучше: вот этим шкетам как бы мозги не свихнули...

Он протянул руку над столом и положил ее брату на голову, но голова вывернулась из-под ладони. Брат терпеть не может, когда к нему пристают с ласками.

— Мне осточертел солдафонский жаргон. Вот так. — Мама плоско ударила себя по шее. — Чем в замполита со мной играть, следил бы лучше за языком.

— А что я такого сказал?

— Ничего.

Они напряженно смотрели, как руки официантки представляют: пузатый графинчик, две бутылки с драными этикетками и ржавью на ободках горлышек, хлеб на блюде.

— А насчет искупления и всей этой библейской дребедени...

— Он взял бутылку и налил себе. Мама взяла другую и наполнила три остальных фужера. Держа у рта воду двумя руками, я смотрел, как размеренно ходит кадык на папином горле, выбритом до гладкой синевы. Он выдохнул, поставил пустой фужер и отстегнул верхний крючок на воротничке кителя. — Так вот. Ничего подобного в данном случае не было. Трагическое недоразумение, и все. К нему нагрянули ночью, ну и нервишки, видимо, сдали. И вместо того, чтобы спуститься и открыть, он в лучших традициях... мол, погибаю, но не сдаюсь. Как положено. Да... Кое-кому крепко по шапке дадут за это дело. Все-таки человек был видный, да и связи сохранил. Недаром зять на дипработе.

— Ничего не понимаю.

— А чего тут понимать? Пришли-то не за ним. Из пушки по воробью, понимаешь, лупанули. И пусть теперь расхлебывают, реформаторы мне. Обновили, называется, аппарат. «Здравствуй, племя молодое!» Вот и напортачило оно, это племя. Нет, не обойтись им без профессионалов. Хватятся еще.

— Не за ним?..

— Домработница у него. За ней.

— Быть не может!

— Пригrelась, понимаешь, за пазухой. Божий одуванчик, а на поверку вышло, что сектантка. По всему побережью, оказывается, свили себе паутину. Вот тебе эта их *отгелель*: моментально гниль пошла... А человек погиб, и какой! Еще в Испании троцкистское отроде бил. А-а, — сделал он горлом безнадежный звук. — Все у нас так. Кувырком через это самое.

— О Господи! Что же с ребенком будет!..

— С ребенком? — удивился было папа, — а, эта...

— Она же вместо матери ей.

— Их дело. Определят куда-нибудь в пионерлагерь, а там кто из родителей подъедет... Жить будет. Что же, Катюша, примем по единой? За упокой души, как говорится — О! спасибо большое, — сказал он другим, ресторанным своим голосом, обеими руками принимая тарелку из рук официантки.

Один вид исходящей пахучим паром, жиринками лоснящейся поверхности тошнотно отозвался во мне.

— Чего ты елозишь? — спросил папа, отодвигая под столом ногу в сапоге, который я случайно задел. — В сортир, что ли, захотел?

— Не, — мотнул я головой и руками обхватил ноги, чтобы зря не торопились.

— Ешь давай, — поощрил он. — Бери пример с братишки, — и налево, меняя голос: — Проголодался, сынок? Сейчас наведем с тобой за милую душу. — Взглянул за горлышко: — Будешь? Ладно. В одиночку примем. Хотя, говорят, от этого спиваются. Но мы не убоимся... — Он поднял рюмку. — Ну, — вздохнул, сведя на ней глаза, — как говорится, пухом —

И опрокинул под усы.

— Не могу здесь больше оставаться, — сказала мама.

— Почему? — Он взял ложку и хлеб.

— Не могу, и все. Возьми билеты. Очень прошу тебя. На завтра.

— Мы же еще не научились плавать, — удивился брат.

— Молодец, сынок. Устами младенца... Вот когда станут на воде держаться, тогда и двинем, а? Мужчина, он должен плавать. Еще римляне говорили.

— Римляне, — повторила мама. — Я лучше их в бассейн отведу, при вашем Доме офицеров, чем видеть, как ты учишь.

— Обыкновенно, — возразил папа. — Вон у нас кутят, ну, щенков новорожденных. Слепых еще... За шкирку и в Енисей. Который выплывет, того оставляют расти, который нет — что ж. Ничего путного все равно б не вышло. А как бы ты хотела?

Пусть привыкают. Жизнь впереди.

— Но я, — сказала мама, — я не бессловесная сука.

Он налил из графинчика, выпил и с силой, как печать, поставил рюмку. И снова взял ложку. Но вместо того, чтобы есть, взглянул на меня:

— Прекрати, Алексей. Держи себя в руках. Когда я был твоих лет, отец брал меня на охоту вместо собаки. Он бил утицу влет, а потом сталкивал меня в Енисей. А был октябрь месяц. И я ту утицу ему в зубах приносил. Понял? Я воспитаю из вас настоящих мужчин. Вот таких. — Он потряс кулаком. — А не как твой дед, который, несмотря на все свое прекраснодушие, так ничего в этой жизни и не добился. И не позволю сделать из вас интеллигентных хлюпиков.

Он выпил еще рюмку и, собрав морщины на переносье, продолжал шумно есть.

— Это же отрава, — сказала мама, помешивая ложкой в тарелке. — Дети! Положите ложки. Позови эту стерву, Леонид. Как ты можешь есть такое пойло?

— Солянка нормальная.

Она протянула над столом ложку с дольками сосиски. — Этот синюшный цвет... что, не смущает?

— Слушай, Екатерина... Не порть мне аппетит.

— Аппетит? Ты!.. Как ты можешь жить, если даже свиное пойло тебя не возмущает? Аппетит у него.

— Не устраивай истерику: люди смотрят.

— Плевать хотела! Он еще благодарит. Немедленно позови официантку. Слышишь? — С минуту она смотрела, как он неторопливо ест, наклонившись над тарелкой, и красные пятна выступали на ее лице... — Ну, и жри! Хлебай. Сербай! Но только не муди мне про настоящих мужчин. Выбили их из вас. Под корень! Да-да, под это самое место. Все вы рабы! Все! Но я не позволю тебе, слышишь? Не позволю и из них — Стул отпрыгнул и отвернулся спинкой к столу. — Дети! Идем отсюда!

Под взглядами из-за столиков мы шли к выходу, и брат, волочась за мамой, кричал на весь зал, что не доел свой суп.

Было знойно и пусто. Улица круто шла вверх, и гранитная стена, подпирающая гору, постепенно снижалась слева от нас. По плечо. По грудь. По колено. Откос выгоревший поднимался над бордюром. Клумба-календарь смотрела с откоса. Число. Месяц. Год. Все цветами. Ноги вязли в асфальте, и я задышался, таща за руку тяжесть обоих мимо выложенного вялыми цветами одна тысяча девятьсот пятьдесят шестого бесконечного года.

\*\*\*

Поднатужившись, из-за поворота выехал автобус, и я сразу увидел их на переднем сиденье. В этот час одни они добрались до вершины. Дверца отвалилась, и они спустились на обочину. Шофер за рычаг втянул дверцу и тронул под гору, унося свой пустой свет и притормаживая перед нижним поворотом. Я поднялся на обочину и пошел следом. Было темно. Я перешел по ночному отвердевшему шоссе и подо мной захрустела тропка, идущая по хребту нашей горы. Вокруг нас, иногда мимо самого лица, реяло бледное сияние. Едва слышное.

— Вишь вон... Ровно звездочки летают.

Покойный голос доносился над хрустом с каждым шагом убывающей тропки.

— Махонькие, а тоже ить Божьи. Все с ими веселей. Верно, доня? Поди, притомилась Ну, ничего. Сейчас мы с тобой чайку. И на бочок... Ктой-то за нами идет?

Я наскочил прямо на нее, ткнулся лбом в мягкое.

Жесткие ладони гладили мою голову. Я стоял молча.

— Это же Алеша. — И Светина рука коснулась спины. — Меня встречает. Ну, Алеша?

— Вишь, сам не свой парнишка... Или беда какая?

И тут подлетел крик — обрывистый, набегающий: «Све... та! Све...та!»

Я рванулся из их рук и, сбивая бесчувственным лицом медлительных светлячков, понесся на этот оклик, на мутный свет жужжащий. От удара ослепительные звезды вылетели из глаз. И стало мне темно. Яростно обнявшись, мы катились в темноте и, вывертывая рот из-под моей ладони, она мокро шептала, одно и то же... поцелуешь — не скажу... поцелуешь — не скажу...

Я оторвался от ненавистных губ.

— Десять раз, — жарко дохнуло в лицо.

И считала, выдыхая:

— Два.

— Три.

Голос вскрикнул надо мной:

— Осторожно! сорветесь...

Я оттолкнул ладонями землю и вскочил с мягкого тела.

Мы стояли рядом, не касаясь друг друга, и смотрели в жужжащем свете фонарика, как, вся толстая, Гретка приподнималась на локтях, натягивая подол на содранные в кровь колени, краснея трусами, а за ней свет проваливался за край обрыва — тонул...

— Батарейка садится, — сказала Света. И протянула мне фонарик. Его тяжеленькое тело гладко скользнуло по ноге и шлепнулось в траву.

И канула в ночи.

Тенью.

Шелестом.

— Все равно в Артек уедет.

— В Артек, — повторил я.

— Везучая, да? Ну? Чего ты стоишь? Еще семь раз осталось.

Я взмахнул рукой, всмотрелся. Светлячок был мохнатый, мокренький. И светился сквозь пальцы.

— Проститутка, — сказал я грубо, как взрослый.

И стряхнул насекомое.

Она глухо обхлопала землю вокруг себя, поднялась. Посветила мне в лицо.

— Гутенахт, дурачок.

И пошла, смеясь и жужжа.

Я чуть не взвыл. И рванулся выше, к макушке, в самую тьму. Но они были и тут. Я не сдержал смеха, удачно сбив первого. И стал кружить по полянке. В неполной тьме. Вырывая ноги, вязнущие в траве. И гасил, и гасил. Одного за другим. Ударами ладони расчищая ночь.

Их было много, этих тварей, и проявлялись все новые и новые.

# СОН ЛОМОНОСОВА

*...не видень край,  
Въ пространствѣ заблуждаетъ око,  
Цвѣтетъ в Россіи красный рай,  
Простертъ во всё страны широко.*  
М.В. Ломоносов

Держа керосиновую лампу в левой руке, правой бабка Стефа начертила размахистый крест, наотмашь перечеркнув им нас в телеге и лошадь. И рука ее опустилась, длинная, с неразжавшимися пальцами. Позади звякнуло, и под ним заскрипели оси. Он смотрел, как утягивало назад бабку Стефу — с удаляющимся светом в руке, а позади нее зиял чернотой распах калитки. Погодя огонек исчез; слышно было щеколду, звякнувшую изнутри, и потом, кроме мерного скрипа, ничего слышно не было. Он бесполезно таращился в ночь, и голова, как бы сокрушаясь над чем-то, покачивалась меж кулаков. Как бы горюя, — нет, он рад был, что лето кончилось. Что-то старческое, пугающее было в этом покачивании, и он развел кулаки — упал в запах сена. Лежал, слушая звук долгожданного отъезда, пока под ним не стало жестко отзываться дощатое дно. И он подгрёб сено, чтобы помягче. И остался так лежать — с сеном в обнимку.

С закрытыми глазами. Все равно ничего не видно. И хорошо, надоело все до смерти. Наизусть изучил этот выгон, по которому, взгромыхивая бортами, тащится телега, — плоский, как футбольное поле. Но только скучное. Целыми днями по этому полю гоняли свиньи — тощие, пыльные и, как дворняги, пугливые. Соседская девчонка, примерно его лет, по вечерам носилась за ними, увертливыми, мелькая черными ладошками ступней, и, как взрослая, ругалась нехорошими словами, а выбившись из сил, стояла с хворостиной, длинным концом лежащей на траве, вся в каком-то рванье, и задышливо повторяла: «От бисовы дети!..»

Странные дети жили в этом селе. Ни с кем из них они так и не сдружились. В самые знойные дни мальчишки ходили, как взрослые мужики, в кепках и черных штанах, подвернутых у щиколоток, а девочки в длинных платьях. И все девочки, даже совсем маленькие и сопливые, носили бусы. Из рябины, по

ягодке нанизанной на суровую нитку.

Однажды, когда возвращался из сельмага, посланный за хлебом, толпа местных долго шла за ним, показывая пальцами на голые его ноги. Дразнились. Даже камнями вслед бросались. Почему-то нашли что-то зазорное в коротких штанах. А сами... Однажды они с братом преследовали аиста, и птица подняла их на взгорье, в невыносимую вонь скотного двора. Покружив в слепящем небе, то исчезая в лучах солнца, то появляясь, аист, наконец, одноного и недоступно встал на крышу высокого сарая. Они пошли кругом сплошного навозного месива, ища возможность подойти поближе, и вдруг увидели голых детей. В лежащем под холмом пруду. Девчонок вместе с мальчиками. Странной была их нагота: по шею, по локти, по колени все они дочерна загорелые, а телами белы, только на девочках краснели бусы. Все вместе они месили мелководе пруда, крича, бросались жидкой грязью, и совершенно не стеснялись друг друга. Станные эти деревенские... Хлопчик, сказал он про себя. Когда бабка Стефа так его называла, он притворялся, что не слышит. Я вам не хлопчик, я русский мальчик. Тогда она стала называть еще обиднее. Жоржиком. Иногда она была довольно вредной. Хотя и вслед смотрела.

Поэтому и скучно было, что не сошлись ни с кем. Один соседский хлопчик так хотел с нами дружить. Увязывался следом, куда бы мы ни шли с братом. Брел в отдалении за нами — этаким мужичок. Кепка, подвернутые штаны. Застенчивые пальцы ног. Когда мы с ним заговаривали, он отбегал подальше. И мы терпели его молча. Да и о чем говорить? Он, наверное, не понимал по-русски. Часами он смотрел на нас, читающих, подперши щеки, болтая в воздухе ногами, морщина черные ступни. Нас звали обедать. Мы закрывали книжки, сворачивали одеяло — и только тогда он уходил, оглядываясь. Однажды он сделал странную вещь. Я читал, накрывая тенью головы страницу старинного журнала; брат толкнул меня локтем. Я глянул. Хлопчик достал из кармана катушку черных ниток. Отмотал — перекусил. Плядя, как, послунявив нитку, он вставляет ее в иглу, мы решили, что он надумал зашить прорехи на коленях, но хлопчик вдруг надул одну щеку и с размаха воткнул в нее иглу. До конца. А потом открыл щербатый рот и вынул из него иглу, таща длинную нитку сквозь щеку. Мы были потрясены. Хлопчик втыкал иглу то в одну выдутую щеку, то в другую, как бы зашивая себе рот, и доставал изо рта иглу. Потом, как женщина, воткнул иглу в катушку, убрал обратно в карман и без всякого выражения на лице улегся на живот, подпер истыканные щеки и взвел босые ноги над головой. Но когда брат пошел к нему,

чтобы осмотреть сблизил его щеки, — немедленно вскочил и отбежал. Он был пуглив. Он даже маму к себе не подпускал. А к ней всегда чужие дети так и липнут. Она никем не брезгует, наша мама. Ту, соседскую, загонщицу свиней, она один раз привела за руку в наш двор, и мы издали смотрели, как, зажав девчонку между коленей, мама вычесывала ей частой гребенкой пряди волос и смазывала их примусным керосином. Потому что у девчонки были г н и д ы. После этого мы потеряли охоту дружить с местными, и я с нетерпением дожидаясь, чтобы скорее кончились эти неудачные каникулы. Такой веселой и таинственной была Малороссия в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», а в действительности обернулась тупым зноем, вшивыми детьми и такой утомительной ходьбой до ближнего леса, что собирать грибы, к тому же и червивые, уже не было сил. Постоянно хочешь пить, ноздри заложены, во рту пересыхает, и пыль от когда-то прогремевшего грузовика весь день стоит над проселком. Ни белых мазанок, ни галушек в сметане, ни вареников с вишнями от пуза, ни звона монист. Одно томление и скука. И плоская убитая земля от горизонта до горизонта, в центре которой маминым произволом мы заключены были на месяц — скучнейший в жизни.

Нас подняли среди ночи, и брат бесчувственно спит, толкаемый медленно переваливающимися колесами. С головой под брезентом, по которому начинает накрапывать... неужели дождь? Ни капли целый месяц, и вот, наконец! Хорошая примета — уезжать в дождь. Но у меня нет чувства убытия: так медленно и валко мы перемещаемся в темноте. Да разве можно отсюда выбраться, из этих безбрежных степей? Не верится... Я ложусь на спину, поспешно поджимаю ногу, задевшую Евгению Никифоровну, и долго жду с закрытыми глазами — всей кожей лица. И наконец, мокрая капля попадает в меня и, лизнув, стекает по щеке. Какой же это дождь... Капли выпадают из темноты редко, скупно. Ни одной звезды в небе. Евгения Никифоровна с мамой являют собой черное пятно. Хруст дороги, скрип поворачиваемых осей, накрап по заскорузлomu брезенту и валкое пятно, сгущение темноты передо мной, негромко говорящее двумя женскими голосами. О чем? прислушиваюсь я. О разных странных снах, ими виденных. Я ложусь головой в сено. Какой скучный запах. Стоячий. Пыльный. Уснуть бы, чтобы проснуться через двадцать четыре километра. Но мне не спится, и томление предстоящего дня заранее оживает во мне: ведь потом еще целый день поездом, и Киев, матер городов русских, будет только к вечеру. Это мы в школе проходили, что он матерью был, но мне он был чужим, как мачеха, мелькнул лицами Богинных,

бывших наших соседей с улицы Рубинштейна, почему-то переехавших из Ленинграда на Украину, тенистой зеленью, заднепровскими далями, знойным проспектом с названием, в котором странно соединились к р е с т и х р я щ и к... И дня мы не пробыли в Киеве, отбыв дальше, вглубь Украины. Навсегда останутся тайной для меня неисповедимые маршруты мамы, ее связи с миром, с людьми, в нем размещенными так редко, далеко. С Евгенией Никифоровной мама не была знакома. Я думаю сейчас, что и сама она в то лето не ведала, куда везет нас. Наугад. Пока чужие руки не помогли ей снять нас на закате с поезда, на три минуты задержавшегося у безымянной станции. Потерянные в глубине Украины, мы с братом долго ждали, сидя на чемодане, пока мама не вернулась — вдвоем с незнакомой женщиной. Сухой и строгой. В ней было что-то жесткое, негнущееся. С первого неулыбчатого взгляда, с первого рукопожатия черствой ладони я невзлюбил Евгению Никифоровну. Как к новому учителю, бывает, сразу и навсегда испытываешь неприязнь. Но мама уже решила провести весь август у нее, в селе, за двадцать пять отсюда километров.

Они жили вдвоем, Евгения Никифоровна и ее свекровь (не мать, как думал я все время), с лицом глухим, морщинистым и темным, как земля. Она была молчаливым свидетелем всех наших злодеяний, бабка Стефа, осуждающе возникая как раз тогда, когда подо мной опасно трещала ветка груши, когда сгорбленно и осторожно взбирался я по скользкой дранке к коньку амбарной крыши и почти у цели вдруг оглядывался от напора взгляда в спину, и на ее глазах срывался, как в болото, в трухлявую солому крыши, семена ногами в опасной пустоте и безуспешно пытаюсь уцепиться за непрочную щепу. Она не говорила ничего — ни мне, ни маме, ни Евгении Никифоровне. Смотрела и молчала, запоминая продырявленное место. Вчера, на радостях, что убываем наконец, мы после ужина зашли в амбар, с тем, чтобы пугнуть с насеста кур, заснувших засветло, и рыжего их петуха, невыносимого своим гонором, а также чтобы, перевалясь над перегородкой, сверху поднять шипеньем пару свиней из их любовно належанной грязи — пусть мечутся спрсонок в загородке, а мы посмотрим сверху. Но хряк с испугу прорвался наружу и, вереща, распугав летающих с насеста одна за другой крикливых кур, стал гонять взад-вперед по твердой внутренней земле. Ловким броском вратаря я поймал его за удобные уши. Брат стоял в растворе ворот, наполненном медовым послезакатным воздухом. Смотри, сказал я брату. И перекинул ногу над хребтом упруго замершего хряка. Я держал его за шерстистые уши, размышляя, выдержит ли его бокастое тело

мой вес. Вдруг рядом с братом появилась бабка Стефа, и хряк, как мотоцикл, рванул, неся меня к выходу так, что свистело в ушах. Брат и бабка расступились, и хряк пронесся под коновязью, а я, лбом выбив искры из поперечного бревна, медленно приходил в себя на земле. Бабка Стефа молча нарвала подорожника, помочила в ведре и налепила мне на лоб целебных листьев. И не сказала никому о нашем прощальном озорстве. Доброй она была. Не то, что Евгения Никифоровна. Чем старше человек, тем он добрей: это выношенное наблюдение приобретало во мне к одиннадцати годам крепость закона. А бабка Стефа и вовсе была древней — с руками жилистыми и суставчатыми, как живое дерево. Ими и держалось все их хозяйство — сад, дом, амбар. Потому что Евгения Никифоровна с утра до темноты отсутствовала: работала в райцентре, но не учительницей. Библиотекаршей.

Их дом весь забит был старыми книгами и подшивками журналов. Книги были и на чердаке, и даже подполом, и, оттого что каждая книга дважды, как и полагается, на титульном листе и странице 17-ой, была проштемпелевана печатью, я стал нехорошо думать о Евгении Никифоровне: сколько же государственной собственности прибрала она к своим черствым и жадным рукам. Однажды мне было сделано замечание, что я брал с собою в сад иллюстрированное приложение к допотопному журналу «Нива» и запачкал вишневым соком страницы (мол, и вишни мои рвал без спросу), — я вспыхнул. И едва сдержался. Перед сном наклонившейся маме я сказал, что не твоей Женичке мне указывать, где и как утолять мне жажду знаний. Кому-кому, но уж не ей, накравшей — вместо поцелуя получил я по губам и крикнул, чтобы и эта расхитительница и стяжательница расслышала за стеной: «Вот именно, накрала!..» Зажав мне рот, мама шепнула в ухо: «Замолчи, глупыш. Спасла, а не накрала». И гневный рот мой обмер. Она сняла свою ладонь, пахнущую парным молоком, потому что за это время она научилась сама доить корову, и подтвердила: да. Спасла. От кого? От немцев? Не от немцев, спи. От уничтоженья. От огня. Самое дорогое в ее жизни, эти книги. Пойми. И она за них очень дорого заплатила. Они ведь подлежали изъятию... При немцах? — добивался я, но мама мне загадочно сказала: при всех фашистах. Вырастешь, поймешь; когда я видел в кинофильме о Димитрове, болгарском коммунисте, как жгли костры из книг на площадях. Но это было в их Германии. А в этом захолустье от кого же их спасать? Я вспомнил красные слова Алексея Максимовича, который всем в жизни был обязан книге, — висел плакат в нашей школьной библиотеке... «Любите книгу — источник знаний». И

мы ее любили. Всея страной. В отличие от мракобесов, немецких и американских... От кого же — спасла? А, мама? Спи-спи, сынок.

Он спит себе, я — не могу. Скорей бы станция! Ждать — самое ужасное. Это мама верно говорит. Ждать, догонять. Я не дождался бы конца каникул, если бы не эти книги. Я тихо бы угас от скуки. Не книги — те все без картинок, с шершавыми страницами, покрытыми сплошь текстом, со штампами далеких лет — двадцатых, когда мама родилась, тридцатых, когда мой дедушка, ее отец, куда-то исчез бесследно, о чем и спрашивать нельзя, потом война была, и даже начала наших, пятидесятых, когда уже был я. Журналы — вот что я читал весь месяц. Они хоть и еще древнее были, зато не скучные, и Ленинград наш называли Санкт-Петербургом. Какой, оказывается, странный мир был! Причудливый, разнообразный, — вот уж не думал... Я даже привык к избытию твердых знаков, листая желтые от времени, но прочные страницы. В одном журнале за 1909 художник тех времен изобразил в рисунках, какой Россия будет через полсотни лет. Конечно, он ошибся, разрисовав все небо воздушными шарами, тогда как мы уже и на Луну наш вымпел запустили в январе. Наивный мир был. И совсем не злобный. Ну, никакой ненависти не было в этих журналах, изданных при царе, помещиках и капиталистах, к трудовому народу, к рабочим и крестьянам. Проклятое наследие царизма все больше рассуждало о любви... Я вспоминал свою первую учительницу. К 38-ой годовщине Великого Октября наш первый класс готовил *монтаж*; это когда все 42 ученика читают одно стихотворение. Каждый по две строчки. Самый высокий в классе, Белошеев, начинает, сделав шаг вперед, потом отступает обратно, в ряд, и следующие две строчки прочитывает следующая девочка, и так далее, до конца, до веснушчатого Юдельмана, который завершал стихотворение, отчаянно картавя. Свои слова я затвердил назубок, и после девочки по фамилии Бордушко с ее писклявым: «Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой» я вышагивал из ряда:

*Висит плакат: ДОЛОЙ ГОСПОД!  
ПОМЕЩИКОВ ДОЛОЙ!*

И каждый раз Жанна Николаевна сердито хлопала в ладоши, поправляя: «Больше ненависти, Божедомов! Больше ненависти! Не мямли, а кулаком вот так взмахни: «ДОЛОЙ!» Я как следует постарался на праздничном утреннике и вызвал аплодисменты

родителей. И получил в награду книжку Ю. Германа «Рассказы о Дзержинском». Очень интересную. Оказывается, Железный Рыцарь Революции очень любил пирожные с заварным кремом... Я подумал обо всех еще нечитанных книгах за стеклом шкафа, о городе с его сумрачными днями, с тусклым блеском тротуаров под морозящим дождем, и от нетерпения мне стало тесно внутри себя. Скорей бы вырасти.

Глубоко сидя в сене, спинами ко мне, Евгения Никифоровна с мамой ведут один из бесконечных этих разговоров — взрослый. О, эти разговоры! Ведь их приходится терпеть. Предельным напряжением ума держаться смысла, терять его, ловить, мучительно преодолев стыд возраста, вставить слово от себя — чтобы признали и твое присутствие. Или вопрос задать. Уместный. И не детский. И обратить на себя — сверху вниз — внимание, пусть краткое, пусть снисходящее: «Ведь понимает все, стервец. Эх, дети, дети, оглянуться не успеешь, а они уже, глядишь...» — и, как обычно, о цветах жизни на неизбежных их могилах. С фальшивой грустью — это при их-то абсолютном счастье быть взрослыми людьми. Как вспыхнул я однажды за столом, когда Зиновий Юльевич, с рюмкой водки в протянутой руке, запнулся, слово потеряв, а я издалека, с детского, куцега, безалкогольного края праздничного стола стремительно подсказал: «Зачем я не сокол?», и он подхватил густым и взрослым басом, и все смеялись, какой он остроумный, и между водкой с капусткой Зиновий Юльевич меня признал: «Смышленные растут...»

Они отмахивались, отделялись, прикрикивали, цыкали, поворачивались спинами, шептались, оставляя тебя в насильственной немоте. Тюрьма, одиночная камера — вот что такое детство. Глухая и беззвучная. В которую царь революционеров заточал. Нет хуже пытки одиночкой. Их стены были каменные, а мои — из спин, из мимо, надо мной смотрящих глаз: меня как будто нет. Не с ними, но при них — такая мука. Ведь не оставят дома — с собою тащат, отложной воротничок оправляют перед дверью, суют букет, к звонку приподнимают, а потом с бутылкой выдохшегося лимонада отправляют в соседнюю комнату. Чего-то я не понимаю... То есть, я понимаю многое, но каждая из мне понятных вещей — как неживая. Неподвижная. Отдельная. Я много понимаю по отдельности. Поврозь. А есть, я знаю: *есть*. Какая-то последняя их тайна, объединяющая все. И с некоторых пор, присутствуя при разговорах, я чувствовал себя шпионом, замаскированным под мальчика: вслушиваюсь, запоминая, боюсь словечко пропустить. А каждая прочитанная книга — как азбука их жизни. Ключ к разгадке ее тайны, умело зашифрованной. И с помощью их книг в конце концов я их разоблачу

ное о двух спинах? В детском издании Рабле почему-то этого не было...) Пойму, все я пойму. Вот говорят о ложечке сейчас. О чайной. Казалось бы, что ерунда, но я не отмахнусь, я буду слушать, лежа в молчании в обнимку с сеном, редующим от тряски, по травинке убывающим сквозь щели редких досок днища. О том, как, зазвеневав внезапно, эта серебряная ложечка подняла среди ночи маму, беременную мной. Девятый месяц, на сносях. Вдруг звонок. Снимает трубку: Уланский, капитан, они с женой, фронтовичкой, стояли в том же доме, ниже этажом, у фройлен Розенкопф. И почему не ей — ему звонили из комендатуры? Подготовить? Уланский смеялся принужденно: элементарная авария, шофер не справился, машину занесло, короче, в госпитале он, ты только не волнуйся, и что-то нехорошее ей показалось в смехе капитана. Я позвонила Курту, оделась, дождалась, и мы поехали. Я торопила паренька, и мы едва с ним, то есть все втроем, едва Алешу не опередили. Январь, дорога ледяная, и вдруг заносит нашу «бээмвешку» на повороте. Нас так крутило, что Курт аж, бедный, взмок. Все обошлось, и помню, как сейчас: «ну, — говорит, — ваше счастье, фрау Катюша», а какое там счастье... три проникающих в область поясницы... А мой мне тоже весточку прислал. По имени окликнул. Во сне, в июле сорок первого, и только в пятьдесят шестом узнала я, что именно в июле Николай Викентьевич пропал под Белой Церковью. Но не без вести ведь, Катюша? В Вятских Полянах, на лесоповале, окликнул, известил перед убытием, я слышала, как наяву, и трижды прав Горацио у Шекспира, а они мне ввали все. Три дня, целых три дня я приходила к нему — к тяжело раненому. Я ведь не знала, что он уже... «Я выкарабкаюсь во что бы то ни стало, — говорил. — Ты только Сашку мне роди». Он, Женечка, с самого начала твердил, что сын, что Сашка, а я надеялась еще, что вдруг задержка, ведь за четыре года в лагере — сама ведь понимаешь, одно и то же, что у них, что у нас... весь ритм к черту, организм разладился, а он мне, что в честь Пушкина, и вдруг в последний день я обратила внимание: ему инъекции назначены, и врач не отменял, а медсестра все не идет. Я к ней, а девчонка огрызнулась, да злобно так: «Буду я пенициллин зря тратить!» Я говорю: «Как это — зря...» Она и смотрит, а потом как закричит, а я смотрю и думаю, чего она зевает? Как сквозь сон... Или Гамлет сам это сказал? Забыла, все забыла. Живем, себя не ведая. Незрячие, глухие. Ты веруешь? Не знаю. Должно же что-то быть. Что выше нас. Ты как считаешь? Мимо тащатся пятна придорожных кустов. Дорога забелелась, уходя все дальше с каждым поворотом колеса, отмеченного особо натужным скрипом. Край телеги проступил, и ночь отхо-

дит, оставляя после себя осадок предрассветного тумана. Ключья стоят над дорогой — смутные, призрачные. Чтоб к пустоте дневной глазам привыкнуть. Нет выше ничего — *внутри*, Катюша. Внутри себя единственно и стоит жить. В руке и в пальцах. В каждой клеточке телесной. Мы, женщины, должны жить всем нашим существом, тогда и неживое оживает. Вот я своей рукой переживаю губы Ксюши, ее дыхание, задышку — через поводья, которые живые для меня. А книга? Снова я за свой конек, ты уже прости. И они — живые. И смертные они. Огнем, ножом, — есть такой метод умерщвления: мелкой резкой. Окрошкой, месивом. Она еще живет, из рук выскальзывает перед сном, а где-то там ее уже приговорили к высшей мере. Весь тираж. Весь этот неповторимый, раз набранный, раз отпечатанный и сверстаный народец. Сколько их там? Пять, тридцать, сто тысяч, два миллиона — под ножи и в печи. Живых. Покойный папа радовался, что пошла я в библиотечный техникум. Наивный, не от сего мира человек, и он, сей мир, его не пощадил. Ведь и меня, и маму сослали, так сказать, из-за него... Давай, Оксана! шевелись! Не верится, но теплится, Катюша: а вдруг все образуется, как граф Толстой сказал? Не стала бы и жить, если б не верила отчасти в известную возможность... и не извне, конечно, тут я сугубая идеалистка. Изнутри. Все изнутри. И отрезвление отсюда. А как ты думаешь: еще способна собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать? Во всяком случае, дам спиро, посильно поддержку произрастанье вечных мыслей. Есть у меня один знакомый мальчик, даже два, читающих. Все минется, а книги им еще понадобятся... Книги, — раздумчиво сказала мама, — свою судьбу имеют, — и Евгения Никифоровна подхватила: — В зависимости от читающих голов, а эти головы, как мы с тобой, Катюша, знаем... Писать-то будешь?

— Обязательно.

— По-моему, ты не такая, что с глаз долой — из сердца вон. Пиши. Куда бы не занесло тебя с твоим майором. Натура у тебя глубокая, и мой тебе совет: прислушайся к себе. В душе все значимо, и души наши вещи, как сны. И предвещают они, по-моему, многое... Я чудную историю прочла недавно о Ломоносове. Об Михаиле Васильиче, — сам основатель Академии Российской не чужд был нам с тобою свойственных предчувствий. И отроком он видел сон однажды... Ты знаешь его жизнь?

— Примерно, — неуверенно сказала мама. — Пешком пошел за знаниями от самого Архангельска...

— Ну да, он был из беломорцев. «Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря; Мальчик отцу помогал...»

— Да-да — перебила мама, — это как раз с его бюста. Что на площади, перед улицей Росси. Мы там неподалеку и живем: угол Рубинштейна и Ломоносова.

— Так вот, этот рыбак, Василий Дорофеич, вышел в море, и в его отсутствие приснился сон Мишутке, что папа с морем борется за жизнь, и все кончалось в этом сне благополучно, и папа, выброшенный на безлюдный островок, позвал его, прося о помощи. Мальчишечка проснулся и поднял тревогу. Понятно, степенный люд отмахивается. Тем временем вернулись рыбаки. Но без Василия Дорофеича. Где Ломоносов? А Бог весть... Пучина, дескать, она и есть пучина. Где в бездне энтакой отыщешь душу одиночную? Но отрок сумел пронять народ. Кряхтя, собрались и вышли в море. И что ты думаешь?

— Мороз по коже, — и голос мамин зябким был.

— Сыскали его отца. На острове, который приснился мальчику. Но вот что любопытно, Катя: он никогда в глаза не видел островочка этого.

— Не может быть, — и радость ужаса мне слышится...

— А вот, душа моя, смогло. Мы связаны друг с другом единой связью, все, в ком хоть настолько вот любви. И нет, помоему, ни ближних наших и ни наших дальних. Мы все одно, род, спаянный вот этой неизвестной силой: как-знаешь-назови. Повсюду мы, и нет для нас границ. Хотя, — насмешливо добавила Евгения Никифоровна, — как писано сынком другого Василия, отсюда, где мы с тобой имеем место быть в сию минуту, скажи хоть ты три года — ни до какой границы не доскачешь... а ну, залетушка! Пошла! Это я так, остратки для: на киевский с запасом попеваем... А ну! — и я услышал хлесткий звук поводьев. Меня больно стукнуло о борт, и некоторое время мы тряслись вовсю и грохотали старыми досками. Потом колеса перешли на скрип, и я закрыл глаза, легко себе представив, как в призрачном тумане наш углый челн упорно тянет куда-то в предназначенное место долгожданного свидания.

Я закопался глубже в сено, вдвинулся с головой под отсыревший сверху, но изнутри сухой и жесткий брезент. Засну и я, решил я, обнимая сводного брата, как родного. Семнадцать километров еще до станции.

# МЕРТВЫЙ ЧАС

Ноги шли медленно. Брели. Ковровая дорожка глушила шаги, и ноги вязли. А сердце билось, билось. Когда миновал свою дверь, ноги и совсем отнялись. Ноги остались перед своей дверью, а он беззвучно поплыл дальше, к тупичку, где приоткрыт был свет. Не дотянувшись до конца коридора, ковровая дорожка оборвалась, и он, услышав шлепки своих сандалет, пришел в себя. В приоткрытую дверь было видно, как женские руки перебирают стопку белья. Он постучался — руки остановились. Он вошел в комнатку, выдавил из себя «здрaсте». Девушка подняла глаза, и лицо его отвердело от безразличия. Комендантша кивнула ему, не взглянув, продолжала пришептывать и перебирать белье, поглощенная. Как будто перешептывалась с этой кипой белья. Под взглядом девушки немела спина. Он приоткрыл застекленный ящик, достал с гвоздика свой ключ, звякнувший легкой биркой с цифрой 13, — столько и было ему лет. Совпадение, как всегда, отозвалось в нем болезненно: мальчик презирал свой возраст.

Комендантша досчитала кипу постельных комплектов и придала ее ладонью. Наклонившись над столом, отчего халат у нее выпукло наполнился на груди, вписала количество в нужную графу. Постояльцев сейчас у нее было немного, но даже при наплыве приезжих, при инспекциях, например, она вполне справлялась одна — и за кастеляншу, и за уборщицу, объединяя ставки: много ли делов — один коридор! Дочери зато приданое будет: невеста, профтехучилище на тот год кончает, пора жениха присматривать, да и жизнь себе устраивать. Потому что и сама она, хоть и дочь, женщина еще вполне и надежду выйти замуж в другой раз не оставляет: знает себе, что нравится мужчинам. И действительно, понурость ее — податливая, доброжелательная понурость крупной женщины — волновала постоянных мужчин — и холостяков еще, и тех, кто в затяжных командировках впадал в холостяцкое самоощущение. Дверь ее кон-

торки всегда была приоткрыта, и к ней то и дело робко стучались мужчины старшего офицерского состава. За утюгом. Или когда подшить что. Или просто так. И тогда в комендантше просыпалась нерастратенная энергия сострадания.

— Скучаешь, — говорила она сейчас, сострадавая и задерживая мальчика на пороге, — скучаешь, поди, без мамы? Скучаете, поди, с отцом-то? Бедолаги вы мои... Когда ж она к вам придет, мама-то? Я и комнату вам уже подготовила. На три коечки, ага. — И ему особенно неприятно это сострадальное и влажное «ага».

— Это какой их отец? — спросила девушка, — такой с усами, симпатичный, да, мам?

Она сидела на стуле, вытянув перед собой ровно ноги и постукивая носками новых туфель.

— Вот ведь какая жизнь у вас с папой. — Комендантша вздохнула с чувством. — Ни дома, ни угла своего...

— Зато получают хорошо, — возразила девушка, рассматривая туфли. — Вон тот, из восемнадцатой, лейтенант всего, а уже получает — тратить некуда, говорит. Эх, мне бы! — пристукнула она туфлями.

Комендантша пошла было за мальчиком, но остановилась на пороге.

Отпирая, он оглянулся — комендантша почти закрывала собой проем, подсвеченная тусклым светом.

— Сегодня белье менять будуь — крикнула она в коридор. — Ты скажи им, ага? А я тогда зайду, заберу.

Из замочной скважины дуло на пальцы.

— Хорошо, — сказал он.

Никого не было. Кругом пусто, бело стояли кровати. В какой-то дальней тумбочке гулко тикал будильник. Во всех трех окнах номера над занавесками перемещалось небо — светлое, непроглядное. Ветер.

Вчера в кинозале — такое счастье, две серии! — он очутился рядом с ней, их разделял общий сдвоенный подлокотник. А с правой руки — локоть лейтенанта: отец не пошел, и лейтенант купил у него лишний билет у входа в кинозал Дома офицеров. Она — он — лейтенант. И все две серии «Войны и мира» просидел прямо, с трудом понимая, что происходит на экране, страшился локоть положить на ручку кресла — и левый, и правый, — чтобы не коснуться случайно, потому что прикосновение было опасно, как удар током, такое напряжение слева и справа от него. Немое, бездыханное. И он тоже старался дышать неслышно: вдруг разряд, вспышка... Даже позу боялся переменить. Так и пробыл в разноголосой, звучащей, цветной темноте кино-

зала: с лопатками сведенными, с руками сцепленными горячими, краями глаз углядывая то ее, то его — черный контур, отсвет на лице, влажном, белом, немом. Что это они? И сердце билось, билось.

Он сильно сцепил пальцы под затылком и, глядя в безразлично белый потолок, вспомнил счастливый день приезда, когда он увидел их обоих, — первое, что увидел здесь после незаметно пролетевшего времени в грузовике, после полета, после забытья. Грузовик сначала шел по обулыженным улочкам их городка. Тяжелые кроны лип проезжали на уровне взгляда — так близко, что можно было сорвать большой и пыльный лист. И славно было стоять в кузове, взявшись крепко за борт, — выше всех. Прохожих, лошадей, велосипедистов. Вровень с самыми высокими деревьями. А потом рванулось навстречу шоссе, волосы снесло, зажужжали уши, несся назад ветер, а в нем так радостно различался дух леса, поля, реки, что... «Иди под плащ! — слышал он слабый окрик. — Уши надует!» Коротко оглядывался. «Не надует!» — кричал счастливо. И снова исчезал, втянувшись весь в ровно несущуюся вперед мощь тяжелой армейской машины. И летел, летел.

Потом, приземлившись, он шел, пошатываясь, от грузовика следом за отцом, волочил рюкзак и прилаживал на ходу волосы, после ветра особенно укладистые и мягкие между пальцами. И от дверей она взглянула на него. И улыбнулась слегка. И отвернулась — к лейтенанту, который улыбочиво смотрел на нее. Рюкзак был тяжелый. Отец подходил к дверям. Она стояла, опершись плечами, зябко обхватив себя под наброшенной кофточкой, свесившей рукава. Лейтенант оттолкнулся от противоположной створки, выпрямился с едва уловимой ленцой, козырнул отцу. И снова она улыбнулась — лейтенанту. Когда отец прошел в черноту проема. И с места не стронулась, когда он, мальчик, прошел мимо, так близко, что пахнуло на лицо ее воздухом — юным, теплым. Предпраздничным.

Дверь открылась, закрылась. Майор с лицом землистого цвета прошел к своей кровати, тяжело сел, провалив сетку. Расстегнул ремни, гимнастерку. Стал снимать, стягивать через голову, но вспомнил про очки, и голова его выпросталась обратно, обеими руками он снял очки, сбросил их на одеяло и снова пропал под гимнастеркой — на мгновение.

Потом нагнулся снять сапоги и взглянул на мальчика.

— Что, — сказал он с усилием, приложенным к сапогу, — проснулся? Ну вот, — добавил он удовлетворенно. И поставил сапоги рядом, носок к носку, и голенища их развалились на обе стороны. Майор достал папиросу, спичечный коробок, но заку-

ривать медлил, выражение лица у него остановилось, и, глядя на мальчика невидящими глазами, майор пососал у себя во рту. Ясно было, что он только что из столовой. Скоро, значит, придет отец. — Ну вот, — успокоившись, сказал майор.

И закурил, положив спичку в консервную банку.

— Сегодня белье менять будут, — вспомнил мальчик.

— А-а, — кивнул майор, — это дело.

Из рта у него толчками выходил дым. Из папиросы синий, а изо рта серый.

— Отец не приходил еще?

— Нет.

— Да-а, — протянул майор. — Поспать, пожалуй, часок, как ты думаешь?

Начиналась тоска.

Как всегда, отец заказал ему полную порцию борща.

Они ели молча. Он взглядывал, как наморщивается у отца лоб, когда ложка подносится ко рту, и как белеет у отца кончик носа, когда он пережевывает.

Отец приподнял на него взгляд.

— Ну, — спросил он, — чем ты сегодня занимался?

— На реку ходил, — сказал мальчик, мучаясь исчерпанностью своего ответа.

Отец подумал. Одновременно они доели первое.

— Холодно сегодня, — сказал отец. — Ветер.

Мальчик переложил отцовскую ложку в свою тарелку, удвоил отцовскую тарелку своей, отодвинул.

— Ты не купался сегодня? Простынешь еще.

— Нет, — сказал мальчик.

— Мать приедет, а ты у меня с ангиной.

— Я не купался, — повторил он, отводя глаза от приближающейся со вторым официантки.

— Молодец.

Он смотрел в окно, на тропинку, уходящую от крыльца столовой, и чувствовал неестественность в своих глазах. Блузка официантки натянута грудью и просвечивает. Ему показалось, что официантка коснулась отца, снимая с подноса тарелку, и отец искоса, будто нечаянно, глянул на ее грудь. А ему, мальчику, тарелка была поставлена равнодушно, издали.

— Что же, продолжим, а? — Отец разместил как надо вилку и нож, положил горчицу на край тарелки — на слово «Общепит».

Энтузиазм отца перед шницелем показался мальчику преувеличенным.

— Да! — сказал он с интонацией мгновенного припоминания. — Комендантша освободила номер на троих. Нам с мамой.

— Черт знает что, — сказал отец про шницель. — Как подошва.

— Сказала, что мы можем переселиться хоть сегодня.

— Дождемся матери, — сказал отец, — тогда и переселимся.

Они молча приступили к компоту.

— Майор спрашивал о тебе.

Отец промолчал.

— Спрашивал, не приходил ли ты, — уточнил мальчик.

«Когда я ем, я глух и нем», — любил говорить отец.

— Сегодня снова будете играть?

Отец выложил косточку чернослива из-под усов на ложечку.

— Посмотрим, — нехотя ответил он. — По настроению.

Они доели компот.

Вот и все.

— Можно вас на минутку? — обратился отец к официантке. Излишне вежливо — показалось сыну.

Официантка отделилась от таких же точно женщин в просвечивающих розовым и голубым блузках и с наколками в прическах и пошла к их столику, оглаживаясь, будто ладони потные... доставая на ходу блокнот с вложенным карандашиком.

— Вот, — сказал отец, расплачиваясь. — Прощу вас.

И поднялся, предупреждая сдачу.

У выхода он точно надел фуражку и прямо взглянул между двумя сухими пальмами в зеркало.

Мальчик положил майку и заметил, что на мокрой скамейке перевернуто отпечаталась газета. Он поставил ногу на край скамейки и, расстегивая сандалету, медленно прочитал, восстанавливая букву за буквой: «...кстати сказать, социальной в какой-то мере, ибо семья — это общество в миниатюре. В школе штудируют роман Льва Толстого...» — он повернул голову к двери.

— Можно к вам, мальчики? — спросила комендантша, обращаясь к нему почему-то во множественном числе. — Я на минутку. Кольцо где-то позабыла...

Она зорко оглядывала душевую. Платок у нее на голове бугрился от таких железных дырчатых трубочек — на них прядки после ванны наматывают. И мама тоже.

— Да ты раздевайся, не смотрю, не смотрю... — говорила комендантша. — Куда оно подевалось золотое-обручальное? Ага, на подоконнике. Вот дура! — Она пошла через душевую, взяла кольцо, сказала: — Ухожу-ухожу! — и, напевая: «Любовь —

кольцо, а у кольца — начала нет и нет конца», вышла из душевой, продолжая песенку в коридоре.

Мальчик положил на недочитанную скамейку трусы и пошел по цементному полу, с презрением видя себя извне откуда-то — маленьким, голым, в пупырышках озноба... опасливые шажки нащупывают шероховатую кривизну стока.

Он вошел в крайнюю кабинку, примостил скользкое мыло. Он отступил как можно дальше от душа, прижался спиной к влажной стене, потянулся к крану, резко повернул и отпрянул, расплываясь у стены. Вода помедлила, потом рассыпалась редко, и холодные брызги достали ноги. Он пустил горячую. Попробовал рукой. Покрутил еще и шагнул в зашипевший, широко разлетевшийся конус. Вода давила на плечи, оглушала, и, зажмурясь, он намылил голову, смыл с нее пену, намылился весь и снова смыл и теперь просто стоял, отогревался, отгороженный от всего мира сплошной завесой сильно пущенного душа. Вдруг потянуло сквозняком по ногам, шум воды прозвучал сухим отверстием, открылась дверь, и в душевой возникли гулкие голоса. Ничего не видя сквозь шипящую завесу, он моментально узнал один голос, и он, этот голос, сразу приобрел телесность своего обладателя, и в каждой интонации мальчик видел выражение лица этого лейтенанта, так небрежно козырнувшего отцу при встрече, так немо и напряженно смотревшего вчера длинный фильм, и эти отсветы, эти тени на лице лейтенанта... Мальчику хотелось быть взрослым. Ему хотелось быть именно таким — подтянутым, небрежным, то улыбчивым, то бесстрастным. Выбритым до голубых теней на щеках. Мужчиной... И невозможно было представить детство лейтенанта, его самого в детстве: неужели когда-то ему тоже было тринадцать? Казалось, он сразу на всю жизнь получил этот твердый, точный и безукоризненный облик. Этот снисходительный взгляд. Эти голубые тени...

По шуму раздевания мальчик заключил, что другой был в сапогах и в форме. Лейтенант же был, как всегда, в купальном халате. Вот он докурив сигарету, зашлепал резиновыми тапками, и голос его на фоне мокрого шлепанья был тверд, уверен, точен — и небрежен в то же время. Он был ироничным, голос лейтенанта. Он был умен, его голос. Неважно, какие слова произносились. Так говорил вчера в фильме князь Андрей... Собеседники засмеялись; на фоне раскатов простого смеха, в котором ничего, кроме мощной грудной клетки, зычной гортани и сильных зубов, не было, усмешка князя Андрея доброжелательно снизошла к уровню собеседника, простой голос которого еще досмеивался, а потом возразил князю Андрею: «Она же еще...»

Мальчик не понял и услышал, как князь Андрей насмешливо упрекнул: «Ну, друг мой! Не надо при детях. Завтра, все завтра!». Собеседник босо вошел в кабинку, стукнул локтем о переборку, ругнулся и громко спросил: «Слушай, давай на спор, что ничего не будет. Не ты первый... На бутылку, давай!» Князь Андрей устало согласился: «Ну давай, если хочешь. Только армянского, а? Тут есть ереванского разлива». — «Идет!» — радостно отозвался собеседник, и голоса их тут же смыла одновременно пущенная вода в обеих кабинках.

Никто не обернулся от стола. С независимым стуком мальчик закрыл за собой дверь и прошел к своей кровати. Он укладывался нарочито долго, и кроватная сетка под ним скрипела с презрением, но никто из них так и не оторвался от игры. Они, игроки, были в хорошем настроении после душа, называли друг друга на «ты». Отец сидел к нему спиной, в чистой нижней рубаше, и шея его, обожженная солнцем во время полевых занятий, крепко краснела над воротом. Была обидна до слез сосредоточенность его спины, но мальчик проглотил подступившие слезы, и ему вдруг стало очень жалко этого человека с красной шеей, который не знал, не подозревал ничего о постоянно преследующей его пристальности сына — и ронял, ронял себя. Каждым словом, каждым жестом. Этой официанткой. Этой игрой. Партнерами своими... И мальчик бессилён был остановить в себе эту жестокую уценку, это падение. «Ничего, ничего не понимает, — думал он с горечью об отце. — Ничего, никого. Ни маму. Ни меня».

— Накурили мы тут, — говорил партнер, сдавая. — Не вредно твоему пацану?

— Ничего, ничего, — слышал мальчик, — ты что, пас? Бери, капитан, на раз...

А мама всегда грозила ему, что тоже начнет курить. Потому что если не куришь, дым вреднее, чем курящему. Травит меня никотином.

— Так что, без одной? Пиши, капитан. — И стряхивает пепел в консервную банку.

Майор говорит:

— Упал.

Отец говорит:

— Отдай ему прикуп, капитан. Чистый, или будем ловить?

— Будете ловить, — говорит майор.

— Ложись, капитан, — говорит отец. — Главное, снос определить. Как говорится, знать бы снос — можно в армии не служить. Ты куда, капитан? Ты ведь не в подкидного дурака игра-

ешь! Преферанс игра тонкая... французская. Предпочтение означает по-нашему. Давай ему, капитан, не поверим. Пред-поч-те-ни-е... Передайся мне в черву, капитан. Вот так. У тебя ведь не сыграна бомба, майор?

Мальчик слушал эти бессмысленные слова и не понимал — ни слова, ни чувства. Ни торжество, ни сожаление — все это было где-то далеко, в мире взрослых, отчетливом и непонятном, а он был тут, в своем возрасте, и у него все было другое, и, главное, завтра снова будет река... Эта пара сегодня у реки.

Подступал сон, и воспоминание отрывалось в нем из последовательности событий дня, менялось местами, наползало сначала во всех подробностях, но уже было искажено сном, и верным во всем этом был только страх, но и страх был преувеличенным, новым, хотя женщина была в своем прежнем черном мужском пиджаке и с виду старше, чем он, кудрявый тощий парень, совсем еще юный и похожий на девушку недовыраженностью лица, гладкостью выражения... Он, мальчик, лежит на песке — лицом к ним. А их прикрывают лохмотья кустов, дырявых, жилистых. Голова правой щекой ложится на локоть, он мельком, но пристально взглядывает на пару в кустах: они, оба в черном, почему-то очень любопытны, но почему-то — непонятно все — он стыдится своего любопытства и пристальности и поэтому взглядывает изредка, перекладывая голову на другую щеку, поглощенный неподвижностью странной пары. Ему кажется, чем-то они заняты, когда он их не видит, а потом, словно застигнутые врасплох его взглядом, застывают, сидя на бревнышке. Друг на друга не глядя. Плечом к плечу. Как верные товарищи, старые друзья. Забывшись, он смотрит на них сквозь лохмотья выгоревшей листвы — они оба созерцают что-то перед собой на земле, какую-то общую точку, и перешептываются, причем женщина в пиджаке срывает не глядя веточку, ломает ее нервно, слушая шепот парня. Обламывает другую, обрывает листья, гнет прутик колесиком — какие нервные у нее пальцы! «Почему? — бьется в песок его сердце. — Что он ей говорит?» Мальчик закрывает ненасытные глаза, перекладывает голову, слушая свое непонятное сердце. А открыв глаза, видит вдалеке все ту же распластанную фигурку, худенькую, в одном купальнике, хотя солнца сегодня нет. Это дочка комендантши, и он, мальчик, притаился за ней на пустой пляж, чтобы видеть ее — пусть издали, через немое расстояние, никогда он не решится заговорить с ней, да она и не ответит — не услышит просто: так далеко он, мальчик, от нее, между ними — годы, им еще не прожитые... Взрослая она.

Мальчик смотрит вокруг, медленно двигая глазами. Пусто, песок выметен ветром, парходик отчалил прогулочный, фигурка девушки вдаль — оттуда, издали, вдруг несется, комкаясь, к нему, на него, газета, двойной разворот, позавчерашний, ненужный, проносится мимо, а из рваных кустов слышен шепот и молчание, парень и женщина... Боковым зрением он уловил какую-то опасную перемену в их позе и насторожился. Приподнял голову, поставил ее подбородком на кулаки, притворно полужевнул — и обмер: парень жадно, некрасиво, как будто пытаясь вобрать все больше, всасывал ее рот и женщина грубо, сильно отталкивала его, и одним глазом видела меня эта женщина. Больше того — она пристально следила за мной своим глазом. Они были бесшумны при этом, как в немом фильме. Он обнимал. Она отталкивала, следя за мной.

Я отвернулся. Возникло на мгновение солнце, фигурка перевернулась на спину, газета проволочлась в обратном направлении, шурша по песку...

Он смотрел прямо перед собой — далеко куда-то. Обиженный чем-то. Женщина то ли поглаживала его по плечу, то ли стряхивала песчинку. И потом медленно, и ласково, и нежно провела ладонью ему по щеке.

Я приподнялся на колени — они напряглись, сидя на бревнышке, как пара стариков на старом фотоснимке, — прямо, трудно, неестественно, и когда вернувшаяся газета внезапно бросилась им в лица, облепила их, я бросился бежать прочь по твердому песку к сходям, у которых меня поджидал как раз прогулочный парходик, и последнее, что успел я увидеть, — как они, держа свои будто натруженные руки на коленях, с залепленными газетой лицами, как бы под ее покровом, как бы незаметно для меня отталкивались ладонями от своих коленей, выжимали внезапную тяжесть рухнувших на них годов, сясь приподняться, — два старых, дряхлых человека, старик и старуха, — сясь распрямиться наконец и проучить озорника.

— Ты спи, спи, — оглядывается отец. — Мы еще поиграем немножко... Раз. Пас. Два.

Мальчик смотрит в белую спину отца, видит незагорелые морщины, глубоко въевшиеся в темную красноту еще крепкой шеи, и ему, еще не пришедшему в себя после сна, вдруг страшно, страшно за отца — такой он старый в этом электрическом свете, тусклом и мутном от покачивающихся слоев папиросного дыма.

А отец говорит устало:

— Ну что ты мне припас, капитан?

— Первый и последний раз, — сказала мама, — обедаем в этой столовой. Кормят тут отвратительно. Нет, Леонид, нам, конечно, надо переехать отсюда. Там, у озера, я ехала, видела — деревушка. Небольшая, в хорошем месте. И отсюда недалеко. Так что сегодня же... Нет! Сегодня отдохнем, а завтра мы с мальчиком сходим туда, узнаем, что и как. Снимем скромную комнату. Готовить я буду сама. Нет, Леонид, это и экономно будет, и полезно. Будем парное молоко у хозяйки брать...

— Коровы там есть! — вмешался мальчик. — Каждый вечер мычат, я слышал.

Они возвращались из столовой.

— Ты, Леонид, — говорила мама, — будешь приходить к нам после работы. Там озеро, рыбалка. Прекрасно можно отдохнуть. Ты так считаешь, Леонид? Завтра и переедем. А ты, по-моему, похудел, — говорила мама мальчику. — Как вы тут без меня жили? Ты чем занимался целыми днями?

— Так, — сказал мальчик. — На реку ходил.

Отец ответил на приветствие, небрежное, как обычно.

— Кто этот юноша, Леонид? Такое интеллигентное лицо.

— Да-а, — неприятно сделал отец горлом. Через несколько шагов неохотно ответил: — Маменькин сынок какой-то. После института... — И махнул безнадежно рукой.

— Очень интеллигентное лицо, — возразила мама.

День был бессолнечный, пустой. Они шли по плацу. Солдат с красной повязкой издали козырнул отцу. Они вошли в гостиницу. Отец ушел вперед по коридору, доставая ключ.

— У тебя, должно быть, есть чем поделиться с мамой, — шепнула мальчику его мама. — Одиноко тебе без меня было, сынуля? Ты мне все расскажешь, хорошо?

Они вошли в новый номер — на три кровати.

Мама сказала:

— Ты обратил внимание, Леонид, как смотрела на меня официантка? Как на врага какого-нибудь. Обратил?

— Тебе показалось.

— Вцепиться в меня была готова.

— Вечно тебе все кажется, — буркнул отец.

Прислонившись к шкафу, отец слушал радио. Он курил папиросу и длинно выдувал дым в коридор через приоткрытую дверь. «Вы слушали последние известия», — сказала радио, и отец выдернул вилку, шнур закачался, шурша своими изогнутостями и пристукивая вилкой по фанерной стенке шкафа. Отец в последний раз затянулся, выдул дым в коридор и запер дверь. Долго позвякивал алюминиевый номерок на ключе. Звенела,

проваливаясь, сетка кровати под укладывающимся тяжелым телом. Во дворе дул ветер. Окно выходило теперь на спорт-площадку, и слышно было, как щелкают, сталкиваясь, деревянные кольца турника.

Был обязательный мертвый час, и с приездом мамы ничего не изменилось.

Мальчик смотрел на близкую стену. Вокруг извилистой трещины вспухала штукатурка. Трещина уходила под кровать. Новая стена была такой же скучной, как и в тринадцатом номере. Ничего на ней не видно, сколько ни всматривайся, — ни профилей, ни фигур, ни материков. Одни пупырышки масляной краски. Отец уже спит. Посвистывает. Иногда это смешно, а иногда...

Он повернулся на левый, запретный бок и посмотрел через проход на маму. Мама лежала неудобно, закрыв глаза кистью руки, с приоткрытым ртом, бесшумная, но, может быть, она как раз и не спит. Что-то театральное было в позе ее сна. Газета, дочитанная мамой, громоздилась на полу. Он заглянул в газету, прочитал заголовок: «*Через порог несовместимости*». О чем это, интересно?.. Но было на самом деле неинтересно. Было скучно. На руке у отца слышно тикали часы под названием «Командирские». Бегала секундная стрелка. Стать еще нужно долго. На дворе не переставал ветер, щелкали гимнастические кольца. Мама почмокала, как будто попробовала что-то на вкус. Никогда не известно, спит она или притворяется. Может быть, рискнуть?.. Мальчик сел на кровати, нашел ногами сандалеты.

Где-то в глубине коридора зазвучали шаги. Приближались. Шли. Голос князя Андрея произнес: «Так что, мой друг, сегодня будем пить», — поравнявшись с дверью их номера. И еще что-то, чего не слышно. Потом послышался ключ, и голоса зазвучали за стеной. Так вот кто теперь его сосед... Голоса были приглушены, но если вслушаться, разговор становился разборчивым, понятным. И мальчик вцепился обеими руками в железный край кровати.

Голос князя Андрея презрительно рассказывал о ком-то таком, чего он, мальчик, еще никогда не слышал, чего слушать не было сил, но и не слышать было нельзя: если он сдвинется, мама сразу проснется. А это невыносимо, невыносимо, чтобы мама услышала все это *вместе* с ним, ее сыном.

Вцепившись в острую рейку под сеткой, он сидел на краю кровати, замерев от страха, и слушал, слушал. И понимал, что теперь, с этой минуты, он не избавится никогда, не забудет отныне весь этот кошмар, в который превратился князь Андрей, — такой легко понятный в общем-то кошмар... Вот оно что

оказалось там, где он подозревал волнующую тайну. Вот оно что... останавливалось сердце.

И вдруг, и внезапно все эти отвлеченные сведения о женщине точный голос связал одним образом, одним именем — и мальчик все понял мгновенно, понял, что все произошло с той, о ком принялся рассказывать усмешливый голос.

Что-то сорвалось в нем.

Он соскочил на пол.

Неслышно, чтобы не разбудить родителей, поворачивал ключ, сжимая алюминиевый номерок.

И — распахнул дверь.

Вытертая ковровая дорожка глушила бег мимо дверей, дверей, дверей в темном коридоре, он едва не сшиб с ног пожилого майора, а она, его Наташа, как всегда, стояла в дверях казармы, пересмеивалась с дежурным солдатом, стараясь развязать бантик красной нарукавной повязки... Он пролетел мимо них и понесся через булыжный плац — к реке, а майор, удивленно посмотрев ему вслед, пошел дальше по коридору, стараясь наступать только на одну полосу, к своей двери, и думал, что надо бы отыгаться после вчерашнего, собраться еще разок... только как это теперь получится? Комендантша ему уже сообщила, что к полковнику приехала супруга.

# ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ

*...Уже женщина, не какая-нибудь, а женщина как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучала меня. Уединения мои были нечисты. Я мучился, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал... Я погибал один.*

*Л. Н. Толстой*

— Становись!

Каблуки вместе, живот втянут, плечи развернуты...

— Равняйся!

Глазами направо, в грудь четвертого (яблоком она круглится под коричневым платьем, оттопыривая черно-саиновую перепонку фартука...)

— *Смирно!*

Александр Андерс, 14, последний год пребывания в рядах 25-миллионной Всесоюзной пионерской организации имени Ленина (через месяц в связи с 40-летием она получит еще и орден Ленина) застыл в шеренге и ушел в себя. Алый шелковый галстук, «светлый верх», «темный низ» — отпаренный так, что можно порезаться. С известных пор под этим «низом» он носит мамосшитые плавки, пуговка которых — справа — все большей врезается сейчас ему в бедро.

Миру незримая эрекция Андерса отношения к происходящему не имела. Как обычно, ее вызвала мечта.

Еще без образа.

Слепая.

Вот уже больше года юный ленинец мечтал стать жертвой растения малолетних.

С наступлением второй своей весны мечта то и дело отрывала его от реальности, которой Андерс объективно подлежал — в том числе, и как участник происходящего на незрячих его глазах пионерского мероприятия. Оно было посвящено подготовке к 22-му Апреля — очередной годовщине со Дня рождения того, кому посчастливилось стать Вечно Живым.

Линейка развивалась, как сотни предыдущих в памяти Андерса — сбор отрядов в актовом зале на четвертом этаже; сигнал горна на построение; построение в шеренги дружины на скользком паркете под взглядом триумvirата школы — директриса, завуч, старшая вожатая; сдача рапортов председателей советов

отрядов (начиная со вторых классов и кончая седьмыми) председателю совета дружины; команда последнего: «Дружина, под Знамя — смирно! Равнение на Знамя!»; под звуки горнов с барабанами несение Красного Знамени дружины мимо строя, рапорт под салютом председателя старшей вожатой, которая — низкая посадка, полновесная грудь и галстук, повязанный на шею, — в свой черед повернулась на стоптанных лодочках и в балъзаковские тридцать отдает пионерский салют: пять плотно сжатых пальцев с облезлым маникюром (*символ сплоченности детей трудящихся пяти континентов*) взлетают выше головы (*общие интересы ставим выше личных*):

— Товарищ директор! Дружина к проведению линейки готова!

Женщина в костюме цвета стали, тучная, но в бедрах узкая и тонконогая, ответила на это:

— Рапорт принят!

И шагнула вперед, оставляя за собой завуча — прыщавую жердь.

У директрисы были глаза океанской рыбины — белые, навывкате и один косой. Стоя посреди зала, она держала в поле зрения всю дружину сразу: один глаз на правый ряд, другой на левый.

В голосе взволнованный металл.

Оберегая мир своей мечты, пионер Андерс взвел зрачки поперек противостоящей шеренги.

Сплошная облачность за окнами зала была грифельно-серой под воздействием невидимого с высоты завода автоматических линий. Он шефствовал над школой. В чем выражалось шефство этих труб, закопченных крыш, угрюмых и чумазных матерщинников, которые после смены распивали в сквере напротив школы, вытаптывая ежегодно насаждаемые пионерами саженцы, — того Андерс не ведал, но в связи с обозначенным отношением им, *подшефным*, предстояло (говорила директриса) дать в цехах серию концертов художественной самодеятельности под девизом «Ленин — всегда живой, Ленин всегда с тобой».

Андерс испытал боль. Слова были зачином песни, которую выпевало незабвенное горло Евы Брониславовны, так и не вернувшейся из декретного отпуска:

*...в горе, в надежде и в радости,  
Ленин — в твоей судьбе,  
В каждом минувшем дне,  
Ле-е-нин — в те-бе и во мне-е-е...*

В Евочке его, разумеется, не было — как и ни в ком другом. Но любые песни, и еще более идиотские, пелись как прямо из сердца на уроках незадачливой выпускницы консерватории, с трудом таскавшей аккордеон. Она была еще совсем не взрослой женщиной, еще с прозрачной кожей, еще с милым, легким на улыбку лицом, пепельными волосами, не говоря уже об огромных ее глазах, в которых Андерсу виделся и ветер, и звезд ночной полет... «*Меня мое сердце в тревожную даль зовет*», — пела Евочка песню из кинофильма «По ту сторону», а он, ее поющий ученик, как этой самой дали, не мог дожидаться куплета, в котором голос сердца сливался с ее грудным в экстазе:

*И так же, как в жизни каждый,  
Любовь ты встретишь однажды.  
С тобою, как ты отважна,  
Сквозь бури она пройдет...*

«Песня о тревожной молодости» кончилась звонком, она поднялась, захехлила свой аккордеон, взвалила на плечо (на глазах у коллектива он струсил оказать ей помощь до учительской) и навсегда оставила в душе искристый шорох из-под мягкой юбки, где незримо соприкасались ее ноги в нейлоновых чулках.

Кто-то немедленно взвел ногу и пнул по учительскому стулу — Андерс отскочил, стул улетел к двери. На половицах забелелось нечто неожиданное — полоска ваты с каплей впитавшейся крови. Алая такая звездочка, как бы завернутая. Андерс приоткрыл рот. В течение урока Ева Брониславовна ничем не поранилась, и больной отнюдь не выглядела, напротив: была в приподнятом, особенно певучем настроении... «Э!» — гаркнул Лебедев, и весь класс, тогда еще 5-ый, сбился вокруг находки. Пунцовая, девочки отворачивались и прыскали в кулак. Чей-то ботинок, прочертив черную стрелку, поддел вату, которую все с гоготом принялись пинать, перепасовывая друг другу. Андерс сделал шаг назад, уступая битюгам пространство у доски. Некую таинственно интимную связь этой ваты с Евочкой он угадывал, хотя в те времена еще и не читал матерью к открыванию запрещенный «Справочник фельдшера». Увлеченное глумление одноклассников, удары, сбившие вату в лохматую грязь — это хладнокровным его не оставило, что отразилось и на лице, поскольку Лебедев, весь красный и блестящий от ража, глянул исподлобья и осклабился с каким-то очень личным торжеством не только над певичкой, но и над ним, над Андерсом, а может быть, над унисоном их душ: «Понял, нет?..» Разъяснить он не успел — правая Андерса сработала. Но недостаточно — в случае Лебедева.

Тогда еще удар у Андерса поставлен не был, а о защите он и не подумал. Глянцевитый лоб с прилипшим чубчиком только откатнулся, а в следующее мгновение Андерс заглянул в предвотный мрак, сгибаясь и зажимая ниже пояса удар, самый сильный из всех до этого полученных им в жизни...

А друг Круглов — стул за переднюю ножку выжимает — на помощь не пришел.

Место директрисы заступила пионервожатая. Эхо раскатилось по паркету, отдаваясь за кулисами и под сценой. Андерс подумал, что ей приходится делать усилие, чтобы, несмотря на потухшие глаза, звучать *с огоньком*:

— «Делу Ленина верны!» Под этим девизом завтра начинается Слет пионерии нашей республики. В канун Дня рождения Вождя лучшие из лучших будут бороться за честь представлять республику на 2-ом Всесоюзном пионерском слете в Артеке. Кто знает? Может быть, в Артек поедут и наши ребята... (В паузе было слышно, как насторожился зал). Да! — взлетел голос вожатой. — Наша дружина посылает на Слет двоих питомцев. За годы пребывания в пионерских рядах оба хорошо показали себя как в общественной жизни, так и в учебе, включая физподготовку... — Вожатая повернула голову:

— *Андерс!...*

Помертвев, он шагнул в пустоту.

— *...Круглов!*

Справа возник Круглов и стукнул каблуками.

Ропот прошел по рядам.

— Кто-то имеет возражения?

Формальность вопроса сознавали все, включая самых несознательных.

— Честь выноса Знамени дружины — нашим избранникам!

Под раскат барабанной дробы кулаки Круглова сжались на древке, которое Андерс перехватил повыше — не соприкасаться.

Предварительная команда:

— Знамя...

Исполнительная команда:

— *...вынести!*

Наклонив тяжесть бархата с лентами и бахромой, с вышитым золотом крутолобым профилем в пылающей звезде пионерского значка, призывом «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза БУДЬ ГОТОВ!», избранники дружины с отяжкой ударили по паркету строевым.

Плечом к плечу.

Мечта возникла больше года назад. Еще до того, как человек — Гагарин — в космос полетел. Андерс точно помнит — в ночь на 21 января 1961 года. В ту ночь привычное сновидение с Евой Брониславовной в главной роли оборвалось первой в жизни его поллюцией. Этого непроизвольного события Андерс предвидеть никак не мог. Там и тогда даже зачатков соответствующей культуры не было. Мать Андерса о переходном возрасте понятия не имела, а когда жизнь ее столкнула, то спутала поллюцию с мастурбацией — с печальными для сына последствиями. Отчим об этом с Андерсом не говорил. В школе не проходили. «Пионерская правда», которая хвастается ежегодным тиражом в 1 миллиард, оставила подписчика без информации о беспощадной правде, которую, отбросив одеяло и задрвав подол фланелевой армейской рубахи, он увидел в ту ночь на своем впалом животе — *слава Богу, не кровь* — в виде лужицы, которая расплзалась. Прозрачной. Слегка мерцающей в слепящем серебре полярных джунглей на оконных стеклах. Стынущей, но еще теплой. Клейкой и с незнакомым весенним запахом (на вкус он воздержался пробовать). Без затруднений Андерс определил источник — который сникал с довольным видом в этой жемчужной пачкотне. Из кармана брюк на спинке стула Андерс выдернул носовой платок — выглаженный мамой и надушенный «Красной Москвой». Он закрыл свой инцидент и заложил руки под голову. Он не знал, что и думать. Он подумал, что, быть может, это вытек его мозг, вернее, спинно-мозговая жидкость, без которой человек дурак — как был один в пионерлагере, у которого ее отсосали врачи. *Пункциями*. Чем превратили в полного мудака. Примерно так же чувствовал себя и Андерс, в голове которого звучала только одна мысль, да и та не своя: что, мол, брат, беспорядок в танковых войсках! Но при чем тут танки? Танки явно были не при чем. В отличие от беспорядка. В ту драматическую ночь Андерс сумел себя уверить, что непонятный сбой организма — явление случайное и однократное. Не тут-то было. Все только началось. В нем открылся как бы гейзер — вроде камчатского. С периодичным выбросом во сне. Некогда аккуратный пионер (всем-ребятам-пример), Андерс с непроизвольной регулярностью, дошедшей до 5 ночей в неделю, стал марать постельное и личное белье. Этому нужно было положить конец. Чтобы не извергать *непроизвольно*, Андерс взял дело под контроль и в руки — точнее, в правую. Процедура оказалась не лишеной приятности. Особенно момент, когда взлетаешь — как на качелях. Благоразумно отстрелявшись в платок на сон грядущий, он просыпался в 6. 45. сухим, как прежде. По пути в школу платок выбрасывался в урну. Платков, однако, не на-

пасешься; и однажды, вернувшись из школы, он обнаружил на кухонном столе Словарь русского языка Ожегова — открытый на букву «О». Соответствующую в нем статью мать обвела красным карандашом: «Онанизм. *Порок, состоящий в противоестественном удовлетворении полового влечения раздражением половых органов... Страдать О.*» Андерс ужаснулся. В то же время он возмущился до глубины души. А потому что ложь, пиздеж и провокация. При чем тут «О»? При чем *порок*? Разумный просто способ. Если Андерс и удовлетворял, то вовсе не какое-то влечение, а лишь потребность в чистоте. Ему привитый гигиенический инстинкт. Но разве Словарь Ожегова оспоришь? Напрасно он подсовывал матери с отчимом «Крейцерову сонату»: в том смысле, если 0,99 мальчиков, то может все же и не порок, а норма жизни? Авторитет великого писателя земли русской на мать не подействовал. Только убедил, что Андерс в извращении упорствует. С ним началась неравная борьба не на живот, а на смерть, которая низвергла пионера с пьедестала, до того им занимаемого по праву: всем ребятам пример. Оставаясь примером наружно, Андерс рухнул внутри себя. Провалился в такой порочный круг, что только в смысле наглого издевательства все это в целом — состояние, которого он оказался свидетелем, мученик, творец, — мир взрослых снаружи мог называть *невинность*. Ее здесь не было — внутри. Все ложь, пиздеж и провокация. Сплошная винность. А коли так, то все наоборот. Мать, например, весьма хулила какую-то студентку пединститута, которая «повадилась» в отсутствие родителей к девятикласснику — выше этажом. Называла эту неизвестную особу «растлительницей малолетних», жалея «*мальчика*» (лба 16-ти лет, толкающего центнер в секции тяжелой атлетики), который, как сообщает во дворе соседкам его отчаявшаяся мать, жалобно стонет во сне, держась за истощенные «*яички*». Выслушав этот педагогический рассказ, Андерс испытал острую зависть к живущему над ним тяжелоатлету. Раз все наоборот, то и за словом и делом *растления* на самом деле не тлен, а нечто совершенно тому обратное. Спасение и жизнь. Их возвращение во всеоружии и красоте. Их возрождение — растленных малолетних. Из полного ничтожества. Из мусора невыносимого знания о себе. Район, где все это происходило с Андерсом, переименовали в Заводской, но урны оставались теми же — красивыми. Из осуждаемой эпохи якобы «излишеств» — огромные посеребренные вазоны на пьедесталах. Как в вечные амфоры, он опускал в их жерла оскверненные носовые платки. Кажется, только один пионер Андерс и прибегал к услугам этих урн в районе, где в отличие от Центра с мусором не боролись.

А может, время пришло такое?

Всеобщий беспорядок?

Домой он возвращался, высматривая в освещенных окнах общежития Треста СМУ №1 потенциальных растлителей.

Обычно. Но не этим вечером.

Этим масса дел.

В районной парикмахерской, филиале гестапо, Андерс не пикнув выдержал стрижку под «полубокс».

Потом отпаривал галстук и прочее.

До полуночи укладывал чемодан, самый красивый в доме.

Утро. На нем прорезиненная куртка на «молнии». Бледно-голубая: мэйд ин Чехословакия. Вельветовые польские штаны. Его ботинки куплены в Питере. Оглядываясь с завистью, по тротуару одноклассники уходят в школу. Посреди Заводского района, стоя на «островке спасения», он чувствует себя нездешним.

Ушло уже две «семерки», когда появился конкурент.

Скособочась, Круглов перетащил над рельсами огромный чемодан — с ободранными боками и облезлыми наугольниками. Он был из бедной семьи, вернее — обедневшей. Однако не заводской. Они ютились не в бараке, а в «хрущобе» — правда, самой дальней, с видом на свалку под насыпью межзаводской узкоколейки. Андерс там был всего раз. Во-первых, из-за вони от ребенка: сестра Круглова, студентка техникума, была мать-одиночка. Во-вторых, потому что Андерса возненавидел папаша Круглова, отставник упраздненного МГБ, состоящий на учете в психбольнице, где их мамаша устроилась уборщицей. В школе Круглов был признанный спортсмен. Что же до остальных предметов, то пытался брать задом, благо свинцовый, но дальше хорошистов не выходил. Правда, тоже всегда были белые воротнички. Не сейчас, конечно, но класса до 6-го только они на пару и являлись в провокационных этих воротничках, пришитых мамами, не понимающими, в какой район занесены судьбой. В память о тех воротничках, наверное, его и выбрали. С другой стороны, им больше было некого: если не девочки, то или недоумки, или шпана.

— Ты, я вижу, прямо в Артек собрался?

Круглов шмыгнул носом и повинно улыбнулся. Он посмотрел на чемодан Андерса, который был куплен прошлым летом в Эстонии — легкий, на «молнии» и в сине-зеленую клетку.

Андерс хлопнул однокашника по плечу.

Подошла «семерка».

Трамвай пролязгал под уклон, переполз по насыпной дамбе через свалочную долину, и Заводской район (а бывший Сталинский) остался позади.

Сбор в Центре.

У ЦК комсомола, в ряды которого их примут на следующий учебный год.

Автобусы въезжали под арку с транспарантом: «Привет делегатам республиканского Слета!»

Это был пионерский лагерь, только что расколотенный после зимы. Справа плац с флагштоком — еще без флага. Слева дощатые домики. Отмытые стаявшим снегом, домики выглядели хрупкими и нежилыми. Здесь они назывались *палатами* — слово, от которого дохнуло свободой, пусть и несколько в больничном смысле, который поддержал застиранный комплект постельного белья со штампом. Отряду столицы достались две палаты в самом конце — одна для девочек, другая для мальчиков. Дальше был только сортир. Он тоже разморозился, и с ветерком доставал открытую террасу запахом прошлогодней карболки.

Круглов сказал:

— В столовую далековато, зато потом не бегать...

Андерс открыл дверь.

Здесь были как бы сени. Слева кровать вожатой, застеленная аккуратно шерстяным одеялом. Справа раскладной походный стол с китайским термосом и списком отряда — напечатан на машинке. Андерс заглянул и сразу испытал укол: рядом с его фамилией краснела пометка. *Знак вопроса*.

Струхнув от его любознательности, Круглов пихнул матрасом в спину:

— Ты что?

— Витюша, не бздымо...

Коленом Андерс выбил дверь в спальню.

Два ряда железных коек: посередине спаренных, у окон одиночных. Как первый, Андерс сразу выбрал лучшую. Одиночную справа. С видом на ель. Уронил чемодан и раскатал на поржавелой сетке запятнанный матрас с подушкой, пробитой перьями.

— Дуть будет, — предупредил Круглов, который занял спаренную по соседству (того не понимая, что табачок отныне врозь).

— Ни хуя, перезимуем...

В своей окраинной школе Андерс слыл «интеллихэнтом» еще и за то, что не выражался, но сейчас, когда палату наполняли

делегаты от центральных школ столицы, в нем заиграла вполне плебейская агрессивность. Он застелил сырую простыню, вдел подушку в наволочку, еще одну сырую — поверх. Закрыв все байковым одеялом, лег поверх, скрестил ступни в ленинградских ботинках и заложил руки за голову.

Знак вопроса... *почему?*

Конкуренты входили один за другим. Некоторых он уже видел в автобусе. Рослые, упитанные, хорошо одетые. Одухотворенные лица, умные глаза. Интеллигенты, хули. Сливки столицы! Золотая молодежь. Впервые Андерс оказался в коллективе, где не было ни увечных, ни уродливых, ни пришибленных, ни угреватых, ни даже подлых с виду. Более того, полно было красавцев, особенно один — ну хоть сейчас в кино: такой брнет с глазами лани и ртом, яркость которого оттенял пушок на верхней губе. Андерс даже стал подергивать своими бицепсами от сознания, что он здесь в этом смысле уже, как минимум, второй. Кинокрасавец, впрочем, оказался петей — судя по выбору койки и общей координации движений.

Последним появился тип в пионерском галстуке, но с комсомольским значком. Гофрой блондинистые волосы. Бледное лицо, горячие глаза. Рубашка на нем была с погончиками, но не цвета хаки. Васильковая. На рукаве ярлычок с оранжевой вышивкой «FDJ».

Форма комсомола ГДР.

Андерс встал.

Тип потер ладони, хлопнул ими и заговорил по-русски:

— Ребята, познакомимся! Меня зовут Евгений...

Его тут же перебили:

— Александрыч?

— Как твоя фамилия?

— Репкин... — Смех. — То есть, Перкин!

Снова смех.

— Что, Перкин или Репкин, наверное, Евтушенко любишь, да? *Какие девочки в Париже, черт возьми?* Нет, брат, я — Платонович. И подобные стишата мало уважаю. Я из ЦК ВЛКСМ, ребята. На время слета ваш вожатый. Прошу любить или, по крайней мере, жаловать. На остаток дня программа будет такая. Поплотней заправиться за ужином и...

— Неужели баиньки? — возмутился Перкин.

Вожатый улыбнулся.

— На танцы, мальчики! Хоть до полуночи! Но только с одним условием. Выбирать себе самых красивых партнерш.

— А если кому-то на ногу медведь?

— Нет-нет. Танцуют все.

— А если кто-то повышенно застенчив?

Круглов, который стоял, сжимая свою кровать, вдруг прыснул — мол, и подвешен же у центровых язык.

— Это ты, Перкин, о себе?

— Евгений Платоныч! я из альтруизма. Ведь в нашем переходном возрасте всякое бывает — да, ребята?

Регот.

— Проблемы тут не вижу. Девчонку попрыщавей, и вперед.

— Прыщавые, они ведь тоже: прекрасный пол...

— Тогда пусть эти повышенно застенчивые друг друга обучают. Танцуют все. Я лично прослежу.

— Твист можно? — оторвал баском крепыш в импортной куртке —кожаной и с косыми карманами на «молниях». Он был лобаст и стрижен ежиком — еще чуть-чуть и персонаж из «Шайки бритоголовых».

— Как твоя фамилия?

— Лобов.

— А ты умеешь, Лобов?

— Что, показать?

Крепыш пригнулся и заскрипел своей курткой, выбрасывая руки и колени.

— *Twist again!* — выкрикнул он. — *Like we did last summer!...*

Все онемели.

— Да-а, — признал вожатый. — Где так научился?

Оттирая лоб, крепыш небрежно бросил:

— В Польше.

— *В Польше?*

— Но.

— Что же ты там делал?

— К батюшке ездил.

— Он у тебя поляк?

— Кто, батя? Ха! Он гарнизоном в Легнице командует.

— Нашим?

— А чьим же? Эс-А. Так как насчет?

— Твистуй, уж ладно, — сказал вожатый. — Неси культуру в массы. Но только с музыкой, боюсь, проблема.

Лобов хлопнул по авиасумке «*LOT*»:

— Пласты при мне.

— Но радиолы нет.

— Как нет?

— Увы, ребята. Танцуем по старинке. Под баян.

На ужин были три тештельки с пюре и оранжевой подливкой.

По три печеньца. «Лимонных».

Чай вонял тряпкой.

\*\*\*

Штаны он свои любил. Мягкие и совершенно несоветские — с прорезями задних карманов, манжетами и цвета морской волны. Проблема с обувью. Он взял с собой три пары — ботинки, сандалеты, кеды. Ленинградские ботинки хороши, но зимние: на микропоре. Кеды? Непразднично. Китайские. Опережая сезон, Андерс надел сандалеты. Хоть и светлые, но ПНР. На кожаной подошве. Через голову он снял черную тужурку, сшитую матерью удачно — по западной выкройке. Снял галстук, белую рубашку, сложил и спрятал в чемодан. От холода соски напряглись.

— Андерс, это ты?

За спиной стоял вожатый — Евгений Платонович.

— Я.

— Боксом занимаешься?

Андерс натянул шерстяную безрукавку.

— А что?

— Крылышки у тебя славные... Лопатки в смысле. — Вожатый неумело выбросил правую (с зажатым списком). — А? На дистанции держать? Давайте, парни. Наводите марафет и в бой!

Андерс заправил в брюки польскую рубашку из фланели. Надел куртку, ногой загнал под койку чемодан.

Заложив руки в карманы, отряд покачивался с пятки на носок, прогибая дощатый пол террасы.

Было еще светло и очень тихо. Кроме слета, во всей округе никого. Лимонный колер неба тепла не предвещал. Верхушки елей вокруг плаца слегка покачивало. У дальних палат уже маячили провинциалки. В этом затишье с крыльца соседней сбежали две их девочки. Брюнетка и блондинка — светлая, как ангел. Она была в брюках, которые Андерс в первый раз увидел на женщине. Элегантно длинноногая. Задыхаясь, она спросила снизу:

— Мальчики, нет утюга? Случайно?

Брюнетка смотрела без надежды, и была права. Блондинка рассердилась:

— Воды в рот набрали?

— Утюг... Откуда?

— Чем же вы галстуки будете гладить?

Брюки ее были выглажены столь идеально, что сила разочарования осталась непонятной. Мужской коллектив бурчал им вслед:

— Галстуки гладить... Наматывать будем.

— Кое на что...

Лобов, стоящий отдельно, сказал с интонацией не по возрасту:

— А евреечка ничего.

— Этого здесь не хватало! — взорвался Перкин, на которого оглянулись все, кроме Лобова. — Что ты имеешь в виду?

Лобов смотрел вперед:

— Есть за что подержаться — имею в виду.

— Антисемитов среди нас, надеюсь, нет? Ребятки? — перебежали по лицам интенсивные глаза Перкина. — Мы же лучшие из лучших?

Все молчали — включая Андерса, который слово знал из книг, но услышал впервые.

Флагшток поскрипывал под порывами ветра. Под ним, в зимнем пальто, сидел на табуретке баянист. Он играл танго. Танцевало пар сто. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Чтобы мальчик с девочкой, таких пар оказалось всего три-четыре, и среди них блондинка в брюках. Все на таких смотрели — и те, кто танцевал, и те, кто наблюдал.

Лобов сплюнул

— Дяр-ревня... Знаешь, как в Польше?

— Как?

Ответив непечатно в рифму, Лобов удалился курить «Джебел».

Перед Андерсом возник вожатый.

— Почему не танцуешь?

— Не умею.

— Ты?

— А что?

— Чего же тут уметь? Не вальс же. А ну!..

Вожатый был немного выше. Из-под мышек у него разило жарким потом. Андерс старался вдыхать по сторонам, но запах резал ноздри. Вроде бы никто не усмехался. Круглов, обучаемый Перкиным, взглянул даже ревниво. Вожатый наступил на ногу в сандалете.

— Сс-с!..

— Пардон. Так больно?

— Ничего...

— А ты не упираться! Чего ты упираешься? Расслабься.

Напор колена заставил отступить.

Напрягаясь, косая мышца спины вожатого говорила о превосходстве. Поэтому Андерс хранил сумрачность в ответ на улыбку, которую в советских книгах обычно называют *заразительной*.

— Тебе отряд наш нравится?

— В порядке...

— Как на подбор ребята! В Артек, конечно, уедет лучший, но моя бы воля, всех бы вас туда. В Артеке не был?

— Не-к.

— Ну... Рай на земле. Там теперь целый комплекс: лагерь «Морской», лагерь «Прибрежный». Еще и «Горный» будут возводить. Из-за рубежа ребят полно. За лето до 50 стран бывает. Друзей наших дети. Хотел бы познакомиться, ну скажем, с ровесником-французом? Или с француженкой предпочитаешь? Ребята развитые, скажу тебе... — Он подмигнул. — Тю парль франсе?

Андерс мотнул головой.

— Ан пе?

— У нас английский.

— Инглиш тоже годится. А в общем-то язык Артека интернационален. Дружба! Ну, а природа, я тебе скажу... Эх, Крым, мое отечество! В Крыму бывал, конечно?

— Не-к.

— Неужто не возили?

— Не-к.

— Ну-у... Родители-то кто?

От прямого ответа Андерс уклонился:

— Возили на Кавказ.

— Тоже неплохо. Небось, в закрытом санатории отдыхаете?

*Закрытый?* Что ли, для больных?..

— Н-нет. Почему?

— А где?

— Мы диким способом...

Вожатый завел еще дальше свою руку ему за спину и внезапно вошел в клинч. Сквозь куртку Андерсу в низ живота уперся стальной бугор — как пистолет приставили. Он сначала не поверил, но, убедившись в природе напора, стал медленно, но верно выгибаться. В рамках приличий отставляя зад и продолжая тему отдыха почти не изменившимся голосом:

— Вернее, — сказал он, — у знакомых мы...

Пистолет напирал.

— У них дворец там...

— Ну?

— Настоящий. С колоннами.

— А где?

— В Пицунде.

Напор ослаб.

— Где дача Сталина?

— Ага.

Вожатый попятился, притягивая Андерса, подошвы которого заскользили на траве.

— Музей сейчас?

— Зачем? Хрущев там отдыхает.

— Эн Эс?

— Ну да.

— Да что ты говоришь! Не доводилось видеть?

Андерс кивнул.

— В бейсбол со мной играл.

— Во что?

Вожатый выпустил его.

— Американская игра. Вроде лапты, но нужно рукавицу.

— Рукавицу? Какую?

— Биту ловить. Специальную. Типа боксерской... — Андерс оглянулся на Перкина с Кругловым. — Меняем дам!

— Постой!..

Но он уже выдернул Перкина, и волчком крутился прочь.

— Чего он смотрит на тебя?

— Он смотрит?

— Выкатил шары. Случилось что-нибудь?

— Да нет...

— А все же?

Андерс обдумал.

— «Над пропастью во ржи» читал?

— «Над пропастью во *лжи*»? Еще бы! - Перкин сжал и тряхнул ему руку. — Приятно встретить родственную душу... Ну и?

— Там, помнишь... *Мистер Антолини*?

— Еще бы! *И*?

Но Андерс не сказал. Не мог. Все Заводской район. Книги и толстые журналы, которые он брал в районной библиотеке имени автора «Как закалялась сталь», обсуждать ему там было не с кем. Слова, им вычитанные, звучали в голове, но, может быть, неправильно. Поставь он ударение не там, он умер бы на месте. Плядя мимо, он оттанцевал с партнером к краю, где оба разжали руки и сникли в ночь, оставив слет вращаться под «Криминаль-танго» на баяне.

Простыни сырые и холодные. Андерс снова натянул свою безрукавку.

Перкин возмущался издали:

— Республиканский Слет! По одеяльцу на душу! И если бы по шерстяному! Даже на этом уровне не держат за людей. Им лишь бы мероприятие. Для «галочки»... Этот наш, мистер Антолини?

- Ну?
- Чего нашептывал?
- Про Артек. Что всех бы нас послал. Но разрядка - на отряд по одному.
- Я сразу отпадаю.
- Почему?
- Перкин вздохнул...
- Сам не еврей, случайно?
- Русский...
- Фамилия, однако.
- Не всем же Иванов-Петров-Круглов.
- А также *Лобов*... Но лучше поменяй. Иначе ходу не дадут.
- Куда?
- А никуда. Ты будешь кем?
- А ты?
- Я первый спросил.
- Не знаю... — Андерс помолчал. — Может быть, врачом.
- Зачем?
- А в Африку уеду.
- Ха-ха.
- Или на Кубу. Детей лечить.
- Перкин фыркнул.
- В 16 будешь паспорт получать, так запишись... ну, например: *Андреев*. Иначе ни Кубы и ни Африки. Застрянешь, как моя мамаша вон. В районной поликлинике.
- Почему?
- Жизни не знаешь. *Потому*.
- Впервые в жизни с Андерсом о серьезных вещах говорили всерьез. От этого он испытал озноб тревоги — будто не из окна, а потянуло из будущего самого, где вовсе непроглядно...

На торжественной линейке был поднят флаг, и началось соревнование за Артек.

С одноклассником Кругловым отношения становились напряженней с каждым днем. Андерс пришел первым на короткую дистанцию. Но Круглов, что неожиданно, снял ленточку на длинную. Андерс победил в прыжках в высоту, но Круглов напрягся, пернул и прыгнул дальше всех. В день художественной самодеятельности Андерс вызвал аплодисменты декламацией из Лермонтова: «Погиб поэт, невольник чести», тогда как Круглову устроили овацию за русский танец вприсядку. В День охраны природы они вкопали равное количество саженцев в Аллею Дружбы (которой не суждено было приняться, потому

что в спешке ей рубили корни). В общем, можно сказать, они вничью пришли ко Дню интернациональной дружбы...

В лагерь привезли посланцев Острова Свободы - три автобуса.

Все началось с того, что по этому случаю Андерс извлек из чемодана свой берет.

Этот головной убор, навязанный матерью («Апрель — никому не верь!»), носить он избегал — по причине чужеродности в Заводском районе, где все носили кепки, переломив им козырек. Но в День интернациональной дружбы берет, хоть и серый, оказался как нельзя кстати. Андерс надел его на правое ухо - пофиделькастровски. Кроме берета на нем был темно-вишневый спортивный костюм чехословацкого производства. В этом ярко необычном виде Андерс вместе с делегатами и гостями слета орал «Патриа о муэрте», «Венсеремос», пел Революционный гимн 26-го июля - *«Шагайте, кубинцы, вам будет счастье Родины — наградой! Народа любимцы, вы солнечной республики сыны...»* выкрикивал: «Куба си! Янки но!» и «Вива Фидель!» Потом вдруг Андерс оказался внутри автобуса — приведенный кубинцами, которые изолировались, чтобы согреться (несмотря на атмосферу встречи, вечер выдался холодным). Кубинцы спросили что-то у Андерса, который ответил: «Си» и получил бутылку, с которой уже открутили пробку. Пахло головокружительно. Крепко и сладко. Это был ром. Барбудосы — как белые, так и черные - улыбались по-хорошему. Он приложился к бутылке и сделал несколько глотков. Когда он пришел в себя, ему стало весело. Вечер пошел в ускоренном темпе. Однажды Андерс обнаружил себя под елями. Стайка делегатов разглядывала его грудь. Он опустил глаза. В отблеске Костра Дружбы грудь его сияла от нацепленных кубинцами значков. Что-то колело также и за ухом. Он снял берет, который отяжелел от значков, вколотых как попало. Его можно было теперь поставить во Дворце пионеров, в уголок интернациональной дружбы — экспонатом и символом. Андерс засмеялся. Делегатка подняла глаза:

— Вы кубинец?

Неожиданно для себя Андерс ответил:

— *Си!*

Он снял тяжеленький значок с рыцарским гербом под надписью «*Ciba*» и наколол делегатке. Грудь у нее оказалась настоящая: с весом и упругостью. В Заводском районе идет охота на таких девочек, которых *зажимают*, а они не дают. Но, как кубинцу, девочка далась. Андерс, впрочем, не зажимал, он просто проявил старание, чтобы вколоть не в кожу.

— Беса ме муча!

Она моргала. Андерс интернационально чмокнул недотепу. Другие делегатки смотрели с завистью. Неожиданно для себя по-русски он заговорил с акцентом. Советские сверстники разинули рты. Андерс, хмурясь, вкратце поделился революционным опытом — как брал Гавану и получал от Фиделя именной американский «кольт» калибра 45. «Эспасибо», - повторял он, набиная карманы адресами из Бреста, Гродно, Могилева, а крошка из Слуцка подарила надкушенную булочку с изюмом от раннего ужина. Попрощавшись с делегатками Слета, Андерс вернулся в автобус, сел у окна и стал ожидать возвращения на «Остров Свободы», дивную ящерицу с изумрудными глазами которого воспело солнце нашей поэзии Николас Гильен. Из неподвижного автобуса он махал юным ленинцам, которые ушли в слезах, но не все: поцелованная девочка влезла к нему в автобус: «Вы, значит, из Гаваны?» - «Си...» - «А я из Гомеля!» - и села рядом, расплющив ляжки в коричневых хлопчатобумажных чулках. Сжимая Андерсу руку, делегатка Гомеля стала шепотом проситься с ним на Кубу. Он стал ее гладить, сначала по голове, горячечно убеждая учиться, учиться и еще раз учиться, а потом обжегся у нее под юбкой и выхватил руку со словами:

— ...*Как завеял великий Ленин.*

В автобус, выше колен подол задравши, влезла одна из отрядных пионерзажатых, за ней валил барбудос — белозубый и черный. Андерс пригнул свою лже-девочку. Барбудос с пионервожатой протопали мимо и с хохотом провалились на заднее сиденье. Андерс вытащил гомельчанку в проход, снял со ступеней, пообещал ей навсегда остаться с советской детворой и потерялся среди елей. Очнулся он в руках барбудоса, который нес его обратно — к автобусу. Барбудос дышал водочным перегаром и не хотел поверить, что Андерс не кубинец, а советский пионер. Андерс уперся ему в грудь: «Бля на хуй, *отпусти!*»

Его поставили на ноги.

Автобус сжал двери, и под колесами захрустело. Сверху из окон кубинцы показывали по два пальца — мол, *Venceremos!*

Стало темно.

Хоть выколи глаза...

В вышине шептались ели.

Андерс сел на мох и заплакал.

Окно ему открыл Перкин. Палата слушала, как раздевался Андерс. Как он отскрипел. Лобов не выдержал:

— Чего молчишь? Ребята ждут. Делись.

— Чем?

— Впечатлениями. С кем был-то?

— Так. С одной...

- Ровесница?
- Почти.
- И как?
- Как в Польше, - ответил Андерс.
- Сопротивлялась?
- Не.

Перкин, испуганно:

- Крови много было?
- Не было.

Лобов, снисходительно:

- Что, на полшишки?
- Нет.
- А как?
- Ну... Как обычно.
- По яйца?
- Ну...
- Молоток! Покажешь ее завтра?
- Не покажу.

— Молоток вдвойне, — одобрил Лобов, а Перкин сказал печально: вот так ребята. Пока мы с вами *укрепляем организм*, среди ровесниц девочек и не останется.

На рассвете голый Андерс сидел посреди ручья, вцепившись в камень пальцами ног. Он соскользнул по поясу в воду, едва не выпустив свои плавки с отстиранной поллюцией. Глаза на лоб полезли, но он заставил себя присесть по шейку. Даром, что ли, отчим закалял его зимой, вгоняя ежеутренне под беспощадный душ? Он выбрался на берег. Растерся ладонями, попрыгал. Одедся, затянул шнурки на кедах и стартовал в тумане по пересеченной местности, имея дальней целью дыру в заборе.

На утреннем построении ребята смотрели с уважением, не зная, что плавки на нем еще не высохли.

День был — Юнармейцев:

*По нашей армии всегда  
всегда равняются отряды  
Пятиконечная звезда  
И красный галстук рядом...*

Командиром «южан» вожатый назначил Круглова. Потом он повернул помятое лицо:

- Андерс!

Шаг вперед.

— Режим нарушил?

— Так точно.

— Причина?

— Кубинцев провожал.

— Причина уважительная. Да, ребята? В штрафбат, так и быть, не отправим. Возглавишь «северян».

Они должны были захватить баллистическую ракету, которую охранял взвод Круглова. В тыл «южан» их забросили на настоящем бронетранспортере. Андерс недаром был пасынком офицера СА. В ходе операции под его командованием «северяне» сняли часовых, и суворовским натиском в рукопашном бою захватили ракету, причем Андерс собственноручно поборол Круглова, связал его по рукам и ногам, воткнул кляп, не пожалев своего шелкового галстука, и доставил под конвоем в ставку командующего игрой «Если завтра война...» Генерал-майор взял под козырек: «Благодарю за службу!» — Андерс трижды рывкнул: «Служу! Советскому! Союзу!» Генерал велел развязать Круглова, которого поблагодарил также — вместо того, чтоб расстрелять за провороненную ракету. В бронетранспортере отряд привезли в воинскую часть, где накормили борщом, кашей и компотом из сухофруктов, а напоследок дали расстрелять на стрельбище по целому диску из АКМ. Патроны, правда, были учебные, но в синих апрельских сумерках впечатление осталось ярким.

На вечерней общелагерной линейке Андерса с Кругловым выдвинули знаменосцами Рапортующей — сопровождать в завтрашнем восхождении к Ленину Лучшую пионерку республики.

Ей стала девочка из их отряда. Которая утюг искала — белокурая, как ангел. Родители назвали ее Сталиной, но после того как рухнул памятник Вождя, переименовали. В светлых сумерках она тряхнула ему руку:

— *Лина!*

— Александр.

Выпукло-льדיстые глаза прожгли насквозь.

— С тобой в Артек поедem?

Он глянул в сторону Круглова, который моментально обернулся.

— Посмотрим...

— Ты постарайся, — сказала Лина без улыбки.

Автобусы остались у трамвайного кольца, где слет построился в колонны. Андерс и Круглов были сразу за Линой. За ними

духовой оркестр, дальше — рядовой состав. На плечо Андерсу давило древко Знамени, свернутого по-походному. Ему доверили Знамя республиканского значения, Круглову — городского. Круглов старался не выдать огорчения, Андерс — торжества. Знаменосцы должны быть непроницаемы.

— Слет, слушай мою команду! — раздался мегафонный голос Главной вожатой. — Смирно!..

Андерс вскинул подбородок, обхваченный ремешком алой пилотки с ниспадающей кистью. Носки врозь, знамя давит в левую ладонь, правая рука через грудь сжимает древко.

Их сфотографировали с колена.

— Походным шаго-о-ом... *арш!*

Лина- они - колонна тысяченого двинулась по мостовой.

С тротуаров смотрели прохожие.

Потом их остановили.

Посреди улочки, которая круто поднималась вверх — к правому флангу Дома правительства, уступчатые стены которого серой громадой всходили в безоблачное небо. Слет прибыл слишком рано. На площади перед Домом еще не закончилось построение городских дружин.

Переминаясь с ноги на ногу, Андерс вдруг нахмурился и обратился к Лине — нет ли булавки? Английской?

Расслабляя ремешок под подбородком, Лина взглянула с испугом:

— Проблема?

— Ерунда.

— Кажется, где-то была...

Сняла пилотку, заглянула внутрь — куда и солдаты вкалывают. Нет. Наклонившись, отвернула подол плиссированной юбки и стала его перебирать. Глаза Андерса скользнули по стройным икрам, по сомкнутым коленям и отпрянули — с внутренней стороны бедра на коже слабый след крови. Лина вопросительно взглянула, увидела сама и сделала гримасу досады. Она взошла на тротуар к группе вожатых, отозвала главную и зашептала ей на ухо. Главная всплеснула руками и сказала что-то, отчего Лина опустила голову. Главная взяла ее выше локтя и повела по тротуару вниз. Отрядные вожатые озабоченно смотрели вслед.

— Праздничек! — сплюнул Круглов.

И стал раскручивать свое знамя.

Лина догнала их уже после команды «парадным шагом марш». Скользнула меж знамен и возглавила шествие.

Под непрерывный бой барабанов они выплыли на Центральную площадь.

Перед глазами Андерса открылось море алого, белого, черного. Полный штиль. Только реяли парусами знамена дружин. Он принагнул Знамя республики. Тугое, оно вздулось над ним, огладив щеки шелком и бахромой. Раз-два! раз-два! — чеканили они по обе стороны от Лины. Несмотря на инцидент, маршировала она, как на военном параде. Юбочка плескалась на круглом ее заду, который уверенно взял курс к подножию лестницы. Ступени восходили на эспланаду Дома правительства. Выше ступени расходились направо и налево, а вперед выпирал гранитный утес, из которого наполовину был высечен Ленин. Под ним в утесе была трибуна — как бы гнездо, или карман кенгуру, из которого на них взирали живые бюсты руководителей республики с Первым посреди — самым высоким и красивым.

Пока Лина, взбрасывая колени, марширует меж знамен на месте, колонна подтягивается.

Лина-они-колонна клином восходит к подножию руководства и Ленина.

Голос в мегафон раскатывается по площади:

— Смир-р-рно!..

Все застывает. От Лины до последних хулиганов, запрятанных в последние ряды колонн на площади. Палочки выбивают из барабанов последнюю дробь — взлетают в воздух. Тишина. Мертвая. Охватывает Андерса - площадь - мир. По лестнице к Утесу с двух сторон восходят команды горнистов. Разом они оборачиваются к площади, разом вскидывают надраенные фанфары:

— Ту-туту-туту-у!..

Разносится огромный, переполненный еле сдержанным, рвущимся ликующим торжеством женский голос — ГЛАС:

— **ЛЕНИН И СЕЙЧАС ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ! НАША СИЛА, ЗНАНИЕ И ОРУЖЬЕ!...**

И запекает, а с ним и Андерс, и площадь, и мир:

*День за днем идут года,  
Зори новых поколений,  
Но никто и никогда  
Не забудет имя ЛЕНИН.  
ЛЕНИН всегда живой.  
ЛЕНИН всегда с тобой —  
В горе, надежде и радости.  
ЛЕНИН в моей судьбе,  
В каждом идущем дне,  
ЛЕНИН в тебе и во мне!..*

— СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА, — ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ГЛАС, — ТЕБЕ, ПАРТИЯ, РАПОРТУЮТ ТВОИ ПИТОМЦЫ, САМАЯ ЮНАЯ ТВОЯ СМЕНА, ПИОНЕРИЯ РЕСПУБЛИКИ!...

Фанфары.

— РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЕНА!

Вступают барабаны.

— СМИРНО!

Дробят-разносят все до последней клеточки, нарастая в тебе до нестерпимости...

— ОТДАТЬ РАПОРТ!

Лина и они, знаменосный ее эскорт, оживают втроем, выбрасывают правую ногу, вытягивая ее носком, *носочком*, — и пробивают хрустальный саркофаг стойки «смирно» — из миллионов трое.

Над миллионами.

По отлогим ступеням на эспланаду.

В обход бугристой спины Утеса — в живот трибуны.

Здрав подбородок, он смутно различает, как взлетает в салюте Лина рука, как генералы прикладывают вытянутые ладони к козырькам, как штатские вытягивают пальцы по швам. А за краем полированным гранита море площади. Стократно усиленный голос Лины звонко долетает по диагонали до самого почтамта, до университета, до невидимого за ним вокзала, но он, стоящий за плечом, не понимает слов...

— РАПОРТ ПРИНЯТ! — У Первого посеребренный висок и зычный голос. — ПИОНЕРИЯ РЕСПУБЛИКИ, К БОРЬБЕ ЗА ДЕЛО ПАРТИИ ЛЕНИНА БУДЬТЕ ГОТОВЫ!

Со дна площади тысячеруко взлетает салют:

— ВСЕГДА ГОТОВЫ!

А следом стая голубей.

Которых, видимо, таила под мышками какая-то изобретательная дружина.

Голуби разлетаются по небу, а они расступаются, пропускают Лину — в лице ни кровинки — и выходят — из живота Ленина, из-за спины Утеса, и ветер вздувает Знамя, и древко вздувает вены на руках, во лбу и в плавках, которые едва держатся на пуговке сбоку. Это Андерса живая кровь несет тебя, Знамя, символ крови, пролитой за это вот мгновение пионерского счастья. Андерс готов ее отдать сейчас же — до последней капли. Тебе, Родина! Тебе, Партия! Он весь порыв, он весь экстаз, но вдруг отскакивает пуговка, и его 14-летний член пружинной разворачивается и — перед всей Центральной площадью — предательски — *эсэрски* — стреляет ему в живот, все заливая изнутри своей

горячей липкой кровью — и «светлый верх», и «темный низ».

Андерс не согнулся.

Он обязан был держать. Поэтому, все еще разряжаясь, Андерс упер древко в свое намокшее бедро. Он держал его изо всех сил, потому что, взмывая, Знамя республики отрывало подошвы, силясь утащить с собой.

В небо.

Андерс продолжил спуск.

Еще ступень, еще...

И он на дне.

Торжество продолжалось. Еще ступени заполняли бело-черные октябрята, которым последний пионерский год завязывал на шее под воротничками их первые алые галстуки, символ триединства партии-комсомола-пионерии, крепким узлом; еще что-то говорили громкие голоса без лиц и обликов, и все снова пели что-то, и кто-то из новопринятых закатывал глаза и упал на руки старших товарищей, и еще один, и его, ее, их, обморочных, выносили, маскировочно согнувшись, за спинами сомкнутых шеренг к окраинам площади, где укладывали в тень в ожидании машин скорой помощи, и лопались, вялыми шкурками падая с неба, резиновые шарики, и каблук наступал, пачкавая, на гроздь белой сирени, и кто-то из октябрят чистым ртом выдувал из подобранной с асфальта резиновой шкурки красные, зеленые, синие шарики размером с лампочку для карманного фонарика, кто-то размазывал кровь по своим веснушкам, кто-то, осваивая новый галстук, заклеивал им рот и вдыхал вовнутрь, разинув алую пасть, а другие бесхитростно слюнявили концы, мелюзга, но для Андерса, словно бы размноженного этой толпой на все возрасты, на все дни его Красного Галстука, — уже все кончилось...

*Пиздеу.*

Он свернул Знамя своей пионерской республики с чувством, что не древко, а только что павшего товарища заворачивает в насквозь пропитавшийся кровью плащ. Он взвалил его, толстомягое, на плечо и в нестройной толпе, похожей на разбитую армию, побрел своим одиноким путем отступления, уступая правительственным машинам, которые разбегались, черным и блестящим до дурноты.

Улочка под уклон.

Тротуар был замусорен. Когда-то, когда памятник Сталину еще не рухнул, и об отчине еще было не известно, что он неудачник, Андерс жил здесь, в Центре, ходил здесь в школу, и как пионер вносил в красоту его свой посильный вклад. У матери хранится вырезка из республиканской пионерской газеты

«Заре навстречу». На снимке трое, он, Андерс, девочка-глазастик с непонятным акцентом и гордым именем Аврора, а также пионер Эпштейн. Все трое в галстуках и с повязками — белыми и с крестом. Не совсем понятно, какое отношение имел тот красный крест к их обязанностям — указывать взрослым, чтобы не сорили, и заставлять их поднимать бросаемые ими по привычке на тротуар серебряные обрывки эскимо, троллейбусные билетки, окурки. Мусор жизни. Надпись под фотографией гласит: *«В человеке, говорил великий Чехов, должно быть все прекрасно: и лицо, и душа, и мысли. Прекрасным обязано стать место, в котором ты живешь. По всей республике пионеры включились в борьбу за красоту. На снимке — эстетический патруль школы №1 гор. Минска. Слева направо...»*

Андерсу на снимке 8. Все было тогда красиво, аккуратно, и галстук новорожденного пионера цвел на груди, лицо лаская алым светом. Тогда он не подозревал о том, что, как адская машина, в нем уже таится, поджидая часа *порок* - и станет весь он непорядок. Не Андерс станет, а — прополз слизняк...

Он свернул в подворотню, уперся теменем.

Сжал галстук в кулаке.

Его тошнило.

Желчью.

Вечером на отрядной линейке вожатый сказал:

— От девочек в Артек поедет Лина Лозинская. Возражений нет? Поздравим Лину!

Он захлопал, и все за ним.

— Но как нам быть с мужской кандидатурой? («Андерс, Андерс!» — закричали все, но вожатый поднял руки...) Это не совсем еще ясно. И Андерс, и Круглов - оба кандидата проявили себя отлично. Мы знаем, что они друзья, одноклассники, и кстати, от имени Слета и пионерской организации республики их школе будет объявлена благодарность. Молодцы, ребята, не посрамили школу Заводского своего района, которая по части пионерской работы вышла, вам благодаря, вперед центральных. Но вот вопрос: как быть с Артеком? Обоих бы послать, но место, увы, одно. Ставим на голосование?

— Ставим, ставим!

— Кто за Андерса?

Пелена застилала глаза, но боковым зрением Андерс углядел, что рук поднялось много.

— Раз, два... — Вожатый осекся. — Что, единогласно? Но кто же за Круглова? Ребята?

Отряд потупился.

— Не понимаю...

Раздался вскрип, из строя выбежал Круглов. Он скрылся за углом, откуда доносился уже не только запах старой карболки. Но за нарушение дисциплины вожатый отчитал отряд: «Не товарищески!.. Разойтись!» Повернулся и вприпрыжку за Кругловым. Расслабившись, отряд смотрел, как внизу под горкой вожатый вылезает в дыру забора, как исчезает в тумане перед темным лесом. Мелькнула Лиана, украдкой растопырив ему два пальца — указательный и средний. Рога? А, да: «победу» покубински. Ребята обступили, со звоном били по спине. «Молоток! — говорили ему. — Молоток!..» Но он смотрел в туман, пока не развернул удар в плечо. Лобов смотрел в упор:

— Чего ты?

Ответил Перкин:

— Жалко ему. Гуманист.

— Жалко у пчелки! — крикнул кто-то, а Лобов осудил:

— Тот проиграть не смог, этот выиграть. Вы ж, мужики, с окраины. Так и держите себя. Сопли развели. Из-за чего? Подумаешь, *Артек*. Такое же говно. Для нас оно на этом кончилось, а тебе, Сашок, расхлебывать еще одно пионерское лето. Ну, разве что засадишь этой альбиноске...

— На фоне моря! — заржал отряд.

— От имени-по-поручению!..

— По яйца!

Андерс возразил:

— Не альбиноска вовсе, а блондинка.

— Насчет блондинок одно могу сказать: ты не был в Польше. Знаешь, как в Польше?

— Знаю.

— Ну, и все. Рубать, ребята! Шампанское нам ставят.

— Да ну?

— Был слух.

По пути в столовую Перкин высказал сомнение:

— Клюквенным сидром кончится, боюсь...

— Тоже неплохо, — сказал отряд.

— Главное, чтоб не ситро!

— Чтоб градус!..

С прощального костра они вернулись ночью. С пылающими лицами. Круглова в койке не было. По контрасту стало жутко холодно. Палата пыталась согреться разговорами, но зажигания не возникало: несмотря на сидр, дальше снятого кинокарасавцем лифчика достоверного материала ни у кого не набралось. Начался отвлеченный обмен эрудицией, и вскоре в темноте остался

только голос Перкина. Он сообщал палате про колпачок Кафки, когда на террасе скрипнуло.

Приоткрылся свет, вскользнула тень Круглова.

Тишину нарушил Андерс:

— Осторожно, Витя. Ужин под подушкой.

Он принес однокласснику его порцию — котлеты с гречевым проделом. Накрыв тарелкой.

Круглов поставил ужин на колени.

— Чем есть-то?

— Ложка на тумбочке.

— Котлеты я лично *вилкой* кушаю.

— Чистых не было.

На что Круглов вдруг истерично:

— *Если сын уборщицы, так думаете, все равно?!*

Грохнул котлеты об пол и каблуком задвинул под кровать. Разделся, аккуратно вывесил одежду и лег — руки на одеяло.

Все молчали.

У Круглова урчало в животе.

— Да-а, — сказал Перкин. — Ситуация...

Ступени террасы заскрипели под взрослым весом.

Толчком открылась дверь.

— Мертвая тишина! — иронически заговорил с порога поддавший вожатый. — Спят без задних ног. Ладно. Поверим. Всем, кроме одного...

Раздался звук — пробки вынутой из термоса.

— Чайку, ребята?

Молчание.

— Для сугрева? Кто хочет? Перкин?

— Спасибо...

— Спасибо да, спасибо нет?

— Спасибо, нет.

— А почему?

— Да, знаете ли... Писию в кровать.

Когда все отсмеялись облегченно, вожатый повернулся:

— Ты тоже, Андерс?

— Вроде нет.

— Тогда держи...

Звук наливания — и Андерс принял пластмассовый стакан. Налитый до краев. Коньяком, отдающим термосовой пробкой. Напрягаясь горлом после каждого глотка, Андерс выпил до дна — вернул.

— Ну, как чаек?

Осипшим голосом Андерс ответил:

— Не слабый.

Вожатый засмеялся.

— Дворец с колоннами! С Премьером, говорит, по петухам в лапту. Ну, Хлестаков... Вот только при этом *Андерс* почему?

— А я откуда знаю?

— *Есть мнение*, ты ж понимаешь. Представлять на Всесоюзном слете Беларусь, а сам звучишь, как нехристь. Идем обговорим. Ребятам не мешать...

Дверь он оставил приоткрытой.

Андерс оделся. Он вмазал ладонью по кровати Перкина, который отозвался:

— Начинаешь понимать?

Пионерский галстук Евгения Платоновича был намотан на трубчатую перекладину изножья — способ выгладить без утюга к последней утренней линейке.

Сам он лежал поверх одеяла. Почти невидимый.

— Закрой... Вот так. — Проваливая сетку, передвинулся к стене. — Залегай давай. Ум хорошо, два лучше...

Андерс стоял, не выпуская дверную ручку.

Вожатый усмехнулся:

— Боишься?

— Чего бояться...

— Правильно. Бояться тебе нечего. Если, конечно, выбросишь дурь из головы. Фантазии свои на политические темы. Ложись.

— Я постою.

— Ну, сядь. В ногах, как говорится, правды нет.

— А в чем?

— В том, что не очень-то тебя хотят. Совет вожатых. Да и у Главной есть сомнения. — Он шлепнул по матрасу. — В общем, давай в горизонталь. Поговорим с тобою за Артек.

— Чего тут говорить?

— Считаешь, нечего?

— Так... *Выбрали*. Единогласно.

— Ну... Просто п-полежим. Согреемся...

Зубы вожатого выбили дробь.

— Мне не холодно.

— Не холодно?

— Пойду, наверно...

— Нет, стой! — Он сел, схватил свой термос. — Д-давай. Для смелости! — и перешел на шепот. — Ну, я тебя прошу?

Андерс выбил дверь плечом.

Лобов, струхнув:

— Чего он?

Не раздеваясь, Андерс влез под одеяло.

Никто не спал.

Вожатый ходил за дверь. Натрещавшись, вошел и ухватился за железные изножья:

— Ему не холодно. Норманн, ты ж понимаешь. А я из Феодосии! Мерзляк. И не стыжусь признаться. У-у-у! — затрясся он и постучал дурашливо зубами. — Ну, кто меня согреет?

Все молчали.

Кто-то бзданул.

Никто не засмеялся.

— Человек околеваает... Парни?

Рядом скрипнула сетка. Одеяло откинул Круглов. Он спустил ноги, встал и подтянул «семейные» трусы.

Молча вожатый повернулся и вышел, освобождая тускло озаренный проем, который на мгновение заполнил Круглов — в обвисшей майке, обхватив себя руками. Это самообъятие ему пришлось разнять, чтобы закрыть дверь.

У арки лагеря стояли автобусы. По пути в столовую отряд увидел посреди поляны выгоревшее пятно.

За дальним столом заправлялись шоферы.

На линейке по итогам слета Плавная вожатая зачитала список. На букву «А» его не оказалось. Когда прозвучала фамилия одноклассника, он выглянул направо. Щека Круглова вспыхнула до уха. Белесые ресницы трепетали, но глаза смотрели вперед.

— Поздравим наших артековцев!

Андерс захлопал со всеми, зная, что весь отряд слушает звук его ладоней.

Плавная прокричала:

— Честь опустить флаг Слета предоставляется...

Услышав наконец свою фамилию, он сделал шаг вперед и развернулся через правое плечо. Толченный кирпич похрустывал под ударами подошв. Работая руками, он прошагал мимо лиц, устремленных на флаг, в центре развернулся через левое, сошелся с голубым облезлым поржавелым флагштоком и взялся за натянутый шпагат.

Ударили барабаны.

# ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?

Открылась половина двери, и в клубах мороза в кафе ресторанного типа вошли трое — Евгений Иванович, Попенченко Эдик и с ними женщина в сапогах. Отложив журнал, гардеробщик поднялся в ожидании шутливого: «Хайль Гитлер!»

Заместо этого Евгений Иванович сказал:

— Что, насшибал уже *десюнчиков*? Ты даму, даму раздевай! Мы уж как-нибудь.

— На представлении были, Евгений Иванович?

— Балет! — ответил Эдик. — По книге Леонида Ильича.

— Я уж, мальчишки, переобуваться не буду, — сказала женщина и, подав полиэтиленовый мешочек с туфлями, залягала к зеркалу.

— По карманам только не сшибай, — обидел на прощанье Евгений Иванович.

По обе стороны от лестницы из стены выпирали полуколонны, выкрашенные под мрамор. Ковровая дорожка на ступенях посредине была вытерта до основы. Юбка сзади на Раде Михайловне вздергивалась — попеременно. Евгения Иваныча толкнуло изнутри в причинное место, неуверенно, но приятно. Как бы оттаивая.

Они поднялись в зал. Здесь было ярко, тепло и накурено. Свободных столиков не было. Посадочных мест тоже.

— А вон, — углядел Эдик.

— Где?

— Да за вашим столиком.

— Так там молодежь.

— Потесним.

— Неудобно, — сказал Евгений Иванович. — У них свои дела.

В дальнем углу слева, под картиной с изображением Театра оперы и балета, сидели девушка и студент. Она бледна и накрашена, он в темных очках. Он пил коньяк, она кофе.

Кофе здесь подавали, как чай: с кружочком лимона внутри и в тонких стаканах, вставленных в подстаканники из тяжелого мельхиора. Она допивала уже второй. Отмалчивалась и одну за другой курила привезенные им американские сигареты с ментолом. «А помнишь, как мы...» — говорил он, выбирая наиболее пронзительные, с его точки зрения, моменты. Например, как они сгорели на солнце, уехав на парном водном велосипеде в зону невидимости, где и обнажились. И про тот островок с осокой, про отмель и болезненность любви на песке, который...

Он посмотрел на часы.

— Еще один рейс остался. Можем успеть.

— Не надо об этом. И кстати! Верни мне те снимки.

— Какие снимки?

— Которые ты делал тогда. Где я на этом велосипеде, как дура.

— Почему «как дура»?

— Потому что ты меня так снимал. Думаешь, я забыла? Ловил момент, когда я на педаль нажимала.

— Ту пленку, — сказал он, наливая из графинчика, — я не успел еще и проявить. Да и где? Не в фотоателье же.

— Тем лучше. Просто засвети тогда.

— Засвечу, конечно. — Он выпил. — Думаешь, я на нее —

Она перебила:

— Не выражайся! Люди идут.

Он повернул голову. За спинку свободного стула взялась рука с синевой плохо сведенной с кисти татуировки: «Не возражаете, молодые люди?» С ним была женщина. И еще третий, помоложе — тот как раз подносил недостающий стул, и запястье под манжетом рубашки у него перебинтовано. Он сел напротив. При этом мужчина постарше сказал: «Как говорится, в тесноте, но не в обиде!» Все трое были в костюмах — женщина в бордовом, с привинченным к лацкану значком. Включая женщину — широкоплечие, неуклюжие, с напряженными физиономиями. Студент отвернулся.

Из бело-зеленой, не нашей пачки его кадра — ногти синим крашены — выбила сигарету. Попенченко был некурящий, но зажигалка при нем была. Под стать — заграничный газовый балончик, добытый в борьбе с фарцой. «Момент...» — сказал он, неумело высекая огонь. Кадра ждала, но обслужить ее не пришлось. Очкарик сказал: «Позвольте вам не позволить?» — и задул его пламя. У Попенченко Эдика даже челюсть отпала. Упреждающе Евгений Иванович наморщил переносье. После этого мужчины посмотрели на очкастого, который смотрел на пылающую спичку, которая обожгла пальцы и угасла.

- В этой дыре, — сказал он, — жить нельзя.  
Евгений Иванович не вынес:  
— Что вы сказали?  
— Я не вам. — Выложив локоть, выставив хилое плечо, очкарик отгородился. Волосы неаккуратно налезали ему на воротник.  
— Ты здесь погибнешь.  
— Я здесь прописана. Где мне еще жить?  
— Со мной, — сказал студент. — В Москве.  
— Нелегально, что ли?  
— Почему нелегально? Я все устрою.  
— Ты?  
— Я.  
Она фыркнула.  
— А вот увидишь. Все будет. Включая прописку.  
— У тебя же у самого нет.  
— Вопрос времени.  
— Интересно. Каким же это образом?  
Он ополовинил рюмку и закурил.  
— Видишь? — показал ей пачку сигарет *Salem*. — Наметились связи.  
— Уж не в преступном ли мире?  
— В альтернативном.  
— В каком, в каком?  
— Ну, в параллельном.  
— Не понимаю. О чем ты говоришь?  
— Ну в общем, — затемнил он, — возможны варианты. А что касается сигарет, курить будешь исключительно штатские.  
— С сигаретами я завязываю. — Она решительно затянулась. Как в последний раз. И раздавила в пепельнице, полной окурков: на белых фильтрах следы помады. Такой — с блестками. — Да, мой милый. Меняю образ жизни. Нет, правда. А то дышалка отказывает.  
— Ах, вот как? И в каких же ситуациях?  
— Не начинай, а? Я же бегаю теперь. Я еще на аэробику записалась. Буду теперь, как Джейн Фонда.  
— Терпеть ее не могу.  
— Разве? А сам говорил, что я на нее похожа.  
— Я? Никогда я этого не говорил.  
— Говорил, говорил. — Она вынула сигарету, и он поднес ей огонь. — Чувак тот, я тебе показывала. Кружок на дому открыл. Через подъезд — далеко не ходить.  
— Что еще за чувак?  
— С бородкой, ну. Который на «Ладе»-пикап отъехал.  
— Ничего себе «чувак»! Да ему уже кончать с собой пора.

Знаешь, что Федор Михалыч говорит? Федор Михалыч говорит, что после сорока жить неприлично.

— Может быть. Но гай, между прочим, в форме. Профессиональный танцор, что ты хочешь. Дома у него настоящий зал. Зеркала, станок вдоль стены. Стереосистема на четыре колонки. Сейчас он хочет видео достать.

Сосед по столику сказал:

— Извините за вторжение, молодые люди. Нечаянно подслушал...

— Да?

Из кармана пиджака сосед вынул театральную программку и раскрыл. — Как фамилия артиста?

Девушка недоуменно посмотрела на студента, который ответил:

— Нижинский.

— Ага! — и сосед повел пальцем по списку действующих лиц.

Студент отвернулся и сбавил тон.

— Довольно гнусный все же тип. И эта бородака — якобы мексиканская...

— Зато суплес у него — знаешь, какой?

Он ухмыльнулся:

— Суплес, говоришь...

Во взгляде девушки возникло отчуждение. Лыдыстыми глазами она смотрела перед собой. В своем синем итальянском платье из спецраспределителя она выглядела почти высокомерно.

— Не сердись.

— Но ты все сводишь к одному.

— Есть грех.

— А у людей могут быть и другие интересы.

— Аэробика, например.

— Я даже спрашиваю себя иногда, а не маньяк ли ты.

— Конечно, маньяк. А это очень заметно? Моя мания это ты.

— Он налил. — За тебя! И за Джейн Фонду.

Он выпил.

— Тот гай, — сказала она. — К женщинам он в принципе равнодушен. Если ты этого боишься.

— Ах, вот оно что. В принципе щелкунчиков предпочитает? С ними, конечно, трудно конкурировать. Ну, спасибо. Успокоила. *В принципе.*

Уши у девушки зазелели насквозь. Ломая спички, она прикурила.

— Еще одно слово! — губы у нее тряслись. — Еще только одно слово...

— И что? — смотрел он пристально.

— И я уйду!

Соседку по столику вдруг прорвало:

— И правильно, девонька! Давно пора! Гордость надо иметь.

— Я вам не «девонька»! Не вмешивайтесь!

— Да я же! я же от чистого сердца. — Ее внутренности вдруг издали рык, и женщина в бордовом под столом схватилась за живот. Заглушая рычание, она выкрикнула жалобно: — Ой, да сделайте же что-нибудь! Евгений Иванович, Эдик! Я — на минуточку...

Стул отпрыгнул, женщина вскочила.

Если бы не тормоз юбки, она бы сейчас вприпрыжку; вместо этого Рада Михайловна удалялась с достоинством, хоть и на полусогнутых. При этом, маскируя свои цели, она еще и ручкой поднятой подмахивала в такт любимой песне Евгения Иваныча:

*Миллион, миллион алых роз!...*

Эдик в упор смотрел на студента. Сжимая челюсти, он крупно перекачивал желваки. *Пламя мое загасил.*

— Ты! — вытолкнул он. — Слушай сюда...

— Эдуард, — роняя косо прядь, тряхнул в его сторону головой Евгений Иваныч. — Погоди.

— Знаете? — сказал очкастый юнец. — Давайте сразу перейдем на «вы». Вы ведь театралы, предположительно культурные люди...

От этого ехидства Попенченко Эдик ударил себя в левую ладонь. Ребром своей правой он иногда кирпич перерубал.

— Вы по профессии, наверное, спортсмены?

— Зачем? — Евгений Иваныч повел шеей. Отстегнул пуговку, ослабил галстук. — Дама наша — юрист-прудент. А мы с товарищем инженера. Трудимся в одном «почтовом ящике». Но, невзирая на профессии, в первую очередь мы люди нашего города. Сами, как я понял нездешний будете?

Юнец выдернул из вазочки салфетку и снял свои темные очки. Он был близорук.

— Приезжий, — буркнул.

— А откуда, извиняюсь?

— Из Москвы.

— Проживаете там?

— Живу.

— А мы, — сказал Евгений Иваныч, — мы живем здесь.

— Ясно.

— И этим гордимся.

— Патриоты своего города — иными словами.

Он все протирал свои стекла, глядя с беззащитным, но от этого еще более наглым видом.

— Да. Патриоты. — Евгений Иванович неуверенно посмотрел на Эдуарда. — Допустим, мы бы при вас нехорошо сказали про Москву. Как бы вам было?

— А никак. Про Москву, к тому же, хорошо не говорят.

— Разве?

— Не слышал ни разу. Все ругают.

— А это зря. Москва, она...

— Столица СССР.

Евгений Иванович не обиделся.

— Правильно. Со всеми вытекающими последствиями. Там сейчас сколько миллионов?

— На восемь тянет.

— Наш город, конечно, поменьше. Раз в восемь. Но имеет свои достопримечательности. Например...

— Театр оперы и балета, — сказал Попенченко Эдуард.

И указал пальцем.

Психологическое давление провинциалов было таким сильным, что студент надел очки, оглянулся и запрокинулся.

Внутри позолоченной гипсовой рамы было изображено нечто вроде Вавилонской башни. Художник, оставивший неразборчивую подпись над черной датой «1937», масляных красок не жалел. В их завитках за это время скопилась пыль соцреализма.

— В Москве такого нет, — сказал сосед по столику. — Наш больше вашего Большого. А вот и Рада Михайловна!

Несмотря на свои габариты, женщина уселась бесшумно и приспустила ресницы.

Словно выстрелило изнутри в промежности — и Евгений Иванович пылко взял бутылку и стал наполнять фужеры. При этом он приговаривал не своим голосом:

— *Любите ли вы театр?* Как в том фильме Доронина-то? Просто мурашки по спине! *Любите ли вы его с такой страстью, как я?* По Личному Указанию, между прочим, построен... Что это вы, Рада Михайловна?

Женщина в бордовом сидела, перекрыв фужер ладонью.

— Слабенькое ж?

Пунцовея, она призналась:

— Я слабенькое-то не очень. Вообще.

— И-эх! А я-то сделикатничал! — с болью запоздалого раскаяния вырвалось у Евгения Ивановича. — Водочки тогда закажем?

— Да уж что сейчас, — сказала Рада Михайловна. — Уж уходить пора.

— А по сто грамм под занавес?

— Не стоит.— Она покосилась на очкастого. — Не то настроение.

— Женщины! Век живи, век учишь, — умозаключил Евгений Иваныч, доразлил себе и Эдику и отставил пустую темно-зеленую бутылку с абсурдной надписью на ярлыке: «Шампанское клюквенное».

Студент взглянул на девушку, которая, сжав губы, заворачивала сигаретную пачку жгутом. Немедленно он вынул нераспечатанную, но она оттолкнула:

— Сказала же: бросаю.

— Аэробика, да?

— А если и так? Мы что, расписаны с тобой?

Тем временем Евгений Иваныч наливал ему его же коньяка. Семьдесят пять грамм — до золотого ободка, чтоб вздулось.

— Давайте, молодой человек. Как говорится, зароем топор на прощанье.

— Не пей, — сказала девушка.

Фужеры соседей выжидаяще шипели.

— Но мы ведь не расписаны? — Он взял рюмку.

Тот, что постарше, объявил:

— За Театр.

Сосредоточась, чтобы не пролить, студент повел свою рюмку на посадку. Он не пролил ни капли. И хмель отваги ударил ему в голову. Откинувшись на спинку стула, он сложил руки на груди.

— Я пить не буду.

— Обижает, — отметил Попенченко Эдуард.

— Ты погоди... Вас не устраивает тост?

Тот плечами дернул. С ним было все ясно, но Евгений Иваныч, несмотря на то, что выдыхалось, — еще уточнял:

— Или, может, компания не та?

— При чем тут компания, — занервничал москвич. — Я просто не люблю театр. Вот если бы за дам...

— Не любите *театр*?

Тот головой мотнул: мол, нет.

— Ин-тересно, — и Евгений Иваныч отставил свой фужер. — Драматический или оперы-балета? Наш или вообще?

Студент посмотрел на девушку.

— Вообще.

— Ну, заносит москвича! — засмеялся Евгений Иваныч. — Вообще вы не можете не любить театр. Потому что, как правиль-

но сказал Вильям Шекспир, театр вообще есть *мир*.

— Да что вы с ним, Евгений Иванович! Ему, поди, и сам Шекспир не указ.

Женщина в бордовом со скрипом отодвинулась. Мужчины тоже поднялись.

— Мы вас проводим, Рада Михайловна, — сказал театрал постарше, бросая на стол («Нет, нет: это была наша инициатива!») пятирублевый билетик, как полусотенный банкнот.

— Да мне тут рядом. Стоит ли?..

— Нет, нет. Эдуард!

Уже на ногах этот амбал допивал свой фужер. Через плечо крутозадая тетя в бордовом бросила:

— Красивая, холеная — и с кем повелась? Цены себе не знаешь, девонька!

— Тяжелый случай, да. Но мира, *мира*-то не может же он не любить?..

Студент навалился на край стола, запустил под рубашку руку и приложил ладонь к впадине под ребрами.

— Уф-ф! Я уж думала, конца этому не будет. Дай мне сигарету.

— Бросаешь ведь?

— Просто при этих расхотелось. Типы — скажи?

Он вынул пачку, распечатал, обслужил огнем — и, морщась, вернул спасительную ладонь под ложечку.

— Люди, как люди — ничего особенного.

— Только под брюками у них — ты не заметил — сапоги. Что с тобой? Тебе нехорошо?

— Н-ничего. Сейчас пройдет.

Холодный пот прошиб его, и под темными стеклами глаза сами зажмурились. Черная, дурная истома сжимала сердце, но он знал, что это боль иррадирующая.

— Снова язва?

— Сейчас, — сказал он... — Подожди.

Она смотрела с гримасой чистого сострадания. *Жена*, подумал он. Изменилась только жизнь. Не только форм — уже и сути не опознать.

— Не надо было пить.

— Не надо. Только это ведь не дом свиданий.

— Зря мы сюда пришли.

— Ну, а куда еще? Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. — Он усмехнулся, ужимая угол рта. — Особенно, когда он не один.

— Прошло?

— Проходит. Тем временем, — сказал он, — последний авиа-омнибус ушел. И обострил проблему. Как разрешим?

— Что именно?

— Проблему этой ночи.

— А как захочешь. Возможны варианты, между прочим: Элеонора мне инфекундин достала.

Он задохнулся — не столько от смысла, сколько от тона, нейтрального, *дистанционного*. Сердце разом освободилось от тисков.

— А где?

— У меня. Где еще в такой мороз? Когда предки затихнут, выключу свет. Входная дверь будет открыта. Только держись вдоль стены, а то паркетины скрипят.

— Я помню.

Студент и девушка смотрели друг на друга.

— А что за варианты у тебя в Москве?

— Госбанк ограбить.

— Я серьезно.

— Тридцать пять в месяц, койка в общежитии и прописка еще на два года.

— А сигареты откуда?

— У араба купил.

— На какие бабки?

— У грузина выиграл.

— Ты опять играешь?

— Мне везет.

— А как же литература?

— Ил-люзия, — презрительно ответил он.

— Но твой роман?

— Нет никакого романа.

— А будет?

— Я откуда знаю.

— А вообще что будет?

— Не знаю. Знаю только, чего не будет. Никогда. И в этот набор входит все, о чем мечталось. На базе американских «пocket-буков»...

— Но что же тогда есть?

— Сказать?

— Скажи.

— Лучше я тебе спую.

*Есть только миг между прошлым и будущим —  
именно он называется Жизнь!*

Помнишь? Музыка Зацепина, слова Дербенева, философия общенациональная. Сорокопятка из гнущейся, но голубой пластмассы.

Девушка спросила:

— Первый рейс на Москву во сколько?

— В 6.45.

— Пойду собираться. — Она поднялась. — Мы, может быть, и не погибнем, а?

— Тоже не исключено.

— Циник же ты, однако!..

Он смотрел вслед, ей было девятнадцать. В синем платье она ушла. Жила она в этом же доме, на третьем, «генеральском» этаже. Вход в подъезд со двора, а окна — как раз над неоновой вывеской. Отчего по ночам в ее комнате потолок озарялся зеленым, а с улицы доносилось тихое, но напряженное жужжание. Рюмка коньяка золотилась перед ним. Он выпил, подозвал официантку. Потом прошел по прямой сквозь сизый дым, спустился по ковровой дорожке и свернул налево в туалет, где его вырвало в осклизло-каменный сток писсуара. Очки удержались. Сняв их перед зеркалом, он не узнал это бледное, изможденное, ликующее лицо.

Попенченко Эдуард нес сзади черные туфли в полиэтиленовом мешке, а Евгений Иванович вел даму под локоток. Он знал, что Рада Михайловна проживает в однокомнатной квартире одна. Он не оставлял надежды, что будет приглашен у подъезда — допустим, на чашку чая. С другой стороны, он чувствовал, что шансы — при свидетеле — невелики. Будь у него хорошо подвешен язык, он мог бы их увеличить, но чем ее взять? Мастером пудрить им мозги он не был. К тому же, мороз. Отчуждение этого рядом шагающего тела, большого, фигуристого, туго упакованного, нарастало. Анекдот, что ли, рассказать? Мысленно он стал отбирать поприличней, но женщина его опередила:

— Вы, я вижу, не в духе сегодня.

И он признался:

— Да, настроение, прямо скажем, неважнец. С утра, понимаешь, в крематорий пришлось.

— В крематорий?

— Ну да. Курсант один. Казалось бы, ерунда: гимнастическим кольцом задело по лопатке. А в результате рак кости. И сгорел парень.

— Болезнь века, — сказала женщина.

— А бугай был! Из деревни.

Женщина не реагировала.

— Да и культпоход этот. Уже сдавали ведь по книге Брежнева. Этот, идеологический зачет. Так теперь и балет по ней смотри. В порядке добровольно-принудительном, но за свои же деньги.

— Уж не диссидент ли вы?

Шутка обнадежила.

— Так ведь на голову не налазит. Балет! «Князь Игорь», к примеру, так годами не ставят.

— «Князь Игорь», по-моему, не балет.

— Балет-балет. Там еще эти... половецкие пляски. — Он подумал. — Но опера тоже есть. «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить... Я Русь от ворага спасу!» Все забыл. Сам еще курсантом был, когда нас водили. Но точно помню: окрыляло. Вселяло, понимаете, подъем.

— Вы, Евгений Иванович, сами с какого года?

— С 37-го. А что?

Но она не прояснила, с какой целью интерес, и ему захотелось добавить: мол, старый конь борозды не испортит. Но под «старого коня» он по возрасту еще не подходил, да и насчет «борозды» было бы сильное преувеличение: там пахано-перепахано. Надо полагать.

Она нарушила тишину у своего подъезда — перетопнув коваными сапогами.

— Ну что, мальчики, баиньки пора? На неделе буду у вас. Может, и увидимся в буфете. Спасибо, что проводили.

Взбежав по ступенькам, она с рывка отодрала примерзшую дверь, и Евгения Ивановича обратно толкнуло в чувствительном месте — но исчезающе-слабо. Как рыбка хвостом перед тем, как исчезнуть в мутной воде.

— Зачастила что-то к нам, — сказал он, прикуривая из оголившихся ладоней Попенченко. — Наверно, Дубик ее тянет. Не думаешь?

Эдуард ушел в несознанку — предпочел.

— Ну, не Дубик, так другой. Кто-то же ее тянет? Такая, понимаешь-шь... ты что?

Обратно шли быстро, затягиваясь на ходу. В зоне зеленого излучения, у двери, затянулись по последней и раздавили бычки носками сапог.

— А дубарок, — заметил Попенченко.

— Сейчас согреешься.

Евгений Иванович открыл половинку двери.

Как и было предвидено, сосед по столику стоял у гардероба. Он был уже в пальто — в демисезонном. Бледный волосатик в темных очках.

— А, товарищи театралы...

Сдержанно цокая по мрамору, они подошли.

— Случилось что? — участливо вник Евгений Иванович.

— Абсурд какой-то! Этот вот деятель, — кивнул студент на гардеробщика, крепкого старика в овчинном жилете, который, лысину нагнув, изучал за стойкой «Огонек».

— Ну?

— Не отдает мне шапку.

— Эт-то почему?

— Не твоя, говорит.

— Богатая шапка, что ли?

— Да дерьмо, а не шапка, — ответил Софроныч. — Пыжик драный. Только откуда мне знать, его? не его? На полу валялась.

— Так, может, из рукава выпала?

— Так, может, не из его?

— Из его, из его, — авторитетно сказал Евгений Иванович. — Верните клиенту головной убор. Надо доверять людям.

— Еще Цербером обозвал. Ветерана-то войны, — дернул веком бывший полицей и неохотно выложил на стойку шапку.

Москвич натянул ее и поднял воротник.

— Спасибо.

— Что, порядок? Тогда пошли, — и Евгений Иванович взял клиента под руку.

— Куда..

— Пошли-пошли. На экскурсию.

Попенченко хохотнул, открывая перед ними тугую дверь. Сквозь тесный тамбур все трое вывалились в зеленую морозную мглу. Клиент оскользнулся, но прежде времени упасть Евгений Иванович ему не дал. Он выволок свою непрочную добычу на самый угол того, что до зимы здесь было тротуаром. И указал, вытянув палец в черной коже перчатки:

— Смотри.

Театр оперы и балета имени (почему-то) Горького сиял над холмом темного парка. Цепи электрических лампочек опоясывали его круглые этажи, концентрически сужающиеся кверху, где, подсвеченное невидимыми прожекторами, реяло полотнище. Ночь над ним, черным, была озарена вглубь.

— Вот это есть *красиво*. И грандиозно!

Юнец рванулся, оскальзываясь, но Евгений Иванович держал его цепко.

— Это наш мир, с-сученок! И ты его сейчас полюбишь. Эдуард, давай оправдывай фамилию.

С поворотом Попенченко ударил сверху — крученым по печени. Студента развернуло. Из кармана пальто у него торчала пара

перчаток. Прижимая руки к ворсистому драпу, сквозь темные стекла очков он увидел, что окно над вывеской кафе еще горит. *А для звезды, что сорвалась и падает* — пронеслось в голове. От второго удара — в висок — очки слетели.

Евгений Иваныч сходил за ними и вынул из сугроба.

Юнец еще был на ногах. Протягивая к ним руки, как бы за помощью, он уезжал по льду спиной вперед. Только что он пропустил прямой по зубам. Он попытался сплюнуть кровь и крошево, облился, поперхнулся — и удар ногой в пах выбил из-под него почву льда. Болидом сверкнул Театр оперы и балета. И угас. *Вечный покой сердце вряд ли обрадует*, напомнили ему ребята. Зацепин-Дербенев. Он открыл глаза. Над ним безмолвно светила полоска люминесцентного фонаря, по обе стороны озаряя мохнатый от снега провод. *А для звезды, что сорвалась и падает*,

*есть только миг, ослепительный миг!*

Соскользнув с трамвайной рельсы, локти нашли опору. Он приподнялся.

Имитируя человеческий почерк, сквозь мгlistый туман четко проступала неоновая вывеска: КАФЕ «ТЕАТРАЛЬНОЕ». Он думал, здесь собирается богема. Он ошибся.

В этот момент окно над вывеской погасло, врубая в сознание черный квадрат. Что значило: уже можно. Вот только нечем, подумал он насмешливо о боли, достающей сердца. Вместо секса придется, милая обкладывать их льдом. И все же — отделался сравнительно легко. Могли ведь и убить. Студент стянул шапку и услышал, что *это* еще не кончилось. Подковками своих сапог доставая булыжник мостовой, соседи по столику заходили с разных сторон. Над женственным изгибом бедер торс у нее, вспомнил он с тоской, совсем мальчишеский. При ежевичинах сосков едва намеченные груди, *отсутствие* которых тому сатиру вряд ли безразлично. Везет вам, козлюноша. Ну, ладно. Ничего. Подошвы остроносых чешских туфель лед не удержали. Зато им каблук московский ассириец, сидящий за углом Большого театра, подковал железом не хуже вашего. Бой, патриоты, только начинается. Война набоек.

Евгений Иваныч остановился, небрежно покручивая за дужку очками поверженного.

— Так что, еще не полюбил театр? Или уже?

Студент выбросил ногу каблуком вперед. Охнув, враг схватился рукой за коленную чашечку. И выстонал:

— Сделай мне его, Эдуард.

— Сейчас исполним! В лучшем виде...

Схватившись за рельсу голой рукой, студент развернулся и замолотил каблуками. Вращался и держал оборону. Круговую. Евгений Иванович подхромал поближе, чтобы помочь ее проломить. Оскалившись кроваво, волосатик изловчился и достал его вторично — по больному месту. Утробно подвывая, враг отковылял и издали пожаловался:

— Что же ты, Эдик? Не оправдываешь фамилию.

Однофамилец чемпиона в тяжелом весе, убитого ударом ножа и забытого уже страной, Попенченко взревел от радостного предчувствия точного попадания. И провел удар. Футбольный. Под ребра. Развивая победу, он продолжал работать сапогами, вбивая по корпусу так, что перевернул соседа по столику разбитой мордой в снег. После чего снял шапку, утер лоб и взопревшие свои кудри.

Волосатик лежал, подломив под себя руку.

Попенченко стало не по себе.

— Будешь теперь знать! — сказал он. — Пламя мое загасил.

Обидчик не двигался. Снег, набившись, взъерошил ему застылок.

— Ну что? — подковылял Евгений Иванович.

— Вот, сделал.

— Вижу. Производи теперь осмотр трупа.

Убивать Попенченко Эдику еще не доводилось.

— Я в голову не бил! Вы что?

— Что я? Я ничего. Прими, — передал Евгений Иванович ему темные очки и, кряхтя, опустился на здоровое колено. Зубами, прикусывая по пальцу, стащил перчатку и, сунув руку москвичу под воротник пальто, нащупал под шершавой от щетины, но по-девичьи нежной кожей сонную артерию.

Надел перчатку, поднялся и отобрал очки. Правое стекло треснуло по диагонали. Кожаными пальцам Евгений Иванович его выдавил. Аккуратно по краям обчистил, натянул и сквозь дырку подмигнул Попенченко:

— Жить будет.

Снял очки, сронил. Занес каблук и с хрустом разможил. После чего схватился за колено. Растирая ушиб, пошутил:

— Но короче уже. Если будет. Знаешь? Давай отсюда ходу.

Они тащились мимо заснеженного чугуна решетки. Попенченко взопред, обуздывая шаг. Углы снимали они в разных районах, но с километр им еще было вместе. До костела.

— А если нет? — не выдержал Эдик.

— А нет, так нет. Одним волосатиком меньше.

— Да, но...

— Что «но»?

— Про кадру его думаю.

— А ты не думай. О том Софронич будет думать. Если что.

Когда младший снова заговорил, в голосе у него было подбострастие:

— Как ножка-то, Евгений Иванович?

— Н-ничего. До свадьбы заживет, — сумрачно ответил старший. При этом представились ему рейтузы Рады Михайловны, но ничего, кроме отвращения, его уже не толкнуло. Е-мое, а вдруг саркома? — ужаснулся он. А вслух добавил рассудительно, что все ж на сон грядущий, наверно, стоит наложить компресс.

— Сумеешь?

— Чего, компресс?

— Н-ну да.

— А спирт-то у вас есть? — наглея потребовал младший.

— А как же. 90°.

— Тогда лады. Оформим в лучшем виде.

Пройдя свой поворот, за церковью уже, сказал:

— Тот-то — а? Загасил мое пламя... Зачем?

Старший не ответил. Мрак томил его по другой причине. На ходу он непрерывно думал о ноге. Теперь хоть и в одно место, но идти им было еще долго.

## ПО ПУТИ К ДОМУ

Народ еще толкался у дверей первого автобуса, а тут вдруг подошел еще один пятьсот пятьдесят второй, приостановился за первым, и Косточкин, как каждый в очереди, замер: откроет? или станет ждать, пока первый отвалит? Такое было мгновение.

Косточкин решил, что откроет, и ринулся ко второму автобусу (тем самым он терял свое место в очереди, здесь был риск, и надо было угадать...), а пока очередь раскачивалась, сомневаясь, водитель и впрямь открыл — не выдержал, должно быть, ожидания, — Косточкин как раз и подоспел. И хотя в спину нажимали уже опомнившиеся, а сверху сходили еще, Косточкин теперь был спокоен: все равно первый и устроится хорошо. Может, и сидя еще поедет. С той стороны дверей, в просветы между сходящими, какой-то парень поглядывал. Оценивающе — понял Косточкин. И подумал, что это он зря, ведь и ему место будет, раз оба они первые... Как только сошел последний, Косточкин рванулся на ступеньки. И — сшибся с тем парнем. Притерло грудью так, что проход заперли. Парень вроде и готов Косточкина вперед себя пустить, да разойтись никак не могут: сзади народ напирает. Так и пронесло их в нутро автобуса — притертыми, и они смотрели принужденно друг другу в лицо. Вдруг парень улыбнулся — должно быть, выпивши был. Косточкин улыбнулся ответно: положеньице! Какой-то миг все это — и распались они, протолкнутые народом. И тут пришлось бы Косточкину стоять всю дорогу, если б не парень этот — место придержал рядом с собой на заднем сиденье, не стал выбирать получше... Косточкин пробился и сел. Плечо в плечо. Посадка продолжалась, но Косточкин стал уже обособляться, устроился удобно, сумку меж ботинок зажал и просто смотрел безразлично, как теснится народ. Чья-то спина едва не опрокинулась на него — эту спину он поддержал, и человек устоял. Потом спины перед ним сомкнулись, и стало ему покойно так, дремот-

но, и место никому уступать не обязан: все с работы, все устали. Можно и вздремнуть — двадцать минут до поселка Солнцево...

Сосед беспокойным оказался, все поглядывал. Косточкин на всякий случай прикрыл глаза: устал вроде. Чтобы парню не обидно. Парень тогда с другим, что слева, заговаривать — тот и вовсе не расположен отвечать. Даже обидно за парня, что не отвечают ему, но глаза Косточкин пока не открывает: может, разговорит еще... Но и с закрытыми глазами беспокойство испытывает: на него ведь парень больше прав имеет — и что сшибло их, и что улыбнулись взаимно, и, главное, место придержал ему парень. Вот и не надо было улыбаться, никакой обязанности теперь бы и не имел, укоряет себя Косточкин, глаз не разнимая. И тут он ощущает поталкивание, вроде дружелюбное.

— Пиво будешь? — спрашивает парень и телогрейку на себе расстегивает.

С одной стороны, Катя могла дух пивной учуять, а с другой — не хотелось человека обижать. Запросто ведь предлагает. По человечеству. Косточкин помешкал, согласился...

— Открывай тогда, — и бутылку протягивает, а сам жест делает: мол, не могу, руки стиснуты. Косточкин бутылку принял, на колено поставил донышком, обхлопывает себя, припоминая, есть ли чем открыть. Парень деликатный такой, отвернулся на эту минутку: мало ли что у человека в карманах... Делать нечего, Косточкин ключ от дома достает и, смутно чувствуя, что в этом что-то некрасивое есть — домашним ключом чужое пиво отмыкать, все же крышечку аккуратно поддел, снял. Потом полез, ключ в пальто спрятал и парня слегка толкнул: можно, мол.

— Сперва ты давай, — сказал парень с горделивостью такой в голосе, что не брезгает им, Косточкиным, и первым свое пиво доверяет пить. То есть сознает доверие. И обратно взгляд отводит, деликатность проявляет. И все же, несмотря на расположение к парню, Косточкин, когда пиво пил, неприятно ощущал, что в еще большую зависимость попадает через это. Чтобы как-то проявить самостоятельность, Косточкин с усиленной старательностью обтер горлышко после себя. Как парень пьет, не следил, смотрел из вежливости в чью-то спину, только боковым зрением невольно углядел, что парень к горлышку с осторожностью приложился. И хотя Косточкин эту осторожность одобрил в душе: что он, Косточкин, за человек, парень не знает — раз, да и эпидемия эта — два, вон даже над выходом листовка наклеена, как уберечься от гриппа, — все же какая-то задняя мысль в этом парне ему приоткрылась, и Косточкин испытал неприязнь к собутыльнику. Тем более что вез апельсины. После

работы отстоял очередь и взял пять кило для Кати — ей ведь необходимы витамины, это и в статье говорилось из журнала «Здоровье». Теперь же, после пива чужого, не очень-то его и хотелось, придется предложить ему апельсин, и Косточкину так обидно — отрывать от Кати.

Парень закатил бутылку под сиденье и повернулся к Косточкину.

— Теплое, так его... — выругал он свое пиво. — Нагрелось за пазухой, — как бы извинился перед Косточкиным.

— Может, закусить теперь? — предложил Косточкин, стараясь, чтобы радушно прозвучало. И даже жест наметил, к сумке нагибаясь.

Парень отказался с обоснованием.

— Апельсин, — сказал он, — это хорошо к вину, не к пиву. («Это я и сам знаю, что к чему», — обиделся Косточкин назидательностью тона...) А вот если вино, тогда сколько угодно, — значительно добавил парень.

После такого прозрачного намека Косточкин еще раз укорил себя, что ввязался в это пиво... Но парень развивать про вино не стал — о себе заговорил, и когда пятьсот пятьдесят второй стал трудно взбираться на Солнцево, Косточкин уже знал, что парень сам четыре года автобус водил по этому маршруту, потом в таксомоторном парке три года, а вот теперь — ты не поверишь — на «ГАЗ-69»... Не стану даже рассказывать, почему так получилось, не проси (хотя Косточкин не просил...), но в сущности, это ему неважно, какую баранку крутить... Или: что брат у него, салага, весной должен вернуться, служит он в Ашхабаде, а он, парень, своему брату, чтобы никогда не попрекнул, не каждый, конечно, месяц, но к большим праздникам — обязательно перевод, вот какой у нас следующий, ты скажи? — и Косточкин вдруг не понимал, чего от него добиваются. «Чего?» — спрашивал он, приятно сознавая некоторую после пива затрудненность в мыслях. «Праздник», — наводил его на какую-то мысль парень. Косточкин стал вспоминать... «Как же, — почти обиженно сказал. — Восьмое марта!» — «А до этого — забыл, что ли?.. Вот, — значительно двинул углами рта парень. — Надо?» И ответил сам же, что надо. Так что пусть Косточкин не думает, никто его попрекнуть не может, зарплату до копыа домой приносит, но *ей*... ты понимаешь? *ей* хочется, чтобы и халутру приносил. «Это — нет», — я ей говорю. Потому что левые деньги у меня на другое идут... Спросишь, на что? — сказал за Косточкина, недружелюбно после этого смотрел, как бы изучая, даже рукав пальто потер: какая вроде материя? Потом вдруг: — Не скажу! И все, не будем!..» А Косточкин и не добивался: мало ли

какие увлечения у человека. И спрашивал, главное, о семье — есть ли, так сказать, потомство? Оказалось, даже двое, и хотя парень добавил, что дело это второе, Косточкин почувствовал уважение к парню за семейный опыт и отцовство... Тут уже и выходить пора, а парень вдруг принялся рассказывать, почему так вышло, что он на «ГАЗ-69», после таксопарка-то, — и обстоятельно так, что Косточкин с тревогой понял: если не встать сейчас же, то из вежливости проедет он свою остановку, и стал приподниматься с сиденья, все еще слыша историю о том, как схлестнулся простой таксист с начальником колонны... и когда парень захлебнулся, стал переводить дыхание, Косточкин ему сказал соболезнующе:

— Ты прости, друг. Моя остановка, — и развел свободной рукой: ничего, мол, не поделать.

Уже и двери раскрывались, а тот, нахмурившись, все не понимал, почему его прервали.

— Сходить, говорю, мне, — с крепостью в голосе пояснил Косточкин.

И нажал плечом к выходу.

Будет с него разговоров. Такие знакомства известны — до остановки своей и по домам.

Этот последний промежуток возвращения Косточкин особенно любил. Тут было рукой подать, и, как обычно, он настраивался на встречу с женой, на совместный их вечер — самое лучшее время дня было: вместе и на кухне, и за ужином, а там и телевизор пора включать. Обычно, сойдя с автобуса, он отходил под навес закурить. Шел неторопливо, сберегая радость возвращения. Дома-то курить избегал, чтобы не вредить, согласно той же статье, воздействием никотина. Не вынимая предосторожно пачку из кармана, Косточкин поискал в ней пальцами потуже набитую «примку». Размял, прикурил. Машинально дал огня подошедшему. И при свете спички узнал парня из автобуса, — и думать о нем Косточкин забыл.

Парень оказался ниже Косточкина и каким-то вертлявым. Косточкин, идя с ним рядом, особенно ощущал свою надежную основательность. Мало ли что, всякое бывает... Неспроста ведь выходит человек, да еще после работы, не на своей остановке... настораживал себя Косточкин, стараясь забыть о совместном пиве. Парень же говорил, говорил, что спасибо диспетчеру — надоумил... Скинулись они со сменщиком по четвертной на новую, значит, машину, и пошел он с этим делом к начальнику колонны: так и так, мол, Аркадий Борисович, в очереди на машину уже год стою, и при втором классе мне отказываете всякий раз, так что надо бы мне приватно поговорить... А он только

глянул на меня: «Иди, — говорит, Зотов. Иди prospись, я с тобой трезвым буду разговаривать». Точно, я перед этим выпил для легкости: раньше никогда давать не приходилось... Тут, понимаешь, взорвало меня. «А не потому ли, — говорю, — вы, Аркадий Борисович, Савченку сразу на новую посадили, что с отцом Савченки сотрудничаете?» Знал я про это дело. Он мне: «Вот как ты, Зотов, говорить начал. — Это что я на авторитет его посягнул. — Так-то не сработаемся мы с тобой...» И тут, после таких его слов, я, понимаешь, капитулировал. Ну ничего не хочу больше — такое было чувство. Что устал... Да и не главное для меня это было!.. В общем приношу я назавтра директору заявление об уходе. Отпускать не хотели, а я ни в какую — ухожу, и все. По собственному желанию. Потом, уволенный уже, захожу к этому... «Давайте, говорю, Аркадий Борисович, выпьемте за ваше здоровье, как съели вы меня без остатка...» На коньяк специально потратился. Он мне: «Пить с тобой, Зотов, не буду, и никто тебя не обижал, просто терпеливей в жизни надо быть...» Светит мне зубами золотыми. Я ему — пошли вы с такой наукой, у меня своя.

Косточкин слушал и тут же не помнил, отметил только, что фамилия парню Зотов, как начальника их СМУ, а потом и не слушал, потому что открылся Косточкину его дом, фасадом со стороны подъездов, и свет на кухне освещал изнутри занавески с петухами и подсолнухами, — и тут только по нахоженной тропке через газон заснеженный, через площадку детскую, в благоустройстве которой этой осенью принимал Косточкин личное участие, — Катя на это еще смеялась: «Лучше бы ты коляску доставал гедеэровскую...»

Косточкин остановился на углу.

— Ну, — бодро сказал он парню по фамилии Зотов, — по домам?

— Слава. — Парень достал руку, уже в кармане заготовленную для рукопожатия.

— Николай, — ответил Косточкин, пожал руку, спрятал свою в тепло перчатки. — Как это мы раньше не назвались... — Посмеялся еще, чтобы внести душевность в прощание, и стал поворачиваться к дому.

— Ты это не надо, — досадливо сказал парень. И рукой махнул. — Не надо, Коля. Куда ты?

— Домой.

— Домой не надо, — уверенно сказал парень и стал брать Косточкина под руку.

— Почему?.. — опешил Косточкин.

— Не надо, Коля. И не спрашивай, — как бы уставал втолковать парень.

Они постояли под руку с Зотовым. Снег шел в свете фонарей, и окно на кухне за спиной Косточкина светилось добро и надежно... Однако привычная радость пригласа в Косточкине: он понял вдруг, что дом еще далеко.

— Веди меня в магазин, — распорядился Зотов.

— Нет, Слава, — пробовал Косточкин, — давай не будем, а? Зачем? Ты неправ. Надо домой: у меня жена, пойми... И у тебя, — пытался вразумить.

— Подождет, — упрявился Зотов. — Общение важней.

— Слава, ты неправ. Видишь вот? — Косточкин приподнял сумку.

— Тем лучше, — вспомнил Зотов, — хорошо к вину...

— Их я для жены брал, — отрезал Косточкин.

— Так никто не посягает...

— Давай, Слава, лучше тихо-мирно...

— В магазин, — требовал Слава.

Хоть бы отметить дома, апельсины оставить. А там, может быть, надо за маслом, за молоком — так и так в магазин. А там потерять Зотова в винном отделе, к кому-нибудь прибьется...

— Будь по-твоему, — уступил Косточкин. — Только домой забегу.

— Если ты насчет... то не надо. У меня есть, — пытался остановить его Зотов.

Косточкин стоял в прихожей, не снимая пальто, и рассказывал жене, какую очередь отстоял. Топтался и спрашивал ласково, называя жену Катюшей, не надо ли чего в магазине, на что жена, удивленно разглядывая его, отвечала, что и так холодильник битком... И тогда Косточкин извиняющимся голосом говорил, что надо бы ему, Катюша, отлучиться — тут рядом, по соседству, — и не более чем на час. «Вот, — высвобождал часы из-под рукава, показывал их жене, стучал ногтем по стеклышку, — к восьми, Катюша, вернусь, даже раньше», — и жена соглашалась со всем недоуменно, а он, все кивая ей, пятился, пятился...

К магазину шли сурово, собранно. Косточкин и не помнил уже себя таким. Когда стали жить с Катей, интерес к таким делам у Косточкина понемногу пропал совсем, так что сейчас он себя осуждал в душе, как человек семейный. Но раз ввязался, приходилось извлекать из себя прежнего человека, холостого. Это плохо удавалось — будто подделывался под кого-то, о ком и помнить забыл... Со скрипом раздвигался — и тут же смыкался монолитно в человека семейного. Это не он, семейный, возрадовался внезапно, что магазин еще открыт, не он огорчился отсутствием красного, не он, плечом укрывшись от собутыль-

ника, доставал деньги и рассчитывал в уме, чтобы поровну потратиться... Все это поддельный был человек, а настоящий — не решался на водку. Настоящий Косточкин, как человек семейный, боялся водки. И когда все же именно ее, водку, они приобрели сообща, чужеродная бутылка, под пальто спрятанная, во внутренний потайной карман, тяжело надавила на область сердца... Зотов пошел по прочим отделам, а Косточкин поджидал его у входа. И ему, Косточкину, стыдно было перед людьми. Люди, казалось, понимали, на что он идет... Понимали, что это у него грудь оттопыривает. И, мимо проходя, осуждали за это. И Косточкин стоял потупленно, прятал глаза — от женщин, потому что особенно совестно перед ними было, женщинами. А все же, стыду вопреки, — вот натура же человеческая! — терпеливо дожидался Зотова, доверившего сторожить общую водку.

Зотов вышел, бережно неся кулек в руках.

— Яичек взял.

Снова опережающе потратился Зотов — это было неловко.

— Ты, может, постой, — нерешительно сказал Косточкин. — А я пойду еще чего доберу, огурчиков там...

— Огурчики у меня свои, — сказал Зотов. — Домой теперь пойдем. Ко мне.

По гостям Косточкин не очень привык расхаживать: чем ближе подходили, тем нерешительности прибывало перед чужим домом...

— А как супруга на это посмотрит? — задал наконец вопрос наболевший.

Они уже подошли, и, не отвечая, Зотов забормотал себе, запрокидывая голову, отыскивая свое окно:

— К Зинке пошла, что ли? Да нет, ждет, наверное. Дома. Должна быть. Вот оно, окно. Не горит.

Он остановился растерянно, держа перед собой кулек с хрупкими яйцами. Косточкин тоже стал смотреть — не горит. «Может, и не будет еще ничего?..» — предположил осторожно.

— Что это я! — виновато засмеялся Зотов и дальше пошел. — Это же не мой подъезд. Мой следующий. У меня — горит, вот, — показывал головой вверх. — Добытчика ждет, — добавил с непонятным злорадством, что ли...

Косточкин с водкой под пальто стоял на чужой лестничной площадке и смотрел в чужую дверь. По сравнению с пухлой, ватином обитой, дерматином туго закрытой дверью дома Косточкина эта была такой непрочной, такой тощей — Зотов за ней вел переговоры... Вслушиваясь, Косточкин приуговаривал себя в душе к чужому дому, к жене чужой, к враждебности ее, Косточкину понятной, им одобряемой, — не радость ведь какую несет...

Этажом выше хлопнула дверь, побежали вниз легкие шаги. Он посторонился, пропустил мальчонку с санками. Он слушал, как мальчик бежит дальше вниз, и любил его беспечность. И мальчика самого любил. И сам бы он сейчас побежал одышливо, окрыленно вслед за ним, и катал бы его по всему поселку, то припускал бы изо всех сил, до визга счастливого, то лихо бы санки закручивал, и оба они медленно поднимались из сугроба, и он, отец, надевал бы заботливо сыну слетевшую шапку, менял бы промокшие рукавички, доставая предусмотрительно захваченную с собой сухую пару... Дверь захлопнулась, мечта опустела. Тихо в подъезде. Косточкин глянул на тощую дверь — ведь и у Зотова дети... А он даже конфеток им не прихватил никаких. Распивать явился. Вот поставить эту водку ему под дверь — и сбежать! Может, саночки догонит...

Зотов, уже без пальто, приоткрыл дверь.

— Заходи давай. — И в мрачности приглашения Косточкин остро почувствовал чужую жену.

Он вступал в чужой дом вежливо, подошвы оттирал старательно. Тем более вежливо вступал, что с порога понял: тут все не как у них с Катей, — беспорядочней, неопрятней. Он проволочился спиной по стене, чтобы не задеть своим пальто какие-то тряпочки, пеленки, что ли, какое-то бельишко женское (он не приглядывался от смущения), протянутое по коридору.

— Вешай сюда, — приглашал его хозяин.

Косточкин пальто снял, кашне снял, сложил аккуратно, шапку снял. Хозяин было воспротивился, когда Косточкин шнурки стал развязывать, но, памятуя о чужой жене, Косточкин настоял. Оставшись без обуви, он не знал, что делать дальше, и стал переминаться в носках, с водкой в руке, у плотно закрытой двери, за которой, как понимал он, и находилась чужая жена — смирившаяся как будто, но, может, только до поры... Во всяком случае, возле этой двери Зотов понизил голос:

— Ты давай это дело на кухню, а я сейчас.

Сориентировался Косточкин легко — и кухня, и комнаты точно так же и у него размещались: дома ведь однотиповые в поселке. Все же любопытно сличить чужой быт со своим. Присев к столу, он подробно осмотрел кухню. Домовитости у квартиросъемщиков особой не было. Посуда хоть и вымыта к приходу мужа, но громоздится горкой под тряпицей, несвежей, рваненькой. Посреди стола, за трехлитровой банкой с рассольными огурцами, помидорами, укропом, со всеми этими милыми сердцу вещами, репродуктор скрывался — передавали красивую музыку. Овощи и укроп оптически увеличивались толщиной рассола — все пупырышки, все листики подробно просматривались

сквозь стекло, и почему-то казалось, что именно банка эта издает ту музыку... Тут же, неприкрыто, стояли остатки еды. И Косточкин даже не решился локоть на край стола положить. «Не хозяйка», — решил он. С другой стороны, если на руках двое, за всем не углядишь — тоже надо учесть. Но и сам Зотов: стены покрасил в темно-зеленый цвет. Это на кухне-то! Косточкин твердо знал, что кухня белой должна быть. «Не хозяин», — решил он про Зотова, испытывая в целом снисходительность к чужому обзаводу, — у Косточкиных в доме и уютней, и основательней. Сквозь толщу трехлитровой банки, в которой неподвижно толкали друг друга боками немые овощи, доносился взволнованный голос: «Обратите теперь внимание на остроумное использование гитары в прелюдии и фуге номер семнадцать Иоганна Себастьяна Баха, первоначально написанных им для клавесина...» Только и было основательного в этой кухне — банка. Но и ее, верно, теща им подарила. «Тещина банка, точно», — решил Косточкин и остался доволен своей пронизательностью.

У Зотова, когда тот наконец пришел, вид был подавленный.

— Музыку слушаешь, — вяло сказал он, и непонятно было, то ли спрашивал, то ли просто наблюдение вслух высказал...

— Баха, — уточнил Косточкин, глядя, как Зотов кастрюли перемещает на плите, конфорки зажигает. Смотрел с интересом, потом увлекся, стал Зотова оттеснять, — слишком, на его взгляд, тот все неуклюже делал.

— Ну давай ты, — легко уступил ему Зотов и сам стал смотреть безучастно, как гость ловко разбивал яйца, выливал их на сковородку, убавлял огонь под картошкой, одновременно приспособливал водку в раковине, пускал на нее холодную воду и, хлопоча над едой, кратко так, хозяйски, Зотову говорил: «Хлебца пока подрежь» или: «Стаканчики у тебя найдутся?» Зотов оживился, забегал — видно было, что рад состоять при Косточкине исполнителем.

Между ними стояла большая закопченная сковорода с поджаренной картошечкой, с яичницей, хлеб был порезан толсто, как любил Косточкин, на блюдечко выложены были огурчики, помидорчики из банки, репродуктор выключен, чтобы не мешал, соль на столе... Косточкин обтер тряпицей нахолодавшую бутылку и вопросительно взглянул.

— Ты и разливай, Коля, — ответил Зотов на взгляд — не так понял.

— Может, хозяйку пригласим? А то как-то...

— Нельзя ей сейчас. Разливай.

В прежние, холостые времена ребята всегда доверяли Косточ-

кину разливать, и он всегда отличался точностью глазомера. Сейчас ему приятно было обнаружить перед Зотовым свою бывалость, даже радость какую-то призабытую испытывал он, ловко снимая пробочку, и уже не помнил, что назад полчаса еще он так мучился предстоящим застольем... Разлил точно, не придраться. Они ударились стаканчиками — с приятным знакомством, и Зотов сразу же стал пить. Водки оказалось больше, чем на глоток, и он не допил малость.

— До дна, до дна, — с ласковой укоризной в голосе настоял Косточкин, проследил и только после этого выпил сам и отказался от предложенного рассола — не без тайной, впрочем, гордости своей крепостью в этом деле.

Взялись за вилки.

— А? — спросил Косточкин о картошечке. — Хороша?

Он ел с искренним удовольствием, время от времени поднимал глаза на Зотова и покровительственно побуждал:

— Ты чего, Слава? Задумался? Ешь давай. Думать после будем — на пару, — и смеялся своему юмору.

Испытав первоначальную сытость, Косточкин отвалился на спинку стула и добродушно уставился на приятеля.

— Ты, Слава, сам с какого года будешь? — спросил он и, когда Зотов ответил, воскликнул: — Точно говоришь? Так мы с тобой одногодки! А то я все смотрю на тебя и никак не пойму... А ты моложе на вид.

— Это да. — И Зотов вздохнул. — Не один ты первый мне это говоришь...

Косточкин подумал и стал было по второй наливать, но тут дверь в кухню приоткрылась и появился вдруг такой славный пацаненок, что посветлело у Косточкина в глазах и он отставил бутылку, нагнулся к мальчику, руки протянул... Зотов участия в его растроганности не принял.

— Иди сюда, родной, — звал Косточкин мальчика и шевелил пальцами.

Мальчик улыбался издали, но в руки ему не шел.

— Твой? — спросил Косточкин, снизу взглядывая на Зотова.

Хотелось просто дать возможность ответа для отца, как полагал он, всегда приятного, — Зотов же неожиданно и, главное, непонятно буркнул

— Вроде бы.

Мальчик под ласковым взглядом Косточкина медленно, оглядываясь, тащил со стола кухонное полотенце — шлепались на пол пустые половинки от яиц. Потом мальчик бегал с полотенцем на голове, топча скорлупу, — видно, нравился ему хруст. Зотов взирал на это баловство отчужденно, Косточкин же прямо

с любовью глядел... Мальчик, видимо, так и продолжал бы еще, но Зотов прервал его довольно равнодушно:

— Иди отсюда, Виктор,— и мальчик, бросив полотенце, следя раскрошенной скорлупой, послушно убежал.

Тотчас послышался голос чужой жены:

— Прогнал Витеньку папа? Не нужны мы ему с Витенькой? — нарочито жалобный...

Зотов подобрал полотенце, сложил вчетверо, сунул меж дверью и косяком — вдавил дверь. И сел обратно, руками обхватил себя.

Косточкин, несмотря на явный разлад в чужой семье, хорошего настроения не терял. Точно так же разлил по второй. Сказал пылко:

— Мне бы такого пацана — и все. Ничего мне больше не надо. По-хорошему завидую тебе, Слава!

И — выпил с чувством.

— Для меня, допустим, не это главное, — отозвался на такое признание Зотов и выдержал удивленный, потом непонимающий, потом растерянный взгляд...

— Как же, Слава, как же, — тревожно забормотал Косточкин, забывая взятым огурцом заесть. Так они хорошо, душевно сидели — и вот, как трещина побежала, обозначилось разногласие. Косточкин даже устыдился за Слаvinу нетактичность. Он осторожно съел огурчик, выдерживая тем самым паузу, достаточную для того, чтобы Слава осознал свое поведение. И мирно спросил, ободряюще улыбаясь:

— Что же тогда для нас главное, если не сын? Вот такой, как у тебя, Слава... Если не личная наша жизнь? Которую мы, конечно, сочетаем разумно с общественной... Верно говорю?

Зотов цепко глянул в поощряющие его к согласию, добрые глаза Косточкина и, не отвечая, надолго уставился в пестрящий крошками пол — как будто что-то для себя решал...

— Потом, потом, — замотал головой с досадой, уже знакомой Косточкину, схватился за бутылку, стал наливать... Как вдруг отставил и запальчиво, с вызовом произнес: — А я скажу, Коля. Только поймешь ли... Но сперва ты мне скажи, что самое главное для сверхдержавы? Я нашу с тобой имею в виду. СССР.

Сместилось что-то в голове у Косточкина. «Набрался так, что ли?..» — подумал о себе с внезапной тревогой. Он собирался с силами для ответа, но впадал в общую слабость, языком не повернуть... И размеры, которые ему предложили к осмыслению, никак не укладывались, не умещались в голове. Все ж таки одна шестая земного шара... с обидой то ли на Зотова, то ли на раз-

мах такой подумал Косточкин. Просто так не ответишь... Да и не очень-то владел он таким масштабом.

— Ну как... Что главное? Все для нее главное, — принялся Косточкин. — Личное и общественное. И сынишка твой, — привставал он и грозил пальцем Зотову, отцу нерадивому, — пацан твой золотоволосый тоже главное... — Целую речь, может, сейчас бы произнес, такой ощутил прилив внезапный, но Зотов прервал его тихо, но с внутренней силой:

— Ты сядь пока, Коля.

И Косточкин сел, испытывая глубокое удовлетворение от своего по чувству значительного ответа — в жизни не приходилось выступать серьезней... Такое было чувство.

— Пацан, говоришь, мой? Может, и так, не спору. Но не сейчас, не в настоящий то есть момент. Пацан — это дело будущее... Приоритет, — сказал он редкое слово. — Для сверхдержавы нашей самое важное — приоритет.

Указал пальцем на Косточкина:

— Теперь думай сам, — и отвалился к стенке, обнял себя, весь как-то затаился, в тень ушел...

Косточкин побыл в немоте и, отчаявшись прояснить обстановку, стал было разливать. Зотов остановил его жестом.

— Больше не наливай, Коля. Хватит нам. Разве мы ее, чтобы выпить, брали? Мы ведь ради общения... рабы традиции... Коля, Колюнчик, — неожиданно ласково, мечтательно так сказал, — ведь, может, когда-нибудь потом, нескоро, может... Будешь еще вспоминать, как сидели мы с тобой на кухне этой, в этом... — Он прерывисто вздохнул, осекся — и задумчиво, с нежностью и грустью смотрел на Косточкина.

Тот было засмеялся недоверчиво, но взгляд, на него устремленный, шел из дальнего далека, из жуткой глубины...

— Ты, Николаша, в физике разбираешься? — в упор был спрошен Косточкин.

— В объеме техникума разве что, — вздохнул он сокрушенно. — И то не так, чтобы уж очень-то... А что, Слава?

Произошло молчание.

— Да так, — усмехнулся Зотов. — Фьюзис такой, понимаешь, вышел... Короче, ошибся я в тебе, Коля. Извини! Не тот ты для меня человек оказался. Вот так.

Косточкина уязвило:

— Почему?

— Образование в тебе подозревал. Думал, поможешь кое в чем.

— Рацпредложение внести хочешь, да? — живо откликнулся Косточкин. — Тут я могу...

— Крупней бери, — прервал его Зотов, оглядывая кухню.

— Так ты... Изобретение, что ли, какое? — рискнул догадаться Косточкин.

— Ну, — слабо произнес Зотов и тряхнул головой — и как прорвало его, так скоро заговорил, будто боялся, что Косточкин не дослушает, о том, что скоро десять лет, как бьется он в одиночку над замыслом своим, но, если потребуется, и всю остальную жизнь отдаст — для приоритета, ты пойми, Коля, потому что экономию огромную он может, если дело выгорит, принести народному хозяйству, можно даже посчитать — нет ли у тебя карандашика?.. Ну не надо, ладно, но ты пойми, Коля, как трудно вытаскивать это одному, без напарника, без единомышленника, а денег сколько уходит в это — прорва, вся халтура шоферская! Но не ради денег, пойми меня правильно, ищет он напарника, а потому, что иногда неверие одолевает, тоска наваливается — смертная, коченеешь от нее просто — пальчиком не шевельнуть: прав ли?.. Вдруг не то? А поделиться не с кем, засмеют еще, ведь института не кончал, ты ведь сам знаешь: армия, семья, хлеб насущный, да и не так чтобы нужен ему институт, он ведь не для диссертации — для экономики державы, для приоритета в конечном счете надрывается... Вот ты, Коля, про Эйнштейна знаешь? Про теорию относительности? Так вот, спросили у него, Эйнштейна, как вам удалось, мол, открыть свою теорию, а физик просто ответил — что сумел увидеть то, чего другие обычно не замечают, ну, так и он, Зотов, увидел однажды, чего не замечают, но пока еще результатов никаких, потому что все же недостаток образования и слаб он, Зотов, в некоторых вещах, таких, как...

До сих пор Косточкин еще понимал, но потом хоть и напрягался, но осилить уже не мог, не владел он специальной терминологией, и просто смотрел с уважением, как говорит Зотов, и хоть понимал, что выше Зотов его, Косточкина, по уму, но и сострадал ему в душе за то, что как ни рвется, замысел свой этот вытягивая, а не смог в жизни определиться, как должно, туго ему приходится, и сам он неплотный телом, легонький и вертлявый, как подросток, и вид неухоженный, и свитерок тоненький, — не сумел, словом, укорениться... так думал Косточкин и согласно кивал. Все как бы в недействительности уже происходило — такое появлялось ощущение.

— Вот так, Коля. — Зотов улыбнулся виновато и умолк.

Они избегали смотреть друг на друга.

— А что, если... — начал Косточкин и сробел.

— Ты говори, говори, — ободрил его Зотов.

— Если все ж таки не то?

Зотов обжал себя потуже.

— Ну, не то. Ну, не получится. Я ж себя спрашивал — все было... Что ж! Одной ошибкой меньше... Все же к истине ближе станет. Пусть не мне судьба, а приоритету все же польза выйдет, — заключил Зотов. — Даже от ошибки моей.

— То-то и есть, что риск, — сокрушился Косточкин.

— А ты бы как хотел? Вот пойдем. Или нет, сначала по последней.

— Чтобы тебе судьба, — сказал Косточкин.

Ударились стаканчиками, выпили.

— Вязка у нас одна, — заметил Зотов.

— Чего, говоришь?

— Вязка, говорю. Узор на свитере.

— Точно! — согласился Косточкин. Вязка, правда, одна, да стоимость разная... подумал, однако.

— Идем. — И Зотов стремительно поднялся.

Чужая жена оказалась совсем молоденькой, наклонялась над дитем. Косточкин вежливо поздоровался, женщина ответила простодушно. Тогда, осмелев, он приблизился на цыпочках, шею вытянул, издали заглянул — дите было голенькое, тянуло ручки, сучило ножками... Мальчик тоже. Косточкин смотрел любопытно и любовно. Неужели и сам таким был?..

— И сколько ему?

— Шестой месяц нам, — польщенно отвечала женщина.

— Обожди, — высвободил Косточкин рукав: Зотов тянул куда-то.

— Не туда глядишь, — упрекнул он Косточкина, отпирая шкаф встроенный, такой и у Косточкина имелся, потом, закрывая телом вход, сообщил, что весь его замысел внутри находится, правда, в зачаточном еще состоянии, но можно — голова была бы — уже понять, трех минуток вполне хватит, а если не поймет он, Косточкин, то...

И, не досказав что, пролез в шкаф.

Косточкин — делать нечего — шагнул за ним в черноту, оглянувшись с сожалением на чужого ребенка.

Потрескивая, люминесцентная лампа наполнила застенок мертвым светом, и Косточкин увидел своего знакомого. Тот сидел, скрестив руки, на табурете, позади верстак, и требовательно смотрел Косточкину в глаза. «Чего ему надо от меня?..» — подумалось вдруг с тоской внезапной.

— Глаза привыкли? Смотри тогда, — велел Зотов и пустил секундомер.

Косточкин озирался усердно, но не тот у него был профиль, чтобы понять назначение громоздких приборов, возникавших из

хлама каких-то деталей, частей, железяк... Амперметр он, впрочем, узнал. Секундомер тикал, а он, так и не разобравшись в этом хламе, думал, что неплохо бы и ему за счет встроенного шкафа выкроить пару метров жилплощади — надо бы с Катюшей обсудить... Голову его сгибало, и шея стала затекать: антресоли-то Зотов не решился снимать...

— Все, — сообщил Зотов, щелкнув часами. — Твое время истекло.

И выключил свет, трубка меркла как-то судорожно, дергаясь, и Зотов все полнее погружался во тьму со своей лабораторией. Пора было выбираться отсюда. Да и Катя, верно, заждалась...

Голос женщины там, снаружи, сказал:

— Иди сюда, мой хороший, — и рассмеялся приятно, возня слышалась.

И в тишине Косточкин с удивлением услышал чмокание — частое такое, жадное. «Ишь!..» — подумал, вслушиваясь.

— Ну так как, распознал? — спросили рядом.

— Посиди тихонько, Витек, — обратно женщина говорит.— Поиграй пока сам, папа скоро выйдет...

Снова чмокание.

— Кормит... — прошептал Косточкин.

— Не о том я, — устало сказал голос.— Распознал, говорю, что к чему?

— Постой. — Косточкин прислушивался к странному процессу... Он чувствовал, как лицо его, не видимое сейчас никому, расплывается широко в нелепой улыбке. И боялся спугнуть... Они пребывали в темноте и молчании, но Косточкин был счастлив — один он знал, почему. И где? Бог ты мой, в тесноте этой, в этом шкафу чужом!..

Изобретатель сердито сопел за спиной.

— Не пойму я тебя, Николай, — горько сказал, обождав.— Обыватель ты или как?..

— Да тихо ты, Бога ради!..— прошептал Косточкин с яростью, внезапности которой он даже сам поразился.

# ОПЫТ САМОЗАБВЕНИЯ

Объятие затягивалось, и было ощущение выбившейся рубашки. Ладони жены крепко сжимали его под плащом, а он понемногу отслаивал руки с плеч жены, испытывая некоторую вину за бесчувственные, полые ладони: «Пора мне, Зайчик!»

В первое же их утро она попросила называть ее Зайчиком: добрачная фамилия ее Зайцева, и всю жизнь ее так называли. И в школе, и на факультете, и сейчас этот «Зайчик» вышел у него вполне естественно.

Порывисто разжалось объятие, и край задравшейся рубашки незаметно для него был вправлен. Жена опускала руки, набухшие от стирки, поднимала счастливые глаза: «Ой, какой ты!..» Шептала, что страшно отпускать, таким он у нее стал. «А каким ты ко мне пришел... помнишь?» — шептала жарко, а он подсматривал время на собственной руке и нагибался за портфелем, польщенно отвечая, что ведь не в кругосветное путешествие, — тем самым отклоняя предупреждающий намек.

С балкона она видела, как, бдительно оглядываясь, муж пересек Новопесчаную их улицу и, понемногу уменьшаясь, вольно зашагал к троллейбусной остановке. Муж командирован был на конференцию, и, конечно, давно пора ему проветриться: ведь какая закупоренная жизнь. Конечно, надо развеяться. Но, с другой стороны, это первая их разлука, и она, то теряя, то снова находя среди прохожих вольную фигурку, машинально передвигала по веревке бельевую прищепку.

Муж ее, занявший сейчас очередь у остановки, все пять лет был единственным мальчиком в их группе — усидчивый, способный студент, и добрая троечница Зайцева очень его уважала и стремилась быть с ним рядом: вместе с ним записывалась на летнюю практику, ходила на те же факультативные курсы, что и он, и даже внезапно для себя увлеклась санскритом — только бы вместе! Этот курс посещали из их группы только они, и во время изучения санскрита уважение переросло во что-то боль-

шее, в беззаветное чувство, на которое он отвечал только деловым товариществом, ничего с ее стороны не замечая. Были сложности с распределением: как отличника, но без прописки, его распределяли в Чечено-Ингушетию, преподавателем в институт. И выпускница Зайцева решилась, предложила фиктивно пожениться — деловито, как принято было между ними, но с робкой надеждой, в которой и себе не признавалась: главное, чтобы рядом он, а там... Он, как и ожидала, вспылал, отказался, потом наотрез отверг и наконец согласился — все это с мучительной внутренней борьбой.

Устроился он в коллектор областной библиотеки для детей и юношества, снимал угол в Чертанове — в пустой трехкомнатной квартире, в которой тоже были сложности, которую непросто было снять: хозяева в Замбии, а ключи оставлены кому-то, кто через общих знакомых, очень отдаленных, и сдавал комнату ее фиктивному супругу. За тридцать в месяц, что при его полставке не очень-то, а что делать! Она ждала. Побывала у него только раз, узнав от общего знакомого, что муж гриппует. Бросилась на рынок, взяла такси, ворвалась к нему раскрасневшаяся, морозная... как это у Блока?... с липовым медом, лимонами, кучей лекарств, — он сам, с обмотанным горлом, открыл ей, нашел какие-то фетровые тапочки, зашлепавшие по натертому паркету, — ей все нравилось. И блеск паркета, и книги, и пишущая машинка «Консул», из которой торчала начатая аннотация на что-то детское. Слушали лютневую музыку, пили чай с липовым медом, и как-то зыбко становилось от его близости, как будто они и действительно муж и жена, а не формально, по паспорту... Он же, муж, ничего не замечая, рассказывал своим ироническим голосом о том, как все плохо, скверно, что хозяйка квартиры (которая в Замбии) оставила ключи своей подруге, которая, заметим, кандидат наук и замужем, — тем не менее у нее, как бы это обозначить... любовник, словом, профессор один. «И сколько же ему?» — интересовалась она. «Да знаешь, за пятьдесят, но держится молодцом», — хотя он видел любовника только раз и не очень разглядел. Они появляются по пятницам, всегда днем, и тогда он не выходит в коридор, как-то, знаешь, неловко... Хотя любовник сам присутствием третьего не смущается и что-то даже насвистывает в ванной, хотя и у него семья, говорят, даже внучка уже... «Что ты!» Все это она принимает близко к сердцу, так это неожиданно в наше время — мило, романтично. Да, внучка, и поэтому все строго конспиративно, он вынужден встречаться со знакомыми вне квартиры — такое условие. Такое, так сказать, синэ ква нон. И приходится ему, как послушному сыну... Такие в общем дела. «Беденький!» — жалела она. И больше к нему не ходила.

Он дал о себе знать через полгода, по телефону, и сразу сознался, что не знает, как быть.

— Дело в том... — приступал он. — Адюльтер, словом, мой распался. Вот в чем дело. Живая жизнь, да. — Она почувствовала, как он потрясен. Но, помня то свидание, не смогла удержаться:

— Что, по семьям разошлись твои любовники?

— Да, знаешь ли, — перебивал себя нервным смешком, — скорее напротив. Свою решили создать. Только что было нечто вроде семейного совета, и я поставлен в известность: оказывается, они уже успели развестись и сегодня подали заявление, — словом, живая жизнь! Вот так. Не знаю, что и делать: через месяц должен выехать. Таков был приговор.

И тогда он вселился к ней, и поступил в аспирантуру, и родилась Дашенька, и два года были неразлучны, а он, исчезая в троллейбусе, даже не помахал ей.

Она взглянула на прищепку, на пустые веревки, мысленно всплеснула руками: сколько еще стирать! — и была вполне счастлива.

На улице его немедленно подхватил какой-то радостный порыв и понес, невесомого почти, к остановке троллейбуса.

Не мог насмотреться в окно.

Оторвавшись с усилием, переводил взгляд на женщин. И тоже насмотреться не мог.

Те же женщины были в троллейбусе, но сейчас почему-то задерживались на нем их пытливые глаза. Отдаваясь женским взорам, он отворачивался в окно — вспыхнувшим лицом.

Так кружило голову и на эскалаторе, и в вагоне, и все увереннее вступал он в образ, в котором все ему было возможно, все могло случиться с ним, — свой парень любому встречному, каждой женщине желанный, отрада пожилым.

Как раз старушка вошла на станции «Новослободской» и села напротив. Его лицо уже всю пылало от внезапной свободы зрения. Не прятал глаз, не избегал красивой женщины, как прежде, — нет! Взгляд смел и распахнут — не только для прекрасной блондинки, там, в углу, которая хоть и продолжает оживленно переговариваться с лысоватым молодым человеком, конечно же только сослуживцем ей, но про себя уже отметила его бесстрашие, в знак чего слегка прикрыла прекрасные свои колени длинными замшевыми лапами плаща, и они распахнулись мгновенно, открыв колени, лоя и поощряя к пристальному вниманию, — как понимал он эту блондинку! Но, к сожалению, не мог он уже видеть избирательно, и даже столь осле-

пительных колен — увы! — ему не хватало. Вся, вся полнота бытия кружила голову и застилала глаза. Уже не он смотрел — смотрели на него, притянутые воронкой неслыханной свободы, а он их всех вбирал, ненасытный... Вот и старушка — вдруг взглянула, увлеклась, и зажатой трубкой осталась «Вечерка» в руке, хотя готовилась читать, и он вбирал, вбирал в себя старушку, и та безвольно обольщалась. А он не замечал: все падки на него, все равно отдаются — и блондинка, и сослуживец, и старушка. И всех без исключений он одинаково дарил, дарил...

Старушка спохватилась, стала искать возле себя руками, обхлопывать сиденье, приподнялась, и он успел подскочить, подхватить футляр с очками, незаметно выползший из кармана: ах, как хотелось подробней его рассмотреть! Бедная близорукая старость! Он пятился назад, опускался на свое место, откидывался на сиденье, скромно и почтительно, притушив победительный взгляд, полуулыбаясь в ответ на сердечно признательный взгляд старости, им осчастливленной.

Усилив зрение, старушка засматривала на него поверх «Вечерки», и он, стыдясь лишить ее минуты счастья, чуть не проехал станцию «Комсомольскую».

Выбегая, он услышал общий вздох: «Ах, ветреник!..»

Билетов на сегодня не было.

Но не успел он, отчаясь перед категорическим «НЕТ» на световом табло в кассах дальнего следования, как возле уха вкрадчиво раздалось:

— Вам на сегодня?

Он понял, что все еще любим жизнью.

Подмывало очертя голову, без руля, без ветрил броситься на ее зов — зов живой жизни, переполненной невероятными, ликующими возможностями.

— Да, — громко выдохнул он и через полчаса, как было условлено, подходил упругим шагом — полы плаща отлетали назад — к вагону красного экспресса.

На подножке, придерживаясь за столбик, стоял искуситель из касс дальнего следования, и на нем уже была форменная фуражка. На перроне, под ним, небольшая толпа, тесная и уважительная к проявлениям проводника, а он, толпы не замечая, привставал на носки и чутко обозревал перронные дали. Тянул шею, высматривал, принюхивался — держал нос по ветру.

Тут все явно были в заговоре, и он, теряя чувство избранника и любимца, смешался с толпой. Была она разнородна: студенты в форменных куртках стройотрядов, энергичные бывалые мужички, легкие горожанки, чьи расклеванные брюки надувал ветер, измученные столицей провинциалки с непосильными

чемоданами. Обращала внимание одна пара: чистенький старичок, три орденских планки над кармашком парусинового пиджачка, и она, старушка... С веселым недоумением оглядывались они в толпе: куда это мы попали?— крепко держась за руки. Перехватив взгляд старичка, он сочувственно улыбнулся, и в ответ старичок улыбнулся тоже: интеллигент интеллигенту, — виноватой улыбкой неисправимого искателя приключений. Обратил он внимание также на морячка, который уже давно переминался с ноги на ногу, громко вздыхал и не извиняясь толкал локтем.

— Такое дело!..— не утерпел морячок и крутнул головой.

Ленты его бескозырки слабо вильнули.

И, встретив доброжелательный взгляд, зашепшил:

— В Балтику ухожу, понимаете? Завтра в двенадцать ноль-ноль. С заходом в Хельсинки, Стокгольм и этот, как его? Короче, к немцам. Два месяца в море, понимаете? Первая практика! — Взглянул, ободрился вниманием и продолжал: — Приезжаю на вокзал, сам я из Калуги... — Он спохватился: — Виталик!

— Значит, мы с тобой тезки, — протягивая руку, сказал герой, давая возможность вывести себя наконец из анонимно третьего лица, которое уже грозило по мере появления новых лиц известными затруднениями. Впрочем, это уже выворот, изнанка повествования, а она материя серая и скучная...— Виталий, — решил он обойтись без отчества: не такой уж и возраст у него.

Морячок разжал рукопожатие.

— Приезжаю, значит, с Киевского вокзала — билетов нет! Только на утро. Что ты будешь делать? На самолет тем более не достать. Так и пришлось бы мне отбывать практику не в Балтике, а в судоремонтных доках, если бы (благодарно взглядывая на проводника) не добрый человек.

— И мне надо быть завтра, — сказал Виталий.

— Ясно, — схватил суть морячок. — Держаться вместе!

— Тем более, — развил Виталий, — что, кажется, не мы тут одни... — и настораживающе качнул головой на соседей.

— Мы не одни, — радостно подтвердил морячок.

— Как бы не высадили нас где-нибудь в Бологое.. — пытался приобщить он морячка к своей тревоге.

— Куда там! Всех не высадят — И морячок с удовольствием огляделся в коллективе.

Виталий почувствовал, как крепнет душа, соприкоснувшись с оптимизмом юности. Он по-доброму, по-отцовски, подумал о морячке. Совсем ведь еще мальчик... Уходит завтра в море. Проще, наверное, на ветру...

— Ничего, Виталик, — крепко сказал он, — сегодня уж как-нибудь. А завтра, как прибудем на место, сразу к моей родне — давай? Отогрею тебя, чайком напою, а? Перед дальним плаванием?

— Это можно, — помолчав солидно, допустил Виталик.

— Значит, сразу с вокзала и двинем, — заключил старший тезка и остался доволен собой, несмотря на шевельнувшуюся где-то глубоко мысль, что родня-то не его, а жены, и он сам с родней еще не знаком, а тут явится с посторонним человеком... «Пусть, ничего! — сердито отмахнулся он про себя. — Живая жизнь».

Проводник скомандовал негромко:

— А ну, друзья, по одному...

И толпу втянуло в вагон.

Он, упустив Виталика, влез последним.

Перрон все убыстрялся. Провожающие на перроне переставали махать. Складывали платки, поворачивались. Уже брели обратно в Москву.

— Скажите, — переводя дыхание, спросил он, — а это ведь дело рискованное?

— Не для вас, — отозвался проводник, запирая дверь.

Он продвигался, хватаясь за кресла левого ряда, пассажиры в котором были обращены к нему слепыми затылками. Но вся правая половина в упор разглядывала его, недоумевая: почему такой вот, казалось бы, приличный, неплохо одетый человек — и пытается зайцем?.. То и дело его начинало толкать от одного ряда к другому, и, пытаясь поймать подлокотник чужого кресла, он рассыпался в извинениях, рассеивал улыбки, но, невзирая на все его ухищрения, пассажиры высовывались в проход и вопросительно поднимали на него брови. Отдельные даже привставали, провожая его возмущенными взглядами (и рубашка прилипала к спине... Неужели его разлюбили?). Уже у цели, у спасительной двери, он задел ногой что-то чужое, звякнувшее опасно, и, уже не извиняясь, как неуклюжий, застенчивый подросток, поспешно рванул дверь и протиснулся в темный закуток, — уф-ф...

Виталик сидел на мусорном ящике. Ленточки бескозырки поникло лежали на плечах.

Он равнодушно глянул на тезку и опустил голову.

Теперь их стало четверо, в этом закутке с тремя дверями (в салон, в тамбур и в уборную) и приспущенным окном, в которое врвался ночной ветер. Зайцы отчужденно молчали под громкий стук колес, а Виталий, обеспокоенный равнодушием тезки: так ведь душевно началось знакомство! — подыскивал, как развить общение.

— Озяб, Виталик? — нашелся он.

Сдерживая прыгающие челюсти, тезка скупно проронил:

— Есть немного.

— А ты «Яблочко» умеешь? — спросил солидный с виду заяц. Бросил на пол портфель, прихлопнул задорно каблуками. — «Эх, яблочко, — выстучал он об пол. — ку-ды ко-тишься?» — И сказал наставительно: — Вот и согрелся бы... А? Давай, моряк. Хочешь, на пару попробуем?

В порыве ревнивой неприязни к сопернику Виталий стремительно расстегнул две верхних пуговицы плаща.

— Плащ хочешь, Виталик? — И третью отстегнул, незаметно проверяя, нет ли чего в карманах.

— Давайте, — сказал Виталик.

Такая простота покорила, но, выказывая охотность, он поспешно, однако бережно снял плащ и даже помог Виталику, подставляя пустые рукава. Было искушение на всякий случай предупредить, что этот плащ жена ему подарила... Но он смолчал. Образовалась пустота, чего-то ждущая от него.

— У меня свитер под пиджаком, — пояснил он свое великодушие.

Виталик застегнулся, поднял воротник и сел — на мусорный ящик.

Теперь он имел исключительное право на Виталика и, выжидая, когда тот отогреется, словоохотливо молчал.

— Как же случилось, — приступил он, — что из такого сухопутного города тебя потянуло в море?

— Сухопутного? — затруднился Виталик.

— Калуга, насколько мне известно, город сухопутный.

— Ах, да!.. — Виталик смущенно прокашлялся. — Как потянуло? Ну, с нашей улицы некоторые ребята постарше уехали раньше. Приезжали когда на каникулы, рассказывали, значит, что, как. Довольные, в форме морской. Девчата, знаете, как за ними ходили — ой! Вот и потянуло меня за ними. Поделился с родителями. Собралась родня вся — семейный совет, значит. Как положено. Решили, что препятствовать не станут, если сдам вступительные экзамены. Я поехал и, значит, сдал. Между прочим, в тот год у нас тринадцать человек на место было — по состоянию здоровья допущенных к экзаменам. Вот. Теперь уже на третий курс перешел. Завтра вот в Балтику выхожу, — счастливо добавил.

Приоткрылась иная жизнь — полнокровная, и он испытал странную боль. Вот бы вместо Виталика, вместо межвузовской конференции выйти ему в Балтику с попутным ветерком — Хельсинки, Штокгольм, как дед говаривал... Море. Мир! Он усмехнулся над собой.

— А вообще тебе как? — спросил он. — Жизнь?

— В училище? Хорошая.

— Администрация не давит?

— Что вы, — улыбнулся Виталик. — Наоборот! Душевно относится. С пониманием.

— А условия?

— Хорошие. Все условия созданы. И позаниматься, и отдохнуть. Спортзал у нас, знаете, какой!

— И в город пускают?

Виталий кивнул

— Еженедельно.

И снова налетел приступ воли: бросить все! Где оно, училище?

Но он подавил: так не бывает.

Но в счастье Виталика просто невозможно было усомниться, оно было абсолютным, его счастье, он чувствовал... И, чтобы осмыслить это редкое явление, он сделал для носителя его снисходительную скидку на возраст, а также принял во внимание простое устройство души. И после этих умственных вычислений простил Виталику счастье. Но что-то томилось в нем.

Который советовал «Яблочко», сказал:

— Так, ребята. Есть помидоры. Налетай! — стал доставать из портфеля.

Виталий вяло взял.

— И ты бери, борода! — было сказано высокому, который все это время не отрываясь смотрел в летящую темень.

Тот, застигнутый врасплох, машинально отказался: — Нет, спасибо, — в его голосе были слезы. Как бы очнувшись от каких-то своих грез, сказал затем иначе:

— Давайте, — и стал поедать помидор, слизывая с пальцев сок.

— Купил на вокзале кило, — приговаривал угощавший. — Бери, моряк, клади в карман.

Жевали, втягивали помидорный сок с преувеличенной громкостью, в чем была взаимная симпатия и готовность к сближению.

— Надо глянуть, что у меня там есть, — приоткрывая чемоданчик у себя на коленях и почему-то с пренебрежением к возможному продукту, сказал Виталик. — Чего-то мать собирала... О! — приподнял за хвостик огромную гроздь винограда. — Мытый.

И все ели виноград Виталика, поочередно отщипывая и одобряя за спелость.

Незаметно, чтобы не выделиться культурностью, Виталий сплевывал косточки в кулак.

Тут в закуток втиснулись двое из салона — законные пассажиры, и стало совсем тесно. Чужаков встретило неодобрительное молчание.

— Да в окно ее, и дело с концом, — подбивал один чужак другого.

Другой маялся в нерешительности, держа за горлышко пустую бутылку.

Это были негородские люди, но и не деревенские, а скорее из московских предместий — пожилые, принарядившиеся в дорогу, слегка подпившие, — и Виталий решил помочь им.

— Зачем же в окно? — с увещающей мягкостью сказал он чужаку. — Лучше в мусорный ящик. — И Виталику, как своему: — Привстань-ка на минутку!

— А верно! — обрадовался чужак, поднимая крышку. — Сюда и определим.

Подчеркивая аккуратность, он поставил бутылку на дно ящика. Виталий опростал туда же влажную ладонь с кожей и косточками, как бы лишний раз подтверждая этим преимущества мусорного ящика.

— Пусть проводник ее сдаст: все же двенадцать копеек. Спасибо, что подсказали, добрый человек!

— Ну что вы, что вы, — пробормотал Виталий, растроганный таким педагогическим успехом. Все же не зря он избрал себе в жизни эту стезю.

— Будет он ее сдавать, — обиженно буркнул незадачливый советчик. — За двенадцать копеек в мусор лезть. Как же! Дождесси! Он, гад, на таких вот «добрых человеках», — большим пальцем ткнул в сторону Виталия, — тыщи делает. Знаем. И как только терпим!..

Возникло немое напряжение: все зайцы обиделись.

Чужаки закурили что-то дешевое, едкое.

Помолчали.

— Вот недавно читал, — поделился один, — вроде новый поезд скоро здесь пустят. Скорость — двести километров в час. Это до Питера, считай, часа три.

Второй смолчал.

— В газете было, — добавил первый. — За вчерашнее число.

— Во Франции триста в час ходит, — сердито сказал второй.

Первый возразил добродушно:

— Так он на воздушной подушке...

— А в Японии так пятьсот.

— Это который? Монорельс, что ли?

— Ну, монорельс, — неохотно признал второй.

— То-то, — с удовлетворением сказал первый. — Не для на-

ших условий. Ты, Миша, слушай сюда, что я тебе скажу. К примеру: как название дороги, по какой едем? — он постучал в пол.

Миша опять смолчал.

— Подскажу: есть Киевская, есть...

— Ну, Октябрьская, — сказал Миша. — ОкЖД. — И желчно посмеялся чему-то.

— Верно, — терпеливо сказал его спутник. — Так чтобы ты, Миша, знал: это экспериментальная дорога. Как бы сказать, полигон высоких скоростей. Понял теперь? А то мне Япония...

— Полигон, ага! — взорвался Миша. — Высокие скорости... — передразнил он. — А с этой вот... — он запнулся, подбирая словцо похлеще, и снова большим пальцем тыкал в Виталия, — м а ф и е й покончить не можем. Что говорить! — Рукой махнул. — Далеко мы не уедем, пока всю эту м а ф и ю не передадим. Со всеми твоими скоростями!

Спутник зашукал:

— Не шуми, Миша, не шуми!

— При чем тут я? — возмутился Виталий. — Чего вы на меня пальцем? И вообще! Все это, конечно, справедливо, но... И этот пафос!..

Миша отмахнулся:

— Да не вам я. Едьте спокойно, товарищ.

Тут его оттеснила дверь. Проводник, с ходу прорвавшись в середину группы, объявил:

— Друзья, мы накрылись.

От волнения его шатнуло, но Виталий помог удержаться.

— Во-во, — мстительно сказал Миша, и оба они, законные, ушли в салон.

Прододник привстал на цыпочки, потрогал плафон.

— Света нет? Ладно, даже лучше... Друзья, все. Тюрьма! ОБХСС на подходе. — Виталий припал к стене. Господи, во что он впутался! Письмо из милиции на кафедру — и конец всему... — Не предупредили, сволочи, что ревизоры сели. Счеты сводят, гады. Ну, если вывернусь!.. — грозил кому-то проводник. И шептал горячо: — Христом-богом прошу: без ведома сели — ладно? Я ничего не знал. Ребята! Не продайте! А то тюрьма мне. Впрочем... Сколько вас? Троих-то я спрячу. («Меня!» — едва сдержался Виталий.) Давайте, которые поменьше. Ты, ты («Меня!!») и ты, — ткнул в него палец. — Выходите с вещами. — Открывал дверь в тамбур.

Кто-то дремал на откидном сиденье. Стекло красное, в отсветах. Грохот. Неужели прыгать?.. Под насыпью, во рву некошешном... Лежит и смотрит, как живая. «Вещи!» Он послушно раз-

жимал пальцы на ручке портфеля. Красивая и молодая... «Вещи будут ваши, — учил наскоро проводник кого-то на откидном сиденье. — В уголок их составьте. У вас-то есть билет?» — «Есть», — привстал тот. «Порядок! Теперь так...» — «Стой! — крикнул Виталий. — Доклад в портфеле...» — «Какой доклад?» — опустил руки проводник. «О знаке и символе». — «Знаешь, друг, — яростно шепнул проводник, — ты мне мозги не еби». Привставал на носки, гремел железнодорожным ключом, — на него обрушивался потолок, он удерживал головой, ладонями, плечами... Как Атлант! — некстати мелькнуло. Приоткрывалась дыра, чернела... «В темпе, в темпе!» — хрипел Атлант.

Перед глазами уже дергались ноги, Виталий подхватил одну за каблук, толкал из всех сил — вдруг нога легко вышла из напряженных ладоней, пропала в дыре. Полез Виталик. Ваксой пахнул его ботинок. Внезапно ловкий, Виталий задрал ногу на дверную ручку, ухватываясь за край дыры. Атлант подставил ему голову, выжимал, кряхтел, подпихивал темечком в ягодицу — и пропихнул. Виталий ушибся затылком, его швырнуло на корточки, в чьи-то жесткие колени уперся лоб. Под полом лязгнул ключ. Их заперли.

Теперь можно было вздохнуть свободней, хоть и на корточках, в униженной позитуре, так сказать, но будущее, едва не загубленное, стремительно возвращалось. Он еще станет кандидатом!

Этот чердачок его спас.

Черный такой, тряский. Угольный.

Колено вдруг ушло из-под лба, и, чтоб не рухнуть лицом, он схватился ладонями за пол.

В ладонях возникла брезгливость.

Боже мой, сажа... Он вспомнил, как продуманно одевала его жена в командировку — для родни, для трибуны... «По уму проводят, а встретят по одежке... Еще народ сказал!» — приговаривала жена.

И он хотел стать голым.

И тут, добывая любовь, пришла мысль, что это в его плаще ворочается Виталик.

Он задохнулся от возмущения, от ненависти к запаху ваксы.

И сказать ничего не смог.

Поезд летел в огромной ночи, а он, корчась в крохотной темноте, тосковал от внезапной пустоты, рассосавшей любовь, и это был ад, ад. Сугубо личный, правда.

— Ташкент, словом, — завязывался где-то разговор, минуя его, Виталия. — Город хлебный. Верно, ребята? — И Виталик отзывался смешком. — Не знаю, кто как, — продолжал голос, — а я лично еду за электрогитарами. Только ими теперь уж не ограничусь...

— Эх, вряд ли вы найдете, — посочувствовал Виталик. — Сколько меня ребята из Калуги просили — и ничего!

— В магазинах искал?

— Ну. Все обошел.

— То в магазинах. А я сразу на завод гитарный. Так, мол, и так. Прошу предоставить в количестве трех. (Пауза.) Руковожу самодеятельностью, моряк. Так-то. Ну, гитары пока оставим. Вот я смотрел на тебя, моряк, и стукнула меня идея. Вроде эврики. Дай, думаю, поставлю пантомиму. На морскую тему. Это ты меня на мысль навел... Райцентр наш тоже, как вот товарищ говорил, сухопутный... Улавливаешь, моряк? Залог успеха! Романтика! К тому же пропаганда моря. Роскошная будет вещица! А он, мятежный, просит бури... А? Не знаешь, есть на флоте какой-нибудь крейсерак «Мятежный»? Хоть завалышенький крейсерак, а? Мне чтобы оттолкнуться... Как бы крейсер «Мятежный» просит бури. Можно и танец привлечь. Вот, кстати, в Питере заодно костюмчиков прикуплю, бескозырочек. И такой заварю им дансинг — пальчики оближешь! Матлот! А то деревенщина нас вконец заела. Все эти «я у залетушки характер вызнала»...

*...характер вызнала, характер — ой какой,  
Я не уважила, а он ушел к другой, —*

спел в виде образца руководитель самодеятельности. Несмотря на ироничность, почувствовался голос крепкий, талантливый. Видимо, и сам он услышал, что хорошо спел. Помолчав, заговорил, во всяком случае, уже спокойно, удовлетворенно: — Ты чего, моряк, толкаешься?

Послышался треск будто доску отдирали.

— На крышу, что ли, собрался? — благодушно пошутил руководитель.

Виталик отмалчивался, издавая треск.

— Что ты, Виталька? — с фальшивой лаской спросил тезка.

— Да помидоры! — сердито сказал Виталик.

— В карманах у тебя?

«У меня в карманах».

— Ха! — сказал огорченно Виталик. — Плакали помидоры.

— Раздавил их, что ли? — проявил интерес руководитель. — Жаль. Печальный факт. Нет, главное — бутылку не взял! Помидоры взял, причем кило... А бутылку раздумал почему-то. Нет, ну почему? Какие основания? Даже не вспомню. Наверное, сказал себе: потерпи до Питера, заодно и гитары обмоешь. Кончил, мол, дело и гуляй... Эх, обидно! Это ты правильно, моряк, закуску подавил — пусть мне урок будет, как без бутылки выезжать...

— Не всю, — сказал Виталик, — целые есть.

— Ты вот что: которые целые, на грудь себе клади, — давал совет руководитель. — Чтобы под рукой у всех были. Кто проголодается, будет у тебя с груди брать. Вся ночь впереди. Это чьи часы светятся, товарищ? Он нашел взглядом: действительно, светились. Слабо, крохотно. Он давно забыл об этом свойстве своих часов. «Мои», — сказал он с горечью. «Очень удобно, — похвалили его. — Например, в турпоходе, в палатке. Или когда от бабы идешь... «Командирские?» — «Что?» — «Какая марка?» — «А-а... Не знаю», — подумав, сказал он убито. Наступило неловкое молчание, налетел грохот. «Лично у меня «Командирские» были, — послышался зевок. — Когда в армии служил. — И снова грохотало молчание. — Почему я бутылку-то не взял?.. Не вспомню, нет. Хоть ты меня убей... Моряк, ты спишь? — И снова зевнул упругим хрустом. — Ладно, спи. А я пока либретто обмозгую...»

Чердачок летел в ночь.

Он тяжело ударился подошвами об металлический пол. С трудной болью поднимал себя с корточек.

— Обошлось, друг, — весело сказал проводник. — Обставил все в лучшем виде.

Прогромыхали попутчики. Ошеломленно озирались, были невосприимчивы. В закутке, прямо на полу, привалились друг к другу, накрылись одним плащом. Покоробленным, заскорузшим. Ничего, как-нибудь отмоет, ототрет. Это уже не имело значения.

— Спят твои десантники, — ласково сказал о них проводник. И обнял Виталия за плечи. — Не сердись, друг, что я тебя так. Пойми и меня: ОБХСС за дверью, а ты — символ!.. Пойдем ко мне, согрею.

Виталий осторожно переступил через спящих.

...Сиденье было жесткое и высокое — тронное.

Ноги свисали.

Бутылка, распитая им с проводником, прокатывала по полу пустой стеклянный звук.

По правую руку от него восседал бородатый юноша, откинув затылок к стене. Пить с ними он не стал. Он этой ночью был сам по себе. Время от времени доставал драную пачку «Дымка», дрожа веками, выкуривал сигарету, и пальцы у него тряслись: плохо ему было. Или любовь он потерял?

Голова проводника моталась на уровне ботинок, и в голом электрическом свете смотрел он в упор на человека, этой ночью счастливо избежавшего тюрьмы: грязные, жирными прядками рассыпавшиеся волосы, тревожное, одутловатое, нездоровое ли-

цо, усыпанные хлопьями перхоти плечи мятого, затертого пиджака, расческа с недостающими зубчиками в нагрудном кармане, безвольные кисти рук, грязные ногти. Выдохся азарт, повисла вялая оболочка. Что же он натворил, несчастный? За что так наказан?

Утомленно закрывал глаза, запрокидывал голову, ослаблял галстук, отстегивал воротник несвежей на ощупь рубашки. Какое-то время легко его трясло... потом из солнечного двора вошел в парадное. Легко, с удовольствием прислушиваясь к себе, взбегал по лестнице. Юно щелкали носки щеголеватых ботинок. Одобрительный гул перекатывался по пролету. Взлетел на пятый этаж, вошел в дверь, оставленную для него незапертой. Он родился и вырос в этой огромной общей квартире и сейчас входил сюда в ослепительно белом кителе и такой же фуражке — золотой краб вонзился в нее. Только что ему дали корабль. Так узок стал в плечах детский его коридор, на обоях которого он рисовал свои корабли, — края погон поскребывали по обоям то с правой руки, то с левой. Он распахнул дверь в большую комнату: как славно, что все собрались! Что все помирились! Что ожили все наконец! Тетя Анастасия обнимает его, старенькая, прозрачная, так горячо, что рискует поцарапать щеки о жесткое золотое шитье кителя. Обнимают родные,жимают руку знакомые. Милые, отовсюду, из далекого детства, собрались все сюда, чтобы поздравить его с морем... Дед виновато взглядывает снизу: «Прости, голубчик, и я не удержался: ведь праздник у нас какой!» — «Родной! — Он распахивает белые объятия. — Ты здесь!» Дед невесомо обнимает его, ощупывает жесткие поганы. «Внучек, — счастливо шепчет дед. — Вот и вышел ты в люди, косточка моя морская... Помнишь, внучек? Та-та-та, андреевский стяг... Последний парад наступает!»

Просыпался, утирал лицо.

Слезал с высокого сиденья, выбирался из тесной багажной каморки. Закатывал за собой дверь.

Прижимался лбом к холодному стеклу.

По ту сторону — кресла, кресла... Люди спят. И в проходе, сидя на чемоданах, тоже спят люди.

Налетел свет, оборвался и снова налетел, показывая то старичка в чистеньком пиджаке с орденскими планками — он голову положил на плечо старушки... То шевелившего толстогубым ртом бывалого мужика — и во сне продолжал он что-то обговаривать, прикидывать... То горожанку, немо приоткрывшую рот, — долгий до бесконечности крик без голоса... Он вглядывался, плюща лоб о стекло, и то узнавал, то нет: сейчас, на исходе ночи, в конце пути, после проверки билетов, — а другой уже не будет,

— все спали спокойно, и было не отличить по сонным лицам, выхваченным снова и снова налетающим светом, кто законно едет, кто так, потому что в каждом лице проступило свое выражение — не похожее на другое, не повторимое другим — бесстыдно, незаконно свое... И все казались безбилетниками в общем сне, но проверить их в этом уже не было никакой возможности. И все неминуемо благополучно приближались к общей цели — никого не высадили на станции Бологое.

Последней была девушка.

Встречные поезда разминулись, свет оборвался, темнота отобрала девушку, но ее мимолетный, мгновенный образ остановился в нем.

Мысленно он продолжал в нее вглядываться.

Коленки тупо, слепо проступали сквозь нейлоновое натяжение чулок. Коленки притянуты к груди, и сдвоенные длинные ноги свешиваются над полом, она сбросила туфли, и на чулках нахоженно темнеют отпечатки ступней — пятки, пальцы... Коротко стриженной головой прилегла на подлокотник кресла — щекой на руки, сложенные плоско. Совсем детская припухлость возле глаз. Она не спала, настороженно пребывала в темноте. Во всем вагоне экспресса только они и бодрствовали в эту минуту — она по ту, он по эту сторону горячего стекла. Ее глаза открыты широко, к нему обращены, но его не видят, и внутрь себя не смотрят глаза — плоские, зеркальные. Он вгляделся в них — и отразился. Скользнул, пропал. Ночным, бессолнечным зайчиком отбросили эти глаза его собственное отражение, и он то узнавал себя, то нет. Взглядом ничем не приметельного человека глянуло отражение. И пропало. Но вот снова мелькнул взгляд — пара неподвижных зрачков — такой же человек, любой встречный. И еще один... И еще.

Они возникали — один за другим, и у него было ощущение многолюдности внутри...

Он вглядывался в каждого, но откуда было знать, выходил ли кто-нибудь из них в море?

Так ведь со стороны это трудно определить.

А если и нет, то обвинить их в этом просто невозможно.

Станции проскакивали за окнами, неслись вспять обратные экспрессы, и снова, снова возникала в летящем мимо свете, подробно и пристально, эта девушка, его зеркало, его правда, — глядя на него в упор его же отражением — внимательно и безразлично, словно не смог он разбудить ее своей сухопутной сутью. Щекой на руках, вжатых ладонями одна в другую, как для молитвы. Но о ком? И, главное, кому?

Кто-то шел на него по проходу, и он отлепил лоб от стекла.

Вышел Виталик, шурясь на свет плафона.

Спросил деловито:

— Скоро будем? А то чего-то не спится.

Потянулся, распрямляя плечи.

И вдруг улыбнулся — глуповато, блаженно... Широко.

Хорошо это у него вышло.

Они медленно шли по Невскому проспекту.

Ветер толкал в спину, пытался пустить его вприпрыжку.

Он откачивался всем весом, отталкивал тротуар.

И в этой борьбе возникало ощущение, что он пятится вперед... странное такое.

Собственно, он уже пришел. Вот в эту подворотню ему.

Надо хоть чаем парнишку напоить — после такой ночи. Тем более обещал.

Они стояли у подворотни. Проспект вбирал взгляд. Втягивал...

Крупная искра Адмиралтейства сверкала на солнце.

Нет. Ему надо спешить на корабль.

Искра слепила. Вонзалась.

Он отвел глаза.

— Давай, тезка. — И руку тряхнул. — Счастливо тебе!...

Мальчик уходил.

То и дело ветер подталкивал мальчика в спину, и шаги его все убыстрялись.

# ПОД ЗНАКОМ БЛИЗНЕЦОВ

## I

Их пило трое, Генка, Людка и он, в районе «Водного стадиона», и перед тем как тоска невыносимая подняла его из-за стола, за которым Генка крыл почем зря того хохла, который «МИГ» угнал к косоглазым, — в другом районе, на «Соколе», та же внезапная тоска успела рвануть с места брата Серегу, младшего на три минуты. Такая, что хоть в петлю, в пекло!.. Он не довел до конца линию и той же тушью написал услышанное сердцем: «Что-то с Митькой». Прямо поперек «Известий», подстеленных под срочную работу. Число проставил и точное время. На всякий пожарный. В дверях едва не пришиб соседа, как раз возвращавшегося из гастронома «Диета», и Лев Ильич Чреватый, заслуженный человек, персональный пенсионер на покаянии (как он сам представлялся молодежи), в субботу сказал Фирке, вернувшейся с классом из турпохода по не столь отдаленным местам революционной славы предков, что лицо у него было черное, темнее тучи, но! простим угрюмство, — разве это — сокрытый двигатель его? Все же, должно быть, немного обиделся, хотя всегда любил Серегу и, несмотря на пьяные сцены, уверял, что тот дитя добра и света, и весь свободы торжество, в чем она и убедилась на следующий же день, но в те мгновения Серегой двигало — обвальное, угрюмое предчувствие непоправимости...

И потом, на платформе, в вагоне электрички, плечом, локтем ощущая успокоительную обмякшесть Митькиного тела, облаченного им же на скорую руку, но со всей тщательностью, как по тревоге, в капитанский мундир и парадный белый шарф, он все вглядывался в миновавший мрак. Это как неминуемая туча проходит над тобой, не разрядившись, надолго оставляя упорное ощущение угрозы. Самым краем прошло на этот раз, и он согдился и успел плечо подставить — не как тогда, под тем цве-

тистым полярным сиянием, когда, обмерзая, их рота шагала из бани, шеренга за шеренгой, треща снегом, мимо голосащего кома обочь дороги. Накрытую развалом волос, снег хватающую черной дырой рта — не признать в ней было одну из тех девочек, хмельных и весело готовых на все, чего кому надо, чьи упругие, до жути голоногие тела ребята из самоволки перекидывали через забор части, на наши нетерпеливые руки, и они, гася юбочки, поднимались на ноги в сомкнувшемся кругу, тут же из-за пазух доставая, как титьку, резиновые грелки со спиртягой... Свежевымытая рота косилась, оглядывалась: дубу ясно было, что оно доходит, под размахом полярного сияния, это человеческое существо — хрипящее, гребущее под себя голыми руками... Но скомандовали от головы: «Песню!» — и скоро мерзлость воздуха, глубоко вклинивающегося в легкие при вздохе, и треск дороги под сапогами, и *а для тебя, родная, есть почта полевая, прощай, труба зовет!*... выбили из сознания роты эту агонию на обочине, да только не из меня.

В красном уголке одни потом говорили, что вроде денатуратом опоили и, употребив хором, сбросили на ходу с грузовика, другие подтверждали, что точно, денатуратом, но вроде из мести за эпидемию мандавошек, охватившую старичков, все сошлись на том, что дело ясное, как дело темное, что без поллитры здесь не разберешься, «за упокой души хотя б» — и мы ржали, как кони, ожесточаясь коллективно против этой суки, сучью свою смерть законно заслужившей, но только для него — не падалью, не проблядью и не станком ебальным. Катюшкой Краснобаевой осталась навсегда. Самой обморочной. Первой.

А лучший друг — Небесный, тезка, красноярец, уже на южной границе, куда после обморожения ступней перевели с Кольского, — там в низу державы, в ее подбрюшьи гиблом... К вышке приговорило кореша выездное образцово-показательное заседание военного трибунала, к высшей мере, несмотря на то, что он, сознавая бессилие перед чинами окружными за красным столом, превращавшими так методично живого еще Небесного Серегу в мертвого, не высидел, не вынес и возник посреди немого актового зала, противореча прокурору, хотя и сам, по сути, понимал, что все решилось для Сереги в тот — не упрежденный мной — момент, когда, опомнясь, он отпустил гашетку, сунул «Калашникова» чудом уцелевшему дежурному по части (обнаружилось потом, что тоже ранил, но легко) и бросился на колени перед своей учителькой, все еще сидящей у стены, откинувшись на спинку стула, размолотую в щепу, с кольчато сжимающимся ртом помадным, краснее крови внутри пузырящейся,

и с полузакатом глаз под веки, будто в упоении последним проблеском сознания последнего бесстыдства, с семью входными дырами в пальто, с рукой повисшей, не выпустившей пуховой платочек, искрящийся снежинками... Эх, что она при жизни выделяла над Серегой!.. Это точно, со сдвигом была, и на допросе он твердил потом, пусть альбом у ней поищут на квартире, с фотками, такой в шелку, с цветочками нашитыми, — пусть глянут! Она ж нарочно разжигала Небесного, сама ему показывая *тела давно минувших дней*. Ее слова, сама их говорила! Серега пересказывал. Да всем и каждому, как на ладони, ясно станет, что такое, что на этих фотках она уделяет с *телами*, именно с телами, мужичье, как видно, стеснялось лица-то показывать, везде одно ее лицо за делом грешным смотрит в объектив — училки языка и литературы, — такое ж только, как прошлое, простить возможно. И то не каждый. Это редкий кто может, а он простил, любил ведь и хотел жениться, он матери писал в Красноярск, а эта ведь при нем же, о его серьезных намерениях зная и замуж не отказываясь, *такое же* творила точно, пока он службу нес. На пару в самоволку мы сорвались в тот вечер, когда он теплую компанию у ней застал, и убежал, не стал объяснений слушать, и мы вернулись в часть. Ну, взяли, конечно, по пути, нет, много-то не взяли, одну чернил, и думали: зальем. Серега был спокойный с виду. Серьезный только очень. А через час она явись на КПП, ну, для свиданья. А я отлить ходил, когда его позвали, и он, ее увидев, себя забыл. Так было от чего, поймите ж, а особист: «Оставим в стороне моральный облик гражданки Волкотруб», и только это их интересовало, о чем и прокурор сказал: происхождение Небесного. Что немцем был его отец, немецким оккупантом безымянным, которого постигла заслуженная кара, с которым путалась его мамаша, а о таких в народе справедливо говорили: подстилки фрицевские, и это, понимаете, в то время, как наши мужественные женщины все, как один, по зову партии, и Зоя Космодемьянская, и Лиза Чайкина... Вот, в чем причина того, что долго дремавшие бациллы зверств и злодеяний проснулись в этом отроде, а иного слова не найти, германского фашизма, поднимающего голову в милитаристской Фээргэ, плацдарме американского империализма, который, как известно, вступил в сговор с китайскими раскольниками, а они отсюда, от зала этого, на расстоянии оружейного выстрела, и что чрезвычайное это происшествие вблизи границы должно еще раз напомнить... И это все так не вязалось с живым ведь еще парнем, лучше многих, и залу ясно, как два пальца, что это она, *она*, языка и литературы, что тут любовь, и ревность, и раскаянье, а не внешняя политика, и потом: за что

же его мать? Я читал ее письма, эта добрая пожилая женщина, такая же, как и моя мать, только моя малограмотная и ей пишут под диктовку, а слова такие же, и еще, срываясь, ощущая, как тянет ноги книзу, и барахтаясь, что почему ж никто не скажет, какой он был, Сергей Небесный, добрый, отзывчивый товарищ, честный человек и хороший солдат? под перешептыванием трибунала, под вынырнувшим и неподвижным, немигающим взглядом тезки, поверх polegших по залу стриженных голов, откуда сзади знакомый голос из особого отдела не оборвал: «Костюшин, сядь!» И сел, как провалился в яму. «К дружку своему захотел?» И бесчувственно выслушал про десять суток, и с ногами, плохими еще с Кольского, отбыл всю ночь за решеткой, внутри обметенного инеем цемента, откуда только к исходу следующего дня его вызволил вернувшийся старлей медслужбы, но ноги он, считай, с той ночи потерял. Комиссовали — деться им было некуда, и, вернувшись домой, на московскую окраину, на фабрику отцову, потом на завод электроаппаратуры, потом еще на один, заочно обучаясь в институте, — никогда не выбрался он из инвалидности. Он стал одним из этой отработанной, но еще коптящей небо массы людского шлака — то давали 2-ю степень, то отбирали обратно, переводя на тридцатку новых 3-й, и снова, после очередного ВТЭКа, возвращали сотню без одного рубля, ну, и диплом он защитил, и все же жизнь, а Небесный пятнадцатый год уже лежит закопанный в земле казахской (и кабы так! Кабы не заживо истлел на рудниках урановых...)

Вот из этой памяти и родился в нем, тогда еще салаге, этот чуткий и сторожкий, как у одного из тех псов, специально обученных, отзыв на угрозу извне и для ближней жизни (ведь на Арбате, если бы не он с мгновенной реакцией отзыва, удар черной «Волги» пришелся бы Фирке не по окату бедра, а ровно в позвоночник, повыше крестца, — беременной-то!), и для дальней, посторонней, даже — только возможной, ожидающейся жизни: именно так, пока в «воронок» не умяли, встал он, с трудом разогнувшись после удара, перед льдом возле спуска к станции «Площадь Ногина» и, руки расставив, объяснял выходящим про опасность. Правда, набравшись крепко был. Тем и запомнилось, что в отделении в тот раз не били, и не отправили в медвытрезвитель, а книжку инвалидную полистав, велели отвезти домой в коляске мусорной — ответственное место, поэтому, должно быть, вежливые были: одно ЦК, что партии, напротив, через площадь, другое, комсомола, у них под боком. А он упирался, упорствовал, чтобы немедленно, сейчас, песком, песком ту проледь, «там же люди», — орал, и что же? Приняли к

исполнению, и сам майор, на шум пришедший, его приобнял на прощанье: «Эх, пограничник, были б все, как ты... Иди и не тревожься: граница на замке!»

И вот теперь Митька — с высокой повязкой парадного шарфа вокруг горла кадыкастого. Близнец мой, брат. Взрослей на три минуты... Теперь он наверстал минуты эти. Догнал, сравнялся. По долготе отлива он понял, какая ненависть в нем поднялась на этих двух, на Генку, их старшего, с порога прямо одурело и бессмысленно потребовавшего кому-то высшей меры, и чтобы к стенке тут же, в коридоре, вот этими руками... Он оттолкнул, прошел, — но тот хоть из полета, ему простительно, а ей! Тупая баба! И со спины — тупая. Ненавидел. Из комнаты герой тот, сокол сталинский, орал свое: «А Прага? А Сайгон? Нет, врешь, слюнтяй!.. И нужен нам берег турецкий, и Африка тоже нужна! Иди, говорить с тобой буду! Мужчина с женщиной... Не хочешь со мной говорить? Люська, иди выпьем! Пусть сидит, как она-нист...» А эта раком ползала под дверью, трясясь и хрюкая от смеха, вода ладонью по двери, будто ласкать ей некого, — ну, пьяные дела... Он выбил с ходу и в темноте наткнулся на сидящего: Люська выключила, чтобы скорее надоело, значит, одному. Ну, тупость! Пока она пилила, всхлипывая, тупым ножом, испачканным томатом, волокна бельевой веревки, он, приняв Митьку на грудь, мял ладонями живую на ощупь тяжесть. Он до отключки пьян был, Митька, и слава Богу, поэтому не вышло, хотя тут взаперти он снаряжался долго и тщательно, импортным душистым мылом натирал веревку, чтобы скорее выдавить из горла всю тоску, выдавиться самому из подступившей пустоты. Как пропасть, открылось ему, что к Митьке ничто отношения не имеет. Никто. Эта? Имела, но куда девалась она, легконогая шустряга из общежития педвуза, на которой, как он на ее соседке Фирке, одновременно с ним, глаза залив, оплошно зарегистрировался... Погребена под жиром, как под шубой. И выцвет глаз — пустой, и валики морщин тупые, и макияж, размазанный хохотом до слез, слезами страха и стыда, что он все это видит, и выворот век, красных от черной, едкой туши. Нет, не она, не сын, заглядывающий синевою подглазьев, головушку, ежиком стриженную, тянущий в плечи... От них и потянуло Митьку, из жилплощади кооперативной, из-под звездочек своих, что по четыре на погон, — в смерть. Только из-за меня ты ее не достал. Выгнав Люську, он врезал ему, чтоб вернулся, слева, справа, и ожесточение внезапное свело ладони в кулаки: кого ты бросить здесь хотел!.. Но Митькина голова так послушно отматывалась, подставляя щеки, и так цепко его зажатые веки держали что-то увиденное там, под петлей, по ту сторону этой

ебаной жизни, и такой размыв волос вокруг двух макушек, с детства обещавших материным голосом Митьке счастье, как и мне, возник под напором струек из гибкого душа, что отнялась в нем обида, и сразу, на все голоса, заговорила, засмеялась, зарыдала в нем их с Митькой общая, удвоенная жизнь. Половина ее, на целое, на общее, поднявшая руки, эту жизнь не пересилила отчаянием своим, и торжествующими ее глазами, и сердобольными, и жалостливыми, глядел он на свои, такие же точно, как у Митьки, отметины счастья, на волосы, извилисто стекающие водой, на углы худых и крупных лопаток под форменной рубахой — и возвращал, возвращал, испытывая сам, всем существом, напор перетекающий, как толчки воды в руке, жизнь возвращал своей половине, скользящей ладонями в блевотине из желчи и частичка в томате по выгибу эмалированного дна, изъязвленного кое-где преждевременной ржавью.

## II

К бате — вот куда увез он Митьку, который через час пятьдесят самостоятельно двинулся по перрону, по мосту над железной дорогой, влез, спустился на землю — все сам. Приоткрыл глаза наконец — с шаткой напряженностью походки, взбрасывая руки, но сам, сам. Парняга крепкий, н-ничего...

Ожидая автобус, они сидели в глубине навеса между шепчущейся, прыскающей со смеху в ладони, потому что в голос смеяться — не то уже время, стайкой девчонок, нагулявших, натанцевавших в столице или на соседних станциях, покрупней, чем эта, и беззвучными старухами с кошелками, поставленными промеж ног. Он глубоко вдыхал чистый, назагазованный воздух и ритмично упирался грудью в «Экстру», под куртку впихнутую привычно, в потайной карман с документами и пожарным бумажным рублем. Он безотчетно прихватил с собой лишнюю, по всему уже судя, бутылку из Митькиного дома, и с ней кусок хороший колбасы за 2.20, сейчас все это осознал едино, и был собой доволен. Хотелось прямо здесь же, в уютном полумраке, из горла, и девочек угостить, пустив водку по рукам, но сумел себя отговорить: брат еще слаб и быть с ним нужно в трезвой силе.

Китайцы это правильно понимают, что раз взял на себя спасти чью-то жизнь, то до конца своей ты за нее в ответе... Вот доставлю на место — тогда. Брат еще не совсем отошел: вскидывался, вглядывался, бормотал из-под козырька офицерской фуражки что-то вроде: «Где мы, где мы живем?..» — и поникал,

отрицательно мотая головой, будто родины не признавая. Он по себе знал, какими мрачными ходами раскаяния и стыда возвращается сейчас в реальность брат: хотя бы и виниться не перед кем, хотя бы не в своем доме трезвеешь, не при своей, терпеливо поджидающей с упреками, когда же он, злодей, глаза разнимет, при посторонней, лишь случайно тебя полюбившей и принимающей в себя таким, как есть, — а все равно вина томит. Откуда бы ей взяться? И перед кем? Вот тайна. Потом проходит: после кружки пива у ларька, перед сменой, но до этого сосет ведь сердце, как змея... Что Митьке тяжело — это радовало, как верное обещание, что, может, примут еще с батей — по сто заслуженных, и Митьке нальют грамм 60, чтобы светло спалось. От мыслей таких он пришел в хорошее настроение, тем более окончательное, что ноги его слегка касалась своей, подрагивающей, еще полная задорной силы, покуривающая ладно — девчонка, почти пацанка еще, и под затяжками сигареты озарялись нежно и чистый подбородок, и ноздри трепетные, и припухлый рот, который целовать еще и целовать. Близость эта взволновала его — толчками крови, надежно подтвердившими жизнеспособность. Неведомость женщины, слабость брата, прочность стены за спиной — и глухая темень вокруг пяточка твердой земли перед навесом... Изможденно-молчаливые, обмякшие тени людей, уже дважды спустившихся с навесного моста, — над сумками, мешками стоят понуро в тусклом свечении. И хотя все как будто нормально, ничего перед ним настораживающего, от всего этого, однако, упреждающая, волчья чуткость упругой тяжестью, как теплым свинцом, налила мышцы плечей, живота, рук и расставленных вольно и крепко ног. Он неторопливо курил «Беломор» и зорко оглядывал видимое пространство. Привычка. Москва, она не верит слезам, Москва — с носка бьет, а он родился и вырос на рабочей окраине Москвы, еще более скупой на жалость, еще жестче бьющей — так, чтоб с копыт и больше не поднялся. Потому, как пионер, он всегда был готов к глухой защите и атаке. В любом углу родины. И когда угодно. Это самое гиблое дело, когда застают врасплох. Осколок бутылки внезапно сверкнул с земли — к станции сворачивал автобус.

Кое-где в Москве, может, и пропускают первым женский пол, но тут, в глухом углу, вдали от лицемерной столицы, женщины привычно и беззлобно расступаются по сторонам, уступая вход сильным. Чтобы кто из них качнул права? Ночью? Дур таких нет. Он победно погрузился в сиденье, отбитое у мужика с железными зубами, и заботливо отогнул под садящимся братом лоскут кожзаменителя, скрутившийся в трубочку, — чисто взрезано, бритвой. Автобус наполнился, и шофер экономно вырубил

свет. Ждали пассажиров с последней электрички. В темноте и тесноте дышали перегаром водки и лука, сопели, кашляли и молча слушали с неодобрением беззаботный щебет: девочки вчетвером уместились на сиденье перед братьями, и одна, та, от которой кровь толчками, глянула искоса, тряхнув прической, на Митьку: чего, мол, касаешься козырьком, — когда Митька взвалил локти на поручень ее заспинный и голову тяжелую положил поверх — в съехавшей на затылок фуражке. Ишь! реагирует... ласково подумал он о недотроге. Шофер прохаживался возле мотора, разминаясь. Вместо стекла у них фанерка вставлена была, и смотрел он, нагнувшись, вдыхая девичий пот, дешевые духи «Быть может», сквозь переднее, вдоль автобуса — на огонек папиросы. Три тени миновали шофера, три парня пересекли границу темноты, и первое, что в глаза ему бросилось на свету, — белые перчатки на одном. Вязаные и слишком большие, спадающие, отчего он не разжимал кулаки. Оно сентябрь, но все ж таки ночь не зябкая... Те двое с ним тоже были в перчатках. В черных. Веско, значительно, с форсом несли кисти рук, туго обтянутые кожзаменителем, и шевелили тускло сияющими пальцами — затекшими будто. Который в вязаных одет в узкое, длиннополое пальто, застегнут на все пуговицы, и повиливает долговязо на каждом шагу. Согласен: смотрятя внушительно. Разве что этот вот черных себе не достал. Дефицит. Одному против шести кулаков, шести колен и ног легко только в кино, к тому же правая нога помеха только, хорошо не отняли хоть тогда, в Мурманском госпитале: все ж таки ходит уже пятнадцать лет. Нет. Они бы мне вломили. Досталось бы им тоже, но меня бы крепко отделали. У них, понятно, есть и на себе чего-нибудь. Если не нож — свинчатка, гирька, отвертка там иль шило — против бутылки моей. Ладно, там видно будет. Двое перекуривали, а длинный пошел вдоль автобуса, заглядывая в стекла, где они были. У окна, в какое и он смотрел, длинный заглянул, приподнявшись на носках, и — оскалился щербато (ему не раз клыки считали...). Перед лицом девчонки он огладил стекло: мягко так, нежность симулируя, — ладонью в вязаной белой перчатке. Та отпрянула с испугом: «Валь, глянь... Батон!» (Так, кличка редкая...). Прогудела, отправляясь, последняя электричка, утащила за собой перестук.

Битком в автобусе, но эти трое, как ножи в мясо, легко прошли от задней двери, и в свете вспыхнувшем длинный взялся обеими руками за потолочную трубу поручня — навис над девчонками. Двое по бокам. Что ближе, подвинул с притворной осторожностью локоть отключившегося, видно, Митьки и стал спиной. Эти мордovorоты потрудней будут длинного — кря-

жистые, коротконогие, устойчивые.

Физиономия этого Батона и точно, какая-то мягкая, как тесто, и сырая, только мякоть щек расцвечена багровыми гнойниками и вьезшимися среди них синюшными рытвинами перенесенного фурункулеза. Глубинка, ясно: авитаминоз, обмен веществ нарушен. Дитя родного Подмосковья. Пустые, плоские глаза. Как все знакомо было, сотни раз и видано, и перенесено, а морды все одни и те же, хоть и меняются... Наблюдая исподлобья, он почувствовал под напором бутылки сильные, отдельные удары сердца и сказал ему про себя: «Спокойней, спокойней...»

— Устали, девчата? — дружелюбно начал Батон, когда последние огни поселка оборвались за стеклами. — Где же вы так устали? Это ин-тэ-ресно... Плясали, да? В Новом Иерусалиме? Точно? А какие танцы? Современные, небось, такие, да? — Он показал телодвижениями. — Туда-сюда? «О, бэби, бэби, бала-бала, я-йа-а просил — ты не давала-а-а!» — рванул на весь автобус. — Так ведь, да? Или скажешь, нет, а, Валь?.. Это надо проверить, почему наших девчат не держат ноги. Бабулек ведь держат, а, Чопа? — Х-хы, — вырвалось у смешливого, должно быть, мордворота, но не такого бойкого на язык.

Девочки с напряжением смотрели в стекло, в лица отражающиеся людей, — четыре испуганных головки, четыре розовых ушка, и только одно без висюльки, у моей, с непроколотой мочкой — одно.

Как на турнике, подтянувшись над толпой, Батон крикнул назад

— Бабуль! Иди посиди, место уступают. Скорей, бабуль, а то сам сяду!

— И садись с Богом, — откликнулся устало старушечьий голос.

— Это ты верно, бабуль, про Бога. Он всегда при мне. Гот мит унс! Как я не по-нашему уделал, а, ребята? *«По выжженной долине,*

*за метром метр,  
идут по Украине  
солдаты Группы «Центр», —*

беспрепятственно орал он, выкатывая челюстишку и мертвые глаза, подражая магнитофонному хрипу Высоцкого:

*«На первый-второй рассчитайсь!  
Первый!  
Второй!»*

Ты, Чопа, третьим будешь! Дивизия СС «Мертвая голова», понял? Эй, бабуль! Гот мит унс, ферштейн?

— Отцепись, Христа ради...

— Поллитру-то везешь своему? Который на печке? А то ведь на порог не пустит.

— Привязался, герой... Везу, не бойсь.

— Во, ребята! При крепостном праве родилась, а все сознает. Правильно везешь, бабка! Без кайфа нет лайфа! Вот и девчата это понимают, верно? Ловили кайф в Новом Иерусалиме? Чопа, будь другом, а то руки заняты: вон у той покажи мне горлышко, а то мне или кажется чего-то нехорошее... Тихо только, защитничка не обидь. Пусть поспит, пока служба идет, — и скалился мне в лицо, угадывая состояние... Мордovorот ухватил за щеки одну, черными перчатками, запрокинул голову... — Не, эту знаю, и больше нэ интересно. Ты, голубка, только не ревнуй, ладно? Как тебя там?.. — Выпущенная девчонка тряхнула стрижкой и вниз уставилась, показывая ложбинку подбритой шеи. Мужской голос из-за спин их попросился потесниться, если можно: — Ваше дело молодое, а мне б сойти, а? Остановочка моя.

— Валяй, отец! — Батон тиснулся меж спинкой и коленками девчонок и повалился на крайнюю под одобрительный смех жлобов. Поелозил, поудобней устраиваясь... — Мягко, — похвалил. — Тяжело, голубка? Привыкай, телочка, тяжелей будет, — и, незаметно пропустив руку сзади, схватил за волосы соседнюю девчонку. Мою. И скосил при этом фуражку на Мите.

— Т-ты! — только и сказал я сквозь зубы. Вырвалось само собой. Я не хотел.

— Мужик, ехай тихо, — негромко сказал мне в лицо Батон, обдавая чистым дыханием здорового чрева. — Не возникай. Очень буду тебя просить... А то встречаются тут промеж нами разные-всякие, да? — Головка рванулась, но рука в белой перчатке держала цепко. — В наши сугубо личные чувства свой нос суют... Ну, здравствуй, Валёк. Встретил тебя все ж таки, дождался. И кореша со мной, чтобы нам не так скушно было одним кайф ловить... Сиди! Певунья ненаглядная... Строит из себя — тоже мне!.. И вот что я тебе скажу, усеки хорошо. Не обижай их. Когда знакомиться будем. А то уж очень они обидчивые. Особенно который Чопа. Он, понимаешь, Валёк, несогласный со мной: первым ознакомиться хочет. Я говорю, что мы с ней в одну семилетку ходили, а он не верит. Ты уже кончила, ту семилеточку, а, Валёк? «Давно мы косы сбросили, давно мы стали взрослые...»

— Волосы пусти, — сдавленно шепчет моя недотрога.

— Это можно, и даже, — не выпуская головы, Батон глянул в стекло, — нужно... Ну, все, пост ГАИ, кажись, проехали. За мной, Валюшка!

И отпустил, поднялся с девичьих коленей, дурачась, подол за собой ей оправил. Похлопал по щеке: «Привыкай, писюшка», — и, не оглядываясь, переталкивая вольно плечами, пошел по свободному уже проходу к передней двери.

— Валька, спятила? Что матери-то сказать? — подруги хватили ее за юбку, но она рванулась, выбралась в проход, вся белая, с губой закушенной, и пошла за Батоном, а следом эти двое, отставив руки и шевели черными пальцами.

Следующая остановка, пионерлагерь «Крутые Горки», еще была не скоро, и длинный надавил над выходом кнопку «по требованию». Автобус затормозил послушно, разжал дверцы в ночь. И все четверо вышли, один за другим.

Алый отсвет боковых огней на ее лице, казалось, искал по стеклам, из кольца теней сомкнувшихся... Кого же, как не меня? Кого еще?

Тронулись. Оставшийся народ постепенно разговорился — которые не в одиночку ехали, и толк напоследок перед домом содержание дня, проведенного либо в Москве, в очередях за мясо-колбасными изделиями, либо на разного рода поздних женских работах, рублишек на шестьдесят, на семьдесят, в районе двух, трех, пяти близлежащих станций, а одна пожилая пара, судя по разговору за спиной, и к культуре приобщилась, побывав во всемирно известном театре кукол Образцова, что на кольце Садовом, и возвращалась очень довольная представлением.

От обочины шли, скользя в сырой, по звуку, траве, и у калитки дачного участка, ухватясь за жерди стоячие, Митька зашептал ему в лицо, истово так:

— Валюшку-то как... А? — и ударился лицом о жерди.

Окончательно пришел в себя, раз так, думал он успокоенно, и отрывал то сильные, то слабые попеременно пальцы крупных и жилистых, как от прадедов дано Костюшиным, и горячечных братниных рук.

### III

Было рано и хорошо. Со двора доносилось буханье... «Раностав», — материным словом подумалось о бате. В приливе подступившей спросонья мощи он до отказа выкатил шары бицепсов, крепко заломив руки, хрустко выгнулся. Подтянулся на локтях повыше и стоймя устроил подушку, чтобы смотреть на

яблоньку. Она была то яркая до слепящего сияния, то тусклая. Зеленая еще. Раскурил дымно забычкованный с ночи на утро оурук, глянул на брата: накрывшись с головкой, тот сон еще давил на высокой, когда-то родительской кровати, с которой еще пацанами они посвинтили все шары никелированные, и так удобно их было начинять порохом и спичечной серой, эти шары. А со стены над Митькой выпукло и тепло, как живой, смотрелся в солнечном луче кентавр, несущий хрупкую женщину с девочкой, — его шедевр, одно время он увлекся чеканкой по меди. Фирка отказала кентавру обитать дома, мол, земную сущность отобразил в нем очень уж натуралистично: вдруг кто из родительского комитета заглянет?

Костюшины, они ценили силу в мужиках.

И никогда такого согласия между ними, братьями, не было, ни до, ни после, когда вот этот особняк фамильный под крышу гнали. Вкалывали до седьмого пота по выходным, трое здоровых битюгов. Это теперь они здесь груши околачивают, наезжая, а тогда!..

Три счастья было на его памяти в семье. Одно — когда в хрущобу из барака переехали. Другое — когда «Юпитер» выиграла с коляской и хорошо толкнули тот билет одному узбеку, крутившемуся в сберкассе. И третье, главное, — когда бате, считай полвека оттрубившему на фабрике, дали разрешение на земельный участок. Как ветерану производства. Единственный работяга был, такое разрешение получивший. За душой, конечно, ни копыя, не то что у соседей: многие из них и к фабрике-то отношение имели, как палец к .... Но это ладно. В порядке вещей. Потому-то изо всех здешних дач, на зависть стройных, по два этажа, крытых и жостью, и шифером, их, Костюшиных, самая невидная. И что особенно обидно: кособокая почему-то. Где-то они просчитались. Так уж получилось, не архитекторы. Злые языки поговаривали, что портит общий вид, но это — нет: как бы смущаясь себя, дачка далеко в глубь надела отступала. Потом и вовсе скрылась за приземистыми яблоньками. Жить можно.

Особенно мать была счастлива. Отчаявшийся хлебопашец, дед еще девочкой привез ее из Тульской губернии на фабрику, всю жизнь при фабрике и провела, но под старость разгорелось в матери — зажить общиной. Хоть на лето собирать вокруг себя всех Костюшиных, кончая внуками. Наезжали, конечно... Только никому это не было в радость: не в пример бате, семейная жизнь сыновьям не удалась. Вот как земля, мильён лет единая, внезапно раскрывается надвое, зияя чернотой, так и у них по семьям трещины пошли, — а почему? Бог весть. Время такое. Все семьи

нынче так — врозь. И ничего, существуют. Короче, из мечты той материной ничего не вышло, и только батя обитал здесь постоянно. Как заедет под Первомай, так и сидит, покуда вымораживать не станет из тощих стен. Пашет, сеет, урожаем снимает — по паре ведер. Колотит, мастерит чего-то. Короче, натуральное хозяйство. Чего-то и его, гегемона, земля под старость притянула.

Он тщательно загасил окурок, поднялся, ногами потопал: держат ли еще? И наскоро оделся, грея душу теплым сиянием кентавра...

Батя разогнулся, не выпуская молотка, в подобии улыбки приоткрыл сталь зубов... — Сереня? Здорово.

— Бог помощь, батя, — шутливо сказал он. — Чего колотить?

Батя повел озабоченным взглядом. — Во здесь надо пристроечку поставить. Вплотную чтоб к забору. И с уборной вместе под навес их взять. Что ли, галерейкой такой. Не мокнуть в дождь-то, когда по нужде выходишь.

— Эх, батя-батя, — только и выдохнул он на эти доводы. И обратно возник в нем страх — уже обычный при встречах их редких. Что так и сойдет на нет здесь за тупой работой и не оставит по себе иной памяти, как только о возне пожизненной с железом, деревом, землей. Упорной, бессловесной. А так хотелось слов, что ли, каких-то важных от него услышать, чтобы остались... Не тех, от каких в нем, сыне, мимовольно взвивалось что-то протестующее: «Надо делать... Делать надо». С такой обреченностью всегда их батя выговаривал, как будто сверху кто ему наказал. Как каторжнику, к тачке прикованному.

Смущенный, отец спешил оправдать свой замысел и труд: что, дескать, нонешнее лето сырое было. Да и следующее — навряд ли задастся. Космосом, что ли, сгубили они погоду? — Так, а чего ж тогда зря мокнуть, идючи по нужде? — И стал отсылать сына, столбом ставшего, — как на производстве ли, дома ли всю жизнь отделялся под любым предлогом от стороннего наблюдателя, отнимающего на себя внутренние силы размышляюще делать, в молчании и забытьи о мире... — Ты иди, иди. Лицо-то ополосни. Там осталось в рукомойнике.

— Воды, что ль, принести?

— Ну, сам смотри. Позавчера ходил, так малость есть еще.

— Схожу.

— Не тяжко одному? А то Митьку побуди. Чего с ним, не знаешь случаем?

— А чего?

— Праздник какой, может?.. Давеча является, как с парада. Шарфом обмотался.

— Какой праздник, ты чего? Осень! Первое ж сентября прошло. Тебя давно не видел, вот и приедлся.

— Во как! — крикнул батя... — Я ж без календаря живу: может, думаю, праздник какой новый... Так веселый бы приехал, а то... Ладно. Пусть отоспится, а? Специальность ведь у него какая. Все в уме держит. Чтоб голова отдохнула у его... А? Пускай. Это ему хорошо.

— Так я пошел, — сказал он, разминая плечи и позевывая.

— Давай. Ты только это, ведро бери мое, оно поёмче покупного будет.

И вслед, конечно, глянул — взял ли.

Он выбрал дальний колодец, за околицей. Вода вкусней в нем, из родников, которые питают истою холодную их реку.

На высоком месте, на самом распахе окрестностей остановился, оглушенный... Бог ты мой, чего они творят... Давно он не был здесь, да помнила душа простор без края. Вошел он в душу, когда еще пацаном приезжал сюда, в пионерлагерь. И поразил настолько, что простенок в новой квартире, от пола до потолка, перед тем как призвали на срочную в ряды, он расписал простором этим, чтобы родители его не забывали, — и погубил, понятно, и всегда губил потом, отображая и в карандаше, и акварелью, и маслом живописным. Одно мучение. Душа не принимала копий, подробно помня в яви простор и глубину, и посверк той церквушечки на горизонте, упорно посылающей ему свой лучик золотой, — оттуда, из-за полоски леса, из-за дальних, заливных, не хоженных им никогда лугов левобережья. И стоило закрыть глаза и внутрь глянуть, как изнутри, с простором этим окоёмным и лучиком прерывистым, приливо подступало счастье... И вот открыл глаза незрячие наружу. И не признал.

Где зелено на склонах было — угрюмые открылись дыры земляных карьеров. Изрыто все, изъезжено. Неслышно копошатся самосвалы, экскаваторы, бульдозеры. И уж до половины дотянулась насыпь железнодорожной двухколейки: запретной зоне, леса кругом колючей проволокой от людей отгородившей, понадобился, значит, выход в мир. Ну, ясно! Такие темпы под силу только родному Министерству обороны... Разрублен мой простор. Вот как полюбишь что-нибудь живое... Какую-нибудь женщину хорошую, а то и просто — место на земле. Туда и саданут по рукоять. Откроется любовь другая, со шрамом рядом, едва зажившим... И ту, другую, вынут из-под сердца. «Душа моя, как пор-р-рванные струны!..» — откликнулась перебором семиструнки своя же песня, сочиненная от нечего делать еще в армии, — то ли на вышке пограничной, у стереотрубы пустой,

то ль на губе. И до сих пор слова те пробирали, недаром вся рота их переписала. И ведь не ведал ничегошеньки, салага, тоске-кручине наперед мотивчик подбирая, как в воду, в будущее глядя. Впрок.

«А ничего! — глядел, отвердевая... — Живучий я русак. Так просто не возьмете, хер!»

И с ходу набирая скорость, чтоб ноги сами вынесли на взгорье, где колодец, гремя ведром, рванулся под откос.

С пустым-то ничего, а вот обратно!.. Н-ну, батя, батя. Плотски ожесточаясь против избыточной тяжести, тянущей книзу меняющиеся плечи, «оно, как пить дать, все и всех переживет на этом свете, точно», думал он. Когда-то, когда их было не купить и не достать нигде, а с последнего в дому все латки поотваливались, сварил тогда собственноручно из заветного листа нержавеющей стали — да не ведро: бадью!... Понятно, мать с тех пор без уста-ли клянет его шедевр, а батя молча злобится на это. А потому — что матерьял извел. Его словцо. Матерьяла ему, сколько помнится, всегда доставало. Сотворит что-либо и в тоску впадает тут же — от недолговечности вещей, из-под рук им выпущенных в мир. «Эх, матерьялу бы!.. А так — дерьмо», — и ручищей отмахнет, отрекшиаясь от сотворенного. На ведро же это загубил он лист металла, которым в пору танки крыть со лба. Броневой не возьмешь, ей-Богу! И главное, следит же, пень, что-бы употребляли в хозяйстве. Килу нажить же можно, таскаючи...

Допер-таки. Обрушил на скамеечку под окном, в котором батя с плеча вгоняет гвозди, насупив брови. Остриями из крепко стиснутого рта вразлет торчат гвоздишки. Имел такую он особенность — зубами их держать, чтоб были под рукой. А все одно — железо, бывало, скажет. Чего жалеть, пусть дело делают... Прежде чем крышкой накрыть, он черпанул из батиной бадьи и, запрокинув голову, медленными глотками опорожнил мятый алюминиевый ковшик пронзительной, до ломи во лбу, колодезной воды. Вкуснее, чем из покупного, верно. Зачерпнул еще и с живой тяжестью в ковшике вошел к близнецу.

Митька уже смолил, в окно глядел с подушки.

Он дернулся ковшу навстречу и взглядывал поверх края все больше проясняющимися глазами. Отнял от губ и выдохнул

— Недурственно... Будь другом, Серый: зеркальце подай.

Он снял с подоконника осколок, весь в трещинах и изнутри подернутый от старости тусклой золотой мутью.

Митька глянул искоса под шарф, в котором так и спал, и, криво ухмыляясь, молвил:

— Мой стрингуляционный срам. — И, спохватившись: — *Шрам*, я хочу сказать. Горло еще чего-то... — и, обосновав оговорку, покашлял хрипло в подтверждение.

Осторожно повел взглядом, и близнецы надолго, не мигая, прикипели глазами, отражаясь один в зрачках другого... Взаимно улыбнулись, смигнув одновременно. Какой-то миг улыбка подержалась между ними, и Митькино лицо затворилось — жесткое, обожженное, как кирпич, под нездешним солнцем. Он откинулся на подушку, смятую в изголовье, и буркнул, глядя в окно:

— Что помехой оказался, прости.

Он помолчал, разминая тугую папиросу.

— Да, девчонку жалко.

— Они б тебя прирезали.

— Не исключено что.

— Точно тебе говорю. Вот который ко мне боком: что-то было у него под курткой. Локтем ошущал. Кончили б, точно.

— Тогда в расчете, Мить...

— Не-е-ет, ты Валюшку мне оставь: первая вина. Теперь мне по новой счет открывать. Напрасно ты, Серый, вчера... Одним бы гадом меньше.

— Человеком...

— Гадом, говорю!

— Человеком, Мить. По имени Костюшин. Сорок первого года рождения. Русским. Женат, имеет сына Вовку. Так ведь?

— Образование — высшее. Член КПСС. Воинское звание — капитан. Место службы — почтовый ящик номер. И тогда с тобой согласен. *Советским* человеком.

— Ну, ё-моё! А я тебе что — или другой какой? С луны свалился? Тоже — советский.

Он встал рывком, вытолкнул створки. Рванулось к ушам тархтенье тракторного движка на подсолнечном поле, шепет птиц...

— Батя? — спросил Митька о колотыбе, доносящейся со двора.

Помедлив, он кивнул.

Дым двух папирос смешивался, перетягивался над подоконником... Не шли слова на язык. Которые отговорили б Митьку. Он испытывал распирающее душу брожение мысли, ожесточаясь на свою немоту.

— Тебе про главное, а ты!...

— Не перетягивает, Серый... нет. Достань-ка: в нагрудном кармане. Нет, — в левом.

Он пошевелил пальцами в тесноте кармана, зацепил и вытащил цепочку, на ней довесок, тяжеленький такой. Положил на ладонь, повернул изображением. Двое парней античного вида лицом друг к другу, и как бы в ореол заключены лучезарный. На шее носить, как крестик.

— Симпатичная штучка. Золотая, что ли?

— Еще бы. В месячную зарплату влетела, наверное. На день рождения подарили. Есть одна такая... Так с июня месяца и носил, в Азии со мной была. Ты назад не клади, обожди. Это ведь наш с тобой знак, посмотри. Родились под которым, имели, так сказать, незабываемое счастье появиться на Божий свет... Она биолог, ну, которая подарила. Аспирантуру кончила, кандидатскую делает. Тебя бы с ней свести. Эколог она — ну, вся эта шумиха в защиту окружающей среды, если читаешь «Литгазету». Там в каждом номере разные деятели наши соревнуются в гражданском мужестве. Особенно на эту тему, о биосфере. Лучшие умы страны, понимаешь, грудью встали за все живое на земле, за человека, который звучит у них, конечно, гордо, а пишется с заглавной буквы. Новая добродетель наша. Репутацию борцов стяжают на страницах партийной прессы, копыя ломают, отбивая у западных светил, нобелевских там лауреатов, наш г у м а н и з м, единственно-верный. Гуманисты... Как они это самое, человека любят, я собственными глазами!.. Нет, я не про Валюшку, это что, частность, бытовое явление, подробность нравов. Их гуманизм я изнутри, из самой середики видал. Из бункера. Кругом безжизненно, на сотни километров, только мы одни посередине, под железобетонной толщей. Мы, которые думаем, дышим, боремся и живем. Во всяком случае, уверены были, что одни, да ошибочка произошла. По причине разъебательства. Я там отдел наш представлял, который к испытанию отношение имел, как к киселю десятая вода, и ближе к этому делу люди есть, и дальше, и как вот Зойка, которая все вычисляет, сколько продуктов мудогенных мы в яйцах носим, и все это сугубо ненавидит за то, что вскоре чудачки от нас одни пойдут на букву мз. Но ведь все мы, Серый, все, поголовно замешаны и причастны. Соборно, — как Зойка говорит. К акынам тем, певцам степей, которые подохнут от лейкемии, к пацанам бритоголовым, в тубетеечках, отныне обреченным. Бункер! Вот наш храм. Подземный, из железобетона, с портретами внутри и красным уголком. А как в бомбоубежище мне этом от себя укрыться? Себя избежать? Не могу. Может быть, нет Бога. Я говорю: может быть. Для матери Он есть. Но антипода, антитело Его я видел, могу свидетельствовать: есть. И называю его с заглавной буквы: Дьявол! При всем почтении к Нему, однако, не приму я его доводов, я, двуединый, как кентавр твой, советско-русский человек...

Есть слова, ты знаешь, Серый... Есть, мы их в школе проходили, — не выжечь из себя. И я *взглянул из бункера окрест, и душа моя уязвлена стала*, — не помню точно, как там. Недавно вышел из Министерства, и так мне тошно было, ну прямо!..

Улочками арбатскими пошел, глядел. Живут ведь люди, порусски говорят, как я. Девчонка мне навстречу: обеими руками хлеб несет и пробует щекой, какой он теплый, — а, Сережа? Толкнулся я в ворота Толстовского музея — случайно мимо проходил, смотрю: во дворике плакат на двух столбах. Глазам не верю. Как там было, его слова... *Я отрицаю ваш порядок и прямо говорю об этом.* Ну, что ты скажешь? Радость сердца! Не-е-ет, иногда Москва подарит еще чем-нибудь таким, что прямо... Вот Зойку встретил. И верил ведь, что снова полюбить смогу. Теперь уж точно нечем — после бункера. И прямо говорю, и переносно. И пусть, Сережа, не шокирует тебя: гад и есть. И пусть мне хуже, чем парням из бункера, которые томятся и водяру хлещут прямо из бачка для питьевой воды. Кран отвернул и лей себе в кружечку, а она, эта кружечка эмалированная, на цепь и там посажена, и там. Не оторвешь. Кругом пустыня, мертвое пространство, а кружка на цепи. Что характерно. А парни, в общем, ничего, устройством посложнее будут, чем наш-то, ас... Да что там говорить, все сказано до нас, Сережа. *Делать надо.* Батя, он прав. Поступок — это вывод, так я понимаю. Бери, бери себе.

— Подарок не могу. — Он поднял клапан и опустил цепочку в нагрудный карман кителя с погонами, надетого на спинку венского стула.

— Ну, что же... Уважаю принцип. Но только бункер с той экологией не состыкуешь — не «Апполон-Союз».

— Эх, Митя, Митя, и зачем ты в форму влез...

— Конечно, зря. А вся моя планида? Как вспомню! Все пятерки по физике и алгебре, призы на олимпиадах. Вся фабрика в отпаде: Костюшин-младший в Бауманку поступил! Ребята сроки первые поотсидели, всюду гуляют, и дома тоже всё, как у людей. Дипломчик красный обмывают. «Ну, парень, молодцом, — гудят, — теперь ты далеко пойдешь», а дядя Ваня Тупичкин, покойный, так обязательно: «Если милиция не остановит». Юморист был. Поверишь ли, Серень: лучше бы я киоск, как Ярцев Коля, подломил — фруктово-овощной, или зерна мешок упер бы с элеватора, как Басалаев Саня. Или фингал схватил под сердце, как тот, на танцплощадке, фамилию забыл.

— Который?

— Ну, ты еще подумал на него, что твой кларнет серебряный увел, а у него под пиджаком торчало, и он обиделся сначала на тебя, мальчика, и мы заволновались, ну, а потом отставил кралю и приоткрыл пиджак, а там круг краковской. Я до сих пор не понимаю: из буфета, на глазах у тети Сони!.. Не вспомнишь?

— Как же! Шестобитов. Был такой дух.

— Так лучше бы, как он, его планиду. С Геннадием все ясно:

ас. Защитничек Каира. Но ведь под формой одинаковой я все ж таки не патентованный, не «зеленый берет»... с глобальным радиусом действия. Я инженер... Чего молчишь? Совсем мозги тебе запудрил? Вставать мне неохота. А тут еще и солнце.

— Без кайфа лайфа нет, — машинально сказал он и спохватился: — Слушай, у бати кофе есть! Прошлогоднее еще. Как камень, но настоящее, ей-Богу, — как насчет?

— Тогда живем, — пошевелился Митька. — Заделаешь?

— Так точно!

И из шутливой стойки «смирно» рванул за дверь.

Он прихватил с собою ковшик и, глядя в забытье, как вода кипит к у д р я в о , вдруг весь похолодел при мысли о разлуке.

#### IV

После кофе с очерствелым хлебом и аппетитной «отдельной» колбасой отправились в сельмаг, на дальнюю совхозную ферму, которая, как об том извещали натыканные повсюду щиты, выполняя решения съезда, взяла на себя повышенные соцобязательства по разведению малой и безответной живности: белых мышей, морских пискучих свинок, пугливых кроликов. Может, для нужд Запретки местной, ведь кто их знает, что творят, отрезав себя от людей колючей проволокой. Неужели, и тут, под боком, бункер?.. Погоревали над инвентарем в овраге, раскатившимся на части, и ведь полезные для дела, а вот лениво покрывающиеся ржавью среди травы. На излюбленной, на *нашей с тобой* поляночке пожалели от души, что, кроме «сучка» калининского разлива, который донести решили целым, не догадались прихватить чего-нибудь полегче, за рубль с мелочью, в виду полянки, чтоб на перекуре, оставив кошелку с продуктами, протолкнуть сухой и чистой веточкой пробку внутрь и... как бывало, — ну, ладно, душу не трави, ведь будет день еще. Раздумчиво шагали краем распаханного вплоть до горизонта, всей ширью отдыхающего поля, с грачами, ковыляющими по вывороченным черным пластам... Гонялись, и впустую, за стуком дятла. И до другого дня и раза решили, закатив под ельник, не брать с собой теперь хор-р-рошее бревно, их повстречавшее в лесу и, по всему, бесхозное.

Вернувшись, спустили в погреб все долгосрочное для бати, утолили жажду, и до обеда, раздевшись до трусов (просторных, черных, по колено, их мать именовала не иначе, как «динами») и шелковой повязки у одного на горле, по-быстрому, в четыре руки перекидали и ходок в двадцать завезли на тачке левую

кучу торфа, ссыпанного возле их забора шофером из совхоза, сдержавшим слово, бате данное, всего за 3 и 62, внесенные вперед: нет, все же не вконец мы обезлюдели!

Сели без отца, но только выпили по первой (которая пошла, как все равно вторая) и ложки погрузили в хлебово (так папа с мамой называли, если густо и обильно получался суп), как затрещал над нами потолок, и обождали батю, уж выставлявшего на верхние ступеньки ножищи сорок пятого размера, обутые в резиновые сапоги.

— Садись, вот супцу, пока горячий. Отдохнул маленько?

— Да мухи не дали, проклятые, — сказал отец, изглаживая из щеки ладонью след подушки жесткой. — Пожалуй, торф-отзавезу — тогда.

Они переглянулись, улыбаясь до ушей.

— Готово, батя.

— Неужто завезли?

— Ну, говорят тебе: торф наш. Давай пропустим по единой. Как у тебя с желудком, принимает?

— Брюхо-то? Да ничего, возьмет. Ну, молодцы!...

— Ты с «молодцами» обожди: вот Митька видел в погребке — не дело! Майонез, указано на крышечке, от силы месяц годен, а при + 13, как в погребке у нас, всего неделю. А у тебя с весны стоит, с апреля. Ешь тут порченное, вот и мучаешься. Надо, Мить, холодильник, что ли, взять. В коммиссионке вон я видел за пятьдесят рублей, а ничего, фурычит. Там принесли мы с Митькой чего было, потом посмотришь, но майонез, ей-Богу, снеси вон в яму.

— Негодный, что ль? Так, а сгодится, может, на что другое, а? Что-то смазать им. Боле не лей, посуда, — оговорил он свой уровень, поднимающийся к твердому ногтю большого пальца, упертого в грань стакана. — Добро-то зря переводить, — его лицо, с трудом податливое на выражения, наметило лукавость.

— С «добром» этим завязываем — решено ведь, Мить? Последний день, и все! Охота еще пожить.

Отец на это покивал, по виду соглашаясь, но содержа в кивках на самом деле устойчивую недоверчивость к благим и простодушным намерениям прорваться из своей судьбы в иную... — Это как с нашим летуном, — сказал он, ставя выпитый стакан и убирая руку на колено. — Они ведь с тетей Варей под немцем оказались. Мы его на лето, значит, в деревню, а почему: вас оживаючи.

— Ты колбасы возьми хоть, как не родной, ей-Богу...Ну?

— Не погоняй, сынок: хомут я вроде скинул. Вы появились точно в срок, под самую бомбежку, причем вдвоем. Двоих-то мы

не ждали. Ну, ничего, говорим с матерью, уж как-нибудь, а как? Никто ж не думал, что мне броня выйдет, а одной бы мать обоих вас нет, не подняла б. Да, я про Генку. Он же маленькой был, когда наши в Тулу пришли. Солдат ему, ну, пошутить хотел, и спирту в кружечку налей. Малец и выпил. Скольких? Трех годов, четырех не было еще. Тетя Варя: все, думаю, не оживет. «Я с Генкой бы тоже тогда, говорит, раз не уберегла». А ничего! Поднялся и потопал. Это событие я ему сказывал: смеется. Крещение принял боевое, говорит. Ну, летун... Как птица ведь небесная, не жнет, не сеет, а туда же: «На мне все держится!» Все держится на матери на нашей, жива покуда, а тогда? Девка его неумеха: Васька, считайте, целый год у нас был, пока его папаша Ебипет небу обучал, — и за каким мы лядом в Ебипет этот, прости Господи... За малым ребенком не только материнский, а и отцовский пригляд нужен. А как же? Не понимает... Ладно, мы с матерью малограмотные, но то исполнили, что живые вы и целые. А сколько пацанов не дожило, а из живых безглазых сколь, беспалых... А потому что без отцов: кто с фабрики ушел на фронт, назад ни один не вернулся, а при ней-то всего и оставили, кроме меня, Семена-инвалида и Тупичкина Ванюшу. За всеми бедокурами не углядишь: то снаряд в костер закатят, то барак общий подпалят, то с грузовика сорвутся и об лед! Как вы росли, так это просто!.. Особенно, когда пошли-потопали ногами... Это немца мы уже отодвинули за пределы. Иду с фабрики, Тупичкина Валюшка мне навстречу: «Дядя Костюшин!» Прибег я на пустырь, а вы обои уже по плечики увязшие... В говне-то. Одно спасло, что не месили зря, стояли аккуратно, и силы сберегли. Ну, кто мог знать? Сейчас наш дом стоит, а был пустырь, и все бараки брошенные за четыре зимы пожгли. И заборчики, и сараюшки. Даже и сральни. Ну, а дырья в бурьяне не видать от срален. Вот и оступились...

— Ну, будет, батя, — сказал он, беря ладонью «Экстру». — С происхождением все ясно, что не из пены мы морской. Скажи, а вот какого мнения держался ты тогда, ну, вообще?

— Полстолечка, Серёнь, не боле... Какого мнения? А как все люди. Обратного. Но когда б не руки-от... Руки удержали, и меня, и всех нас заодно со мной. Стояли, помню, раз на крыше. Ждали. Ну, появляется, гудит. Обрато, думаем, «зажигалками» сыпанет. А он как стебанул! Светло, как днем. И ветром вдруг, и ветром!...

— Взрывной волной, — поправил Митька.

— Во-во. И понесло нас, потянуло. Кто успел, хватался за что попало. Я так за скобу, которая в трубе. Схватил, держу. Ну, думаю, не подведи, родимая. И удержала, вишь: сидим и в ус

не дует. Недаром за работу за такую царь золотом платил. А одного так и вынесло на пузе за край. Начальника.

— Разбился, что ль?

— Ну так с четвертого же этажа. Не совладал с собой-то, напугался. Боялись они очень, которые партийные. Когда он, немец-то, Москву подпер, так жгли учебники свои, портреты. Кучами. Вот не пойму чего: заместо же икон себе поставили, ну, как же так?.. А кто в петлю лез, это вообще... Нет, не пойму я коммунистов никогда. От страху образ Божий загубить. Это у нас так раньше говорили, что руки-то не на себя человек подымает, на образ Божий, — пояснил он. — Ну, стукнемте давайте, чего ее держать.

— За ту скобу, отец, — сказал вслед выпитому Митька.

Отец поднялся из-за стола, пригладил волосы, седина которых отливает свинцовой тусклостью. Высокий, жилистый и, как обычно, непроницаемый мужик семидесяти лет. — Пойти чего поделать, пока светло, — сказал он и на Митьку глянул: — Где это, сынок, тебя солнышком так прихватило? Ведь только к осени у нас и разгулялось, а так все лето пролья, холод псиний.

— Летал в командировку.

— Эх-х, повезло тебе, сынок. Не пробовали яблочек? Кислятина одна. Компот из них варить, а так!..

Смотря в окно терраски, Митька перебил:

— А вот и Генка, — и все посмотрели, как старший сын и брат, спиной блестя, затворяет тщательно калитку.

— И ладно, посидите вместе, — сказал отец, надевая рабочий берет и выходя на встречный бас: «Куда ты, батя? Отдыхай! Ведь праздник, День танкиста».

## V

— О! Что я вижу? Втроем одну поллитру усидеть не смогли. Моща, моща. Я, мужики, к вам на пару минут. Вот, лёгоньким потом залейте, — одним движением рассек тужурку на себе (ведь сколько раз его просили достать нам по такой, — ну, жила...), из-за пазухи вынул и утвердил, бля, царским жестом — в рупь ноль две... — Гуляйте, мужики, а мне пора. Ждет не дождетс тут одна, — и подмигнул: во, мол, какая баба! — Прелестнейшая незнакомка. Так я набрал в Москве всего, чтоб дешево-сердито, — и он похлопал по грудям себя, уставленным снутри бутылками (кажись, бывал и я знаком с той незнакомкой...) — Чего раскисли, надо пить, — он распечатал свое «Мицное», налил под края пустой батин стакан и, не садясь, поощрил с высоты:

— Разливайте чего у вас стоит.

Стоит, стоит, не беспокойся, и есть еще, но ты об этом не узнаешь. Он неохотно взял бутылку и, разливая, морщился щечкой, к Митьке повернутой, на старшего.

— Капитан Костюшин, — громыхнул железом так, что близнецы недобро приподняли исподлобные взгляды. — Ты удивляешь меня последнее время, капитан. Давно хочу с тобой поговорить кое о чем, да времени земного нет. Ты по-мужски хоть лей, сержант, все выливай, чего жалеешь. Служил же в армии, как мы, а льешь, как салажонок. Тихо! Я умоляю! — оборвал он младшего, открывшего было жестко рот... — Радио, быстро! — и младший, перегнувшись над столом, взял с подоконника приемничек с оббитым пластмассовым корпусом, который, чтоб не распадался, мать перетянула неуместной резинкой для трусов, щелкнул, крутнул шкалу, — и от песни, только что издавдала, с соседнего надела доносившейся и всем давно остолбеневшей, про летчика Экзюпери, майор Костюшин голову сронил, уперши в стол кулак.

*Опустела без тебя Земля,  
как мне несколько часов прожить?...*

— Мужики, — восшептал он, напирая увлажненной голубишной глаз, — хотя и День танкиста, умоляю: за парня, сбитого над вами в ваш день рождения, за наши ВВС, ура, — и опрокинул «Мицное», ему навстречу упираясь ногами в пол дощатый. И отвернувшись, с пустым стаканом, в руке забытым, слушал до конца, и мы с ним, забалдевшие немного:

*...А ты все летишь и летишь,  
и тебе дарят звезды свою  
неж-ность...*

— Все, вырубай. Потопал. Допивайте, парни, и чтоб все четко. Да: в понедельник лечу на Каспий, может, икры приволоку, так звякните мне на неделе. Ну, мы еще увидимся. Да! Бате надо же помочь, чего он там затеял. Мужики мы или нет? Значит, распорядок будет такой: поднимаю в шесть, для начала пробежка по росе, и чтобы только босиком, потом кидаем по-солдатски чего-нибудь в себя, и в руки топоры. Решено? Кто воздержался? Значит, утверждаю! Ну, а тебе я, Митя, коротко пока: держись, прикрою, когда надо, — и, подымая «молнию»: — Да выпить не забудьте, чертяки, чтобы брату повезло в любви!

И ринулся с порога, как на крыльях.

— Любовник, бля, — сказал один.

— Герой, — другой поддакнул.

И можно было их понять...

Один «сучок» провинциального разлива достал, припрятанный, из-под стола и, не спеша, отмерил поровну обоим.

— Ну что, поехали, — сказал другой, берясь за водку.

— Нет, погоди, — отставил первый. — Прокладку сделаем сперва.

И задымили, глядя с печальной умудренностью в утыканную окурками плоскую консервную баночку.

И речь в дыму пошла такая, устами одного из нас:

— Однажды в брюхе вертолета везли меня в Кызыл-Орду, в военный госпиталь лечиться, после того, как смерч песчаный сошел на нет, и я нашелся, изголодавший, черный, заросший семидневной щетиной, запас патронов расстрелявший, и было только две гранаты, нет, гады, думал, не возьмете, живым не дамся, и то ли я схватил лучёвку, то ли меня похитили с поста китайцы и через госграницу доставили в мешке, по пяткам били, гады, грозились пытку применить, что называлась «тысяча кусочков», и скальпелем срезали лоскуты сначала с век, представь, но я держался, и, как Кибальчиш, гостайну я не выдал, или что... Короче, нездоров был, и меня отправили в Кызыл-Орду, на вертолете, а под сапогами — дыра, ну, ясно, крышка люка, конечно, отвалилась, по разьебайству нашему, вот как наш ас ругает ГВФ, он мне сказал, не верь «Аэрофлоту», по сорок неполадок бывает в самолете перед отлетом в глубь страны, и каждая из них принципиально может развиваться в катастрофу, но я майора не послушал и влез, но, правда, это были ВВС, короче, дыру они заделали фанеркой, и даже не заделали, накрыли просто, чтобы, значит, не выпасть как-нибудь случайно. Я ту фанерку отодвинул сапогом, сижу, вот как сейчас, над краем пропасти-пустыни, весь в ранах, в горле гнойники, температура сорок, ну, и снаружи тоже зной, а до конца командировки, до дембеля семнадцать дней, нет, месяцев, короче, уйма, пропасть Времени. Внизу провал, обрыв, песок, рельеф тоски и скуки бесконечной, ну, все, с тобой я мысленно прощаюсь, решая симулировать, что оступился как-нибудь случайно, на всякий случай, чтобы память сохранили об отце и Вовка, и Наташка, но прежде чем исполнить, дай докурю последний «беломор», такой мгновенный по времени, что не прочувствовал и вкуса. Бросаю я окурочек в круг неба и пустыни, а он, представь! не падает! По турбулентным, видимо, причинам, в дыре возникшим, и из любопытства к феномену, который я рассчитывал в уме, как инженер, и просто любовался, как человек в сержантском, потом

просолившемся ХБ, остался я сидеть над краем. И вот, живые оба. Наш первый тост за любопытство к явлениям природы и души, которое неистребимо пусть не оставит нас и при последнем вздохе. Я сказал.

— Пьем, — подтвердили мы.

Но для начала мы выпьем вот за что... За батину скобу и лучик золотой неподалеку, — и вдáли, а потом за любопытство, и за Бермудский Треугольник, и тут же, не откладывая в долгий ящик, за НЛТ, нас наблюдающее в миг прекрасный этот единства и свободы. Есть предложение. Давай. Построить НЛТ из батиной фанеры. Пьем! И *улететь*. Куда? Не знаю. И *курсом* улететь, лететь по *курсу*. Точно, пьем. Никто не опознает снизу нас радаром, и мы ее достигнем оба. Кого? Е е достигнем, говорят тебе. Ну, полетели, — нет, поехали сначала. Поехали — за Наше Неопознанное Тело! Родное и Единое! Из Батиной Фанеры! И за Курс!

«Сучок» добились, стали брать по «Міцной», смеялись — ну, до слез и пустоты под ложечкой, как в затяжном прыжке неторопливом, без парашюта и наоборот, не сверху, а наоборот, с земли, вот с этой самой, единственной, с которой так поначалу трудно оторваться, а потому: душа пустила корешки, мы проросли, как наш картофель, что под полом, и было оторваться трудно, поймите, а потом — забылись, растворились, исчезли мы один в другом на этом месте, всегда присутщем нам, а из чего оно построено, Бог весть, а сколько это соток, спросите лучше у кустов крыжовника, у грядки стрелчатого лука, у яблонь наших незадачливых, уж отряхавших о ту пору под ноги бате плоды незрелые сырого лета, последнего для одного из нас, — хватало! Нам с ним хватало. А за калиткою проселок, а там вон речка, слева, и церквушечка извечная, а тут вон семилетка, что на бугре крутом, в который, как фингал по рукоять, вонзился навсегда военным первым летом фанерный «ястребок», и хвост его пожухлый со звездой пятиконечно-красной и облезлой оградкой обнесли, в которой уж разошлись цветочки полевые детишек наших, по весне надевших себе на шею шелк или кумач. И мы сказали голосом единым: да будет память вечная твоей, парнишка, неопознанной душе... со скорбной скоростью достигнув уже обвальной глубины, с которой, как в электронном микроскопе Зойки, миллинократно вдруг возникло перед нами все в целом население живущее, и в ширь соборную, и в глубину отдельно взятой в нем души — как наша, неисповедимой, и стало невозможно оставаться возле черствеющих кусков черняшки, окурков и стеклянной тары из-под принятого в последний раз на совесть, под честное слово, в сельмаге, в гастрономе, у государства

монопольного за трудные рубли загадочной и жидкой материи самопознания, которая, когда в нее добавить марганцовки, попробуйте, ребята, на третий, значит, день родит вам интереснейшего бытия клубок, но только вы обычное берите, строго покупное, не уходящее на экспорт за пределы... Вглядитесь в инобытие белесых нитей, со светлой грустью о чем-то размышляющих на дне: ведь жизнь живая!

Мы встали и пошли, обнявшись, и, перед броском в деревню Лукино, пописали красиво струей единой в лунном свете, омраченном лишь сознанием того, что первыми не мы луны коснулись. И только запах флоксов, цветков таких, батей рассаженных по сторонам крылечка единственно для красоты, благоухал насмешливо и находился в вопиющем противоречьи с познанным до дна отныне мирозданием. И мы грозили ласково благоуханью, не попадая пальцами другой руки на пуговку прорехи, ироники какие, эти флоксы: «Ужо мы вас!..»

Один другого застегнув, нам было по пути к Запретке, не доходя и влево, и смеялись дальше, считайте, всю дорогу, над звездами непрочными и духом, видно, слабыми: не выстояв в ночи, они валились мимо нас за тянущиеся стены ельника, и гул Вселенной необъятной тревожно наполнял пустую банку емкостью в три литра, под мышкой нашей бережно несомую, свиваясь ветром в горле, указывающим путь, а в наши стратегические планы входило вдать, как следует, чтобы потом, когда наступит утро воскресенья, отпиться вволю молоком парным — предусмотрительные, а?..

И во дворе обходчицы застали пахучих мотоциклов пару, «ИЖ» и «Юпитер» без коляски, и безошибочно предугадали дальнейшее, то, что обходчица, немолодая крепкая бабенка, имея штофную рюмаку в руке своей, стоящей локтем голым на вытертой клеенке, изображавшей изобилье, мешающееся с реальным и суровым застольем поминальным Дня танкиста, и мы подсели к мужикам, и вдáли со всей силы за почивших, за неопознанных, пропавших без вести и отклика исчезших: за канувшие в Лету экипажи Т-тридцатичетверок боевых, нас отстоявших, Бог уж знает с какою высшей целью...

А как уж банку донесли домой, до горла налитую щедро теплым молоком, не расплескав ни капли, а вы представьте нас, меж тьмы и звезд бредущих над Россией, — так это было непонятно бате, открывшему нам дверь.

А поутру, как было договорено, нас разбудил старшой, бессонный, настоявшийся до бледности и обойденный щедростью любви сестрички милосердия одной, нам давшей как-то раз ее обоим, о чем он не узнает никогда, обратно внес свои запасы

«Мицного» и давит до сих пор перед отлетом в Астрахань и дальше, а мы, опохмелясь, в чрезвычайно трудном с тобой, мой брат, близнец последний по разуму, душе и вообще, чрезвычайном состоянии припали к земле родной и ожидаем чуда (не представляя, что тем временем и Фирка, и Наташка, и Люська с Вовкой сходят на перрон в большой тревоге и нагруженные сумками...), на бугорке, под солнцем щурясь, лопатками припав к березе, мы извлекаем наш последний «беломор» в томлении разлуки, а также в ожидании автобуса, запаздывающего регулярно по расписанию как раз нам для того, чтоб было времечко размять, вдохнуть, не наддышаться той дымной горечи — с тобой на пару, под березой, на вытертой прощаньем травке, под мощной и отдельной, как душа, березой с жестоко и напрасно до сердцевины выщербленным основанием, в которое, уж кто за то в ответе, мы на том свете разберемся с Митькой, а может, и на этом, если захочет Бог, — по шляпку вогнан был костыль железно-ржавый.

## VI

Так, не вставая, мы, облокотясь, задумчиво курили и вбирали, добирали последними глазами и по крохам, как бы предчувствуя, о к р е с т. И запылел вдали автобус. И мы поднялись и сошлись с ним у обочины. И было воскресенье. И он привстал, камнями побитый и трудными ухабами. Фанерой громыхнул вместо стекол вставленных, непрочных, как известно. И дверцы нам открыл. И разносился окрест по дереву железом, единственный был звук воскресный. Это батя вправлял закраину негодной двери, дождавшейся, чтобы воскреснуть в свой черед, встать в паз и послужить потомкам, перевоплотиться — стеной столь всем необходимой сараюшки, последнему творенью бати. И это буханье толчками прощально отдавалось в сердце общем, оно ведь хрупкое, как сталь, хоть черство, как кирза... Но, делать нечего, взобрались мы в нутро, наполненное светлой пылью. И затряслись обратным курсом: до конечной, которая Запретка, тут всего лишь остановочка одна, потом наш шеф послушно развернется перед воротами глухими, как обычно, как уж повелось, когда нас еще не было, и помнил только батя, и в путь обратный по дозволенному курсу —

но шеф, напрягши шею до вспухших крепко жил, мужик без возраста, но, видно, мощный дух, едва не развалив нас всех на составные части, па-апер вдруг со всей мочи по проселку, то ли с похмелья обознавшись? приняв за стартовую полосу? И лихо

взвел нас над конечным пунктом, где был всему конец, в открытое пространство неба, держа на солнце, кепочку надвинув, чтоб не слепило, и оставив всю нашу жизнь земную — сельмаг, надел фабричный и Запретку, — ну, дух! Оно бывает, редко, но бывает, с похмелья трудного... Нам хуля? Мы летим, подталкивая и кивая один другому на девочку-подростка, с которой мы охвачены сиянием пыли лученосной, прихваченной с земли, а девочка сидит себе, не замечая нас, небритых, хмельных и хлюпающих взбухшим слезами носом, счастьем узнавания, сидит на вспоротом ножами креслице. Имеет на коленях полузастегнутый портфельчик, чья ручка, чтоб держать, заботливо обмотана знакомой до боли изоляционной лентой синей, и слово LOVE чернилами сияет золотисто с того портфеля, — вроде не понашему, ну, да сама-то понимает, раз вывела старательно, ведь девочка совсем, а знает по-нездешнему, летя куда-то, как и мы, и с наливными, крутыми, любо-дорого глядеть, такими формами! которых жарко стесняется сама, понятно, по причине несоответствия годкам, — и, губы сжав, глядит перед собою на проселок, щекой пылая, русская земля о русская земля ведь ты еще не скрылась

# ЭМИГРАНТКА ЭММА

Час пик уже прошел, когда в начале девятого вечера очередным людским выбросом из базальтовой колоннады станции метро вынесло наружу озабоченную женщину. Даже на каблуках своих новеньких французских сапожек и вытянув шею она дотягивала планку только до метр шестьдесят два. Соразмерно была она щуплой, что угадывалось даже под ее старым зимним пальто на ватине. С первого взгляда, только эти анатомические подробности выделяли женщину в московской толпе, предопределяя несколько пренебрежительное к ней отношение: пигалица, мол.

Ей, впрочем, было уже 27. Рукой в вязаной перчатке она сжимала ручки дамской сумочки и жгуты пластикового мешочка, оттянутого тяжестью двух кило апельсинов и бутылки вина.

С минуту женщина вертела головой, пытаюсь сориентироваться в полузабытом этом районе, а потом решительно пересекла растоптанный в жижу снег, мерцающие в нем трамвайные рельсы, поднялась на плотный снег противоположного тротуара. Здесь, в ожидании трамвая, люди стояли лицом к глухой кирпичной стене, читая наклеенные на нее самодельные объявления: «Ищу комнату...», «Обменяю комнату на однокомнатную квартиру...» Их было множество, этих бумажных полосок, отороченных бахромой — для удобства отрыва — телефонных номеров. На полусвещенной стене они проступали, подумалось женщине, как струпья. Кто-то огромный вдруг шагнул ей навстречу, и она инстинктивно отскочила с кромки тротуара в жижу. «Эй, п-постой!» Она ускорила шаг, услышав, как вслед ей сплюнули: «Подумаешь! Нашлась...» Метрах в двадцати перед ней сияла большая перпендикулярная улица. Вот за этим углом на ней должен быть какой-то театр. В прошлую пятницу в «хирургию» привезли пятнадцатилетнюю, еще в сознании: пять ножевых в область паха...

Женщина оглянулась. Нет, отстал.

Театр за углом был. Так себе, театрик. Кукольный. Прямоугольник электролампочек освещал скромную рекламу детского утренника «Спешите делать добро». На той стороне улицы, прямо напротив, обмороженные по краям, светились изнутри большие витрины одного из немногих тогда еще продовольственных магазинов, перешедших на прогрессивный метод обслуживания. А может, пельменей пачку купить — спросила она себя. Большую пачку замороженных, громыхающих изнутри о картон — и сто грамм масла. Или даже сметаны... Да нет, какая сметана, у нее же нет с собой тары. Ну, просто с маслом: отварить и перед этим самым уплотниться. Так говаривал, возвращаясь из своих отъездов, Федор Игнатьевич, человек, которого до паспортного возраста шестнадцати лет она считала родным отцом: «А не уплотниться ли нам, доченька?» В то время он, правда, сохранял еще человеческий облик, хотя с международных рельсов в Пекин и Улан-Батор его уже перевели на внутрисоюзные... Нет, не уплотниться, мысленно отрезала она. Потому что если натошак не следует, то на полный желудок — еще хуже. Бокал-другой вина, апельсины — этого вполне достаточно.

Мимо театра, мимо отделения милиции, мимо ателье индивидуального пошива для господ офицеров — вниз по улице, а потом — ноги сами узнавали — налево в переулок, он был узкий и темный, и бесконечный, но вытолкнул ее — и это было неожиданно — словно бы в поле. Оно было темное под черным небом, только справа, у развезженной дороги, под столбом с лампочкой белелись сугробы. За ними, черно-белые, высились тополя — остаток недоспиленной старинной аллеи, которая сейчас подводила, конечно, не ко дворцу, а к трем многоэтажкам, озаряющим свои бледные стены электрическим излучением сотен окон. Тропинкой, натопанной через пустырь, она пошла, уверенно поскрипывая каблуками, к ближайшей из этих башен. Шесть лет назад здесь, новоиспеченная медсестра, она изловчилась стать женщиной. В той вот однокомнатной квартире: над бетонным козырьком крыльца в правом ряду два первых окна. Темные за поблескивающими стеклами.

Дверь дома слегка уже примерзла. Отдирая ее, женщина с силой дернула за ручку.

Внутри, на лестнице, было тихо. Доносились только гневные голоса дикторов всесоюзной телепрограммы «Время».

На втором этаже она вошла и беззвучно закрыла за собой дверь правого отсека. Сюда выходили двери трех квартир, и, хотя отсек не запирался, в нем была атмосфера известной до-

верительности, которую, главным образом, создавало общее помойное ведро. Накрытое неиспользованной посылочной крышкой, фанеркой с невыбитыми гвоздиками, оно тем не менее воняло даже зимой. Еще тут оставлены были детские санки. Загнутыми дюралюминиевыми полозьями кверху, санки стояли в собственной лужице, которую женщина осторожно перешагнула. Две двери были обиты дерматином, третья голая. Даже коврика перед ней не было. Ключ от этой двери женщина все это время сжимала в руке под перчаткой. Она переложила свои вещи в левую руку. Прикусила кончики перчаточных пальцев и потянула ее с руки, но, одеревенев, рука не удержала ключ. Выскользнув из перчатки, он со звоном подскочил на цементном полу — и ей стало жарко. Оглушенные своими телевизорами, соседи, однако, не выглянули на звук. Женщина быстро присела, стукнув при этом о цемент доньшком бутылки в мешке, подхватила ключ, разогнувшись, вставила его в замок, открыла, шагнула во тьму и беззвучно заперлась изнутри. С мгновение она постояла, упершись лбом о дверь и переводя дыхание. Защелкнув на замке штифтик внутренней блокировки, она отстегнула в своем пальто крючок облезлого кроличьего воротника.

Да, все тут было, как тогда — в смысле планировки. Справа комната, слева кухня. Еще левей — санузел. Совмещенный. Здесь ее выворачивало на рассвете, а что было до этого — полный провал. До провала же — ей наливали, она пила. Кубинский тростниковый ром «Сапеу». Белый. До черной отключки. А потом она очнулась на кухне — вон на том топчане. И уже в санузле обнаружила, что трусов на ней нет, а то, что оставалось — комбинашка и пояс с черными чулками, — пришлось срочно застирывать. Несмотря на дурноту. Повсюду вповалку спали и, чтобы не разбудить компанию, она так и ускользнула — без трусов, без эмоций, во всем облипающе-влажном.

Сидя на топчане в расстегнутом пальто и сапожках, она выкурила крепкую кубинскую сигарету. Эмоции, впрочем, были. Причем, сложные. Во-первых — облегчение. Потому как двадцать первый год ей шел. Пора. Так что этот камень свалился. Но под ним — и это, во-вторых, — было полное разочарование. С мужчинами оно ни в какое сравнение оказалось то, чему она с упорством предавалась с пионерского возраста, несмотря на истязания, которым ее лет до тринадцати-четырнадцати, да, почти до комсомола подвергала покойница тетя Маша — лже-мать. И последующие пересечения с противоположным полом только уверили ее в убеждении, что так называемая «интимная близость» — это полный обман. Во всяком случае, в той роли, которую отводили ей. Актрисы. Или лучше сказать, аккомпани-

аторши — в сольном выступлении самца. Фальцеты, теноры и басы — все они под занавес срывались на рык, в прерывистости которого было нечто искреннее, тогда как ей, ей так и не пришлось избавиться с ними от постоянного ощущения фальши. Ненужности ей всего этого на самом деле. Одно время она считала себя фригидной — до тех пор, пока самый нежный и наиболее интеллигентный из ее любовников, уругваец, сорокалетний аспирант политэкономии, — он у них лежал, — не определил ее сексуальную индивидуальность кратко и, как ей показалось, малоприлично: «Эмма, ты просто клиториальная женщина...» Может быть, может быть. У них была любовь, о которой в книгах не прочтешь. У него было изящное сухое запястье, волнующе поросшее редким черным волосом, но с исчезающе-нитяной голубизной вен. Чуткие, трепетные пальцы — она их целовала, облизывала, обсасывала по одному. Какие пальцы, ах! «Ничего удивительного, — говорил лежачий ее любовник. — Я ведь начинал в своей стране как вор. Да, да: как взломщик сейфов. А кончу, если повезет, профессором преступного мира». Так он шутил меланхолично, но ему не повезло, он умер. После удачной операции на сердце, в реанимационной, не приходя в сознание.

Женщина вдруг очнулась. Она была уже не на топчане, а в комнате. Окно нагое — ни штор, ни занавесок. Свет фонаря извне рассекал комнату по диагонали: подоконник, крашенный белилами, гладко блестел и озарен был вглубь весь потолок, так, что можно было пересчитать извивы шнура, на котором скособоченно висела большая лампочка-двухсотваттка. Под этим серебристым потолком она сидела в темноте. Пальто внакидку, подложив под себя ноги в чулках, у стола без скатерти. Вывернув запястье к свету, она сощурилась над часами. Потом отстегнула, положила на край. Замерше на столе круглились произвольно раскатившиеся апельсины. Осязая пыль, она повела рукой по полировке и наощупь извлекла из сумочки кротко просиявший своим серпиком хирургический скальпель. Она с ним никогда не расставалась.

Вино у нее с собой было испанское: пятирублевая бутылка «Rioja» из магазина на Столешниковом. Задрав на бедра шерстяную юбку, она тесно сжала бутылку ляжками, плоть которых белела под краями чулок, и склонилась над горлышком. Срезала толстый станиоль колпачка и стала ковырять пробку. Неторопливо. Поддевала кусочки и складывала на стол. Остаток она протолкнула тупым концом скальпеля.

В этом доме если и пили вино, то гранеными двухсотграммовыми стаканами, но на кухне она нашла огарок свечи, при-

паявшийся ко дну плоской консервной баночки, и фарфоровую чашку с отбитой ручкой. Она зажгла свечу, налила вина в чашку и пригубила. Сняла с кончика языка пробковую крошку и подняла голову. Сквозь потолок доносился телевизор — артиллерийские залпы, хриплые крики: «Вперед! За Родину!..» Это, верно, подходил к концу тот самый «Горячий снег», который Федор Игнатьевич еще в понедельник с похмелья жирно обвел в недельной телепрограмме красным шариковым стержнем. Засмотрелся он, что ли? С раздражением она опрокинула над столом сумочку, проверила, не застряло ли в ней еще и отбросила через комнату на чинно сложенный диван-кровать.

Горка запечатанных в фольгу импортных таблеток посверкивала в мигающем от телевизровых пламени свечи. Еще с таблетками наружу выползла ее косметика, заколки, все такое прочее и — фотоснимок. Цветной, он в данный момент лежал изображением к столу, являя матово-белую обратную сторону с многократно повторенным на ней миниатюрно-водянистым словом «Kodak». Отодвинув снимок, женщина прикурила от свечи сигарету и принялась за сортировку: таблетки к себе, косметику от себя. Так ее покойница-лжемати перебирала когда-то гречку. Между делом взглянув на часы, женщина пожалела плечами, выдавила на ладонь пару таблеток и запила вином. Уже была полночь. Она продолжала работу, вылуцывая из фольги нежно-белые таблетки. Башенками по пять она их выстраивала вдоль края стола. Всего оказалось двадцать башенок, последняя не полная. Пусть будет 19. Вином она запила еще три таблетки и взяла апельсин. Аккуратно она прорезала скальпелем толстую пористую кожуру — так, чтобы плод раскрылся розой. Стать ей еще совсем не хотелось, только в кончиках пальцев нарастала какая-то легкость, словно бы они изнутри опустевали, а потом вдруг она на мгновение остановила скальпель, испытав мягкий толчок изнутри себя в мозг.

Барбитураты плюс алкоголь. Этой алхимии самоубийства она, как ни странно, не в реанимационной научилась. Однажды довелось ей провести сутки с одним членом Союза писателей, интересным собеседником, несколько, правда, заторможенным в известном смысле. Он, по его словам, планировал «взрыв с непредвиденными последствиями», чем ее очень заинтриговал за чашкой кофе в клубе политэмигрантов. В постели оказалось, что речь идет об издании на Западе очередного «Доктора Живаго». Учитывая возможность того, что в ответ на это сверхдержава способна, как в песне поется, «насупить брови», автор заблаговременно сблизился с политэмигрантами, подыскивая в их среде «средство передвижения» — жену. С тем, чтобы в случае чего

ретируются на законных основаниях. В этом смысле он наутро к Эмме охладел совершенно, но она удержала продемонстрированную им «формулу распада»: две таблетки димедрола — сто грамм водки — двести пива. «Гремучая смесь! Мозги, конечно, при этом разносит, но выход кайфа обеспечен». Именно эту блаженную стадию она сейчас и проходила. Медленно, по дольке, поедая апельсин и любуясь его кожурой, распластанной на столе в форме когда-то в детстве виденной морской звезды.

Издали донесся шум заглохшего мотора. Потом ее будто бы окликнули извне. Галлюцинация? Тем не менее она спустила ноги на пол и подплыла к окну.

Зная, что находится она в самом центре восьмимиллионного города, она без удивления видела внизу перед собой беспредельную равнину снега, озаренного месяцем. Словно бы не с высоты второго этажа смотрела, а из окна вагона, отцепленного посреди степи. Если бы не тополиная аллея, неизвестно кем и для кого разбитая здесь двести лет назад, вид был бы полностью безжизненный. Как на Луне. Но оклик повторился.

Она повернула ручку на окне и распахнула раму. Воздух за окном был насыщен блесками инея. Они, эти блески, осели на ресницах, которые замерцали. В этом ореоле она увидела: бежит женщина.

Эта женщина была вся в мехах, а по пятам за ней из аллеи, размахивая тяжеленным «атташе-кейсом», тоже выбежал словно бы медведь. В пыжиковой шапке и долгополой монгольской дубленке он весил не меньше центнера, но неся по снегу так, что только кустики отскакивали. Он и без того догнал бы женщину, но за несколько метров он на ходу метнул в нее свой «атташе-кейс», сверкнувший никелированными полосками. Женщина рухнула лицом в снег. От удара «атташе-кейс» раскрылся, выбросив грудой журналов в глянцевых западных обложках. Не почувствовав боли, Эмма до крови прокусила себе нижнюю губу: медведь не то чтобы топтал, — вколачивал, вбивал в землю свою жертву, которая тем не менее, проявляя свойственную своему полу живучесть, пыталась из-под его ботинок вылезти. Рычал он при этом вот что:

— Ты мне, блядь, р-родишь эти ключи! Родишь!...

В ответ из-под ударов взвизгивало:

— Финского замка тебе жалко? Финского замка тебе жалко?..

Потом она умолкла. Он тоже устал. Снял шапку и, отдуваясь, утерся. Увидел разлетевшиеся вокруг журналы.

— С-сука! — пнул ее, неподвижную. — Что я теперь Игорю Олеговичу скажу, а?

Стоя на коленях, он тщательно обтирал эти «Плейбой» рукавом, прежде чем уложить. Женщина тем временем пришла в сидячее положение. С «атташе-кейсом» в руке он помог ей подняться.

— Ты как?.. Да ладно тебе дуться, а? Погорячились и будет. Я вот чего: давай сейчас к Звереву на Арбат. Так, мол, и так. Меня он примет, ну, а там... Как говорится, утро вечера мудреней.

— Если бы не шуба, ты б меня убил.

— Не убил же.

— В синяках теперь вся буду.

— И в синяках полюбим, ничего.

Взявшись под руки, они пошли обратно через поле, вскоре вновь превратившись в пару медведей. Сели в «Жигули», уютно осветившись на мгновение, — и пропали. Ровно сиял месяц.

Мороза Эмма не чувствовала, и вообще ничего. Все же она сделала усилие, чтобы закрыть окно, после чего обнаружила, что на столе задуло огарок.

Но глаза уже привыкли к темноте.

Как многие его соотечественники, Федор Игнатьевич был человеком малокультурным, зато начитанным. По ее поводу он нередко цитировал общедоступный роман в стихах:

*Она в семье своей родной  
Казалась девочкой чужой.*

И при этом вздыхал.

Однажды девочка вбежала:

— Мама! А какая у меня история?

— Че-е-его? А ну, пойди сюда. — Ее сжали женские колени.  
— Что еще ты выдумала?

— Я не выдумала. Я на гамаке качалась. А Эльвира Адольфовна говорит: «Бедная девочка, бедная девочка». А потом заплакала.

— А ты что?

— Ничего. «Почему вы плачете?» спросила.

— А она?

— По голове погладила и говорит: «Ты уже знаешь свою историю, девочка?» А я не знаю. Почему?

— Ну, я этой немчуре устрою!.. — Мать вскочила. — А ты, ты иди гуляй. Нет у тебя никаких историй!.

И девочка ушла. Тогда она как раз кончила первый класс. Федор Игнатьевич получил путевку в Дом отдыха железно-

дорожников на Черном море. Потому что у него двух пальцев на левой руке не хватало. А они устроились диким способом.

Однажды она пришла из школы — растрепанная, в ссадинах...

— Только честно, мама. Я — жидовка?

Они переглянулись.

— Бог с тобой, доченька! Мы — российских кровей.

— Да! — вскричала она. — А почему я тогда *чернявая*?

Пионерка стала кусать себя за косички и царапать на себе лицо. Ее насилу угомонили, а за вечерним чаем Федор Игнатьевич предложил версию, от которой девочка вспыхнула, как пион:

— А может, прабабушка моя цыгана приголубила?

Поэтому, мол, не вполне наша масть.

Менструации у нее начались года на два раньше, чем у сверстниц, — в 11. «Девочка преждевременно развита», — неизменно заявляла на родительских собраниях учительница, отчего родители нормальных девочек запрещали им водиться с этой Эммой.

Книги, которыми пионерка компенсировала недостаточность общения, все эти «Консуэло» и прочие мопассаны, — бурного ее развития, увы, не приостановили. Она стала тихоней, но внешний мир ей обмануть не удалось: в тихом омуте черти водятся. Общеизвестно.

О том, что она испанка, Эмма узнала только в шестнадцать. Ее настоящие родители были из тех пяти тысяч *niños*, «испанских детей», которые в 1937 из-под франкистских бомб были переправлены в Советский Союз. Эти «дети» подросли как раз к началу войны. На каком из фронтов — или это было в тылу? В ГУЛаге? — погиб бывший *niño*, ее отец — этого Эмма никогда не узнала. Что же касается матери, то как будто бы она умерла в эвакуационном эшелоне по пути в Среднюю Азию. В Ташкенте черноглазого младенца женского пола сдали в детский дом, где она приглянулась уборщице Маше.

Вот и все.

В отделении милиции Эмма сумела добиться, чтобы в графу «национальность» ей вписали: «испанка». Эта щедрость, однако, не имела последствий: как известно, СССР — государство многонациональное, но гражданство у всех одно и то же, *советское*.

И еще был случай. За три года до того как ей открыли ее историю, Эмма была в пионерском лагере. Однажды их посадили в автобусы и повезли в другой лагерь, тоже пионерский,

но образцово-показательный. Как раз его в тот день показывали «посланцам острова Свободы» — кубинцам. Этим приедем кубинцам уже навязали алые галстуки. А у Эммы был серый берет. Прибалтийский. Но когда на этот берет она наколола подаренный кубинским негром значок с возгласом «¡Patria o muerte!» и натянула его на свои иссиня-черные волосы, то советские пионеры, из чужого то есть лагеря, приняли ее за иностранку. «Куба? — робко спрашивали ее пионеры в коротких штанишках, но уже с волосатыми икрами. И Эмма отвечала: «¡Si!» В тот вечер под озаренными дальним костром соснами она пользовалась безумным успехом. Впервые с кем-то целовалась, брала адреса, выкурила полсигареты, а один настоящий кубинец в форме и с бородой, приняв ее за свою, дал ей хлебнуть из карманной фляжки, после чего она чуть с ними в автобусе и не уехала, с кубинцами. Лучший вечер был в ее жизни. Хотя по-испански в то время она знала только «¡Venceremos!» и то, что на значке: «Родина и смерть!»

В то утро, уходя на дежурство, — она работала в день, — Эмма подсунула под рамку зеркала в прихожей фотоснимок. К зрителю он был обращен белой стороной, на которой рука Эммы оставила следующий текст:

«Федор Игнатьевич, прощайте. Этой ночью меня не станет. Спасибо вам за все, что Вы для меня сделали. Счет в сберкассе я закрыла. В книге аргентинского писателя Х. Кортасара «Другое небо» Вы найдете 400 рэ. Знаю, что Вы их пропьете. Но перед этим постарайтесь все-таки привести себя в человеческий вид, а именно: купите новый костюм, смену рубашек и прочее. Ваша испанская дочь».

Если у Эммы при всей ее решительности все же оставалась тайная надежда на то, что отчасти подготовленная ею реакция приемного отца расстроит ее план хотя бы уже в процессе осуществления, то она просчиталась. Очнувшись, Федор Игнатьевич взял на кухне оставленный ею рубль, добрал еще пустыми бутылками и без четверти 11 уже стоял в очереди у дверей винного отдела. Он, правда, имел в виду только похмелиться после вчерашнего. Однако сорвался в запой, во время которого, как и обычно, он упорно избегал встречаться взглядом со своим отражением в зеркале. Только на третий день с омерзением взглянул на себя — фиолетово-желтый синяк вокруг глаза, вместо носа — бульба в прожилках, воспаленные губы. Дрожащими пальцами он сдвинул кожу щеки, треща седой щетиной, — и увидел адресованную ему записку. На обратной стороне ее

был вид, который ничего ему не прояснил. Какая-то забытая Богом глушь: докрасна выжженная андалузская пустыня, переходящая на горизонте в багровые отроги Сьерра-Невады...

Бреясь, он порезался в нескольких местах и залепил клочками газеты. Почистился наскоро, нацепил «Знак почета», планку орденов и побег к участковому, который, прочитав фотоснимок, только присвистнул.

К Рождеству Эмму нашли. На квартире испанского товарища и советского гражданина Эусебио N\*\*\*, который в данный момент на территории СССР отсутствовал, находясь в долгосрочной командировке по казенной надобности, а именно: под видом кубинского добровольца обучал военному делу вставших на путь борьбы за построение социализма африканских товарищей. Дело это вообще было тонкое.

Эмма лежала под своим пальто на полу, подстелив под себя старые номера газеты испанских коммунистов *Mundo Obrero*. Перед смертью она натянула себе на голову пластиковый пакет, тоже заграничный, чтобы, видимо, задохнуться во сне, если барбитураты в сочетании с алкоголем все же откажут. Но они не отказали. Для своего веса в сорок пять килограммов Эмма приняла избыточную дозу, и, как показало вскрытие, смерть наступила в результате остановки сердечной деятельности.

В морг для опознания пригласили группу испанцев из общества политэмигрантов. Деликатно отвергнули простыню:

— Ваша будет?

Потрясенные испанцы переглянулись и ответили:

— Наша.

Перед моргом, на улице, их ждала еще одна испанка, которая всегда находила в себе большое внешнее сходство с Эммой, хотя все другие испанцы дружно ее в этом разубеждали. Как и Эмма, она тоже была эмигранткой, однако местом ее постоянного пребывания была не Москва, куда Эсперанс по воле родителей приехала учиться в Ломоносовском университете, а Париж.

Ежась и постукивая каблучками французских сапожек, она вспоминала сейчас, как за чашкой кофе Эмма ей сказала:

— Если мне откажут в возвращении, я покончу с собой.

Эсперанс ей, конечно, не поверила.

Все это было еще при Франко. Еще не был убит террористами семидесятилетний старик, президент правительства адмирал Карреро Бланко, и в информации об Испании местные газеты употребляли термин «фашистская диктатура».

# ПАРТИЯ АНГЕЛОВ

*Para ti, Aurora*

Уже в пальто и шапке — он вернулся. Она — волосы перехвачены черной бархаткой — продолжала питать дочь. Он открыл холодильник. Озарилась пластмассовая пустота.

— *Voilà, c'est papa a nouveau. Allez hop! mon petit biquet...* Э-э-э! так ты ложку проглотишь. Что ты ищешь?

В морозильном отделении выросли сосцы сосуллек.

— Где-то водка была. С моего дня рождения.

— Была.

— Где она?

— Козлов допил.

— Разве?

— На той еще неделе. Тебя не было, он постучался. Душа, говорит, просит. Я и дала. А что?

— А ничего.

— Папа твой под стрессом. И его можно понять. *Allez, allez!...*

Среди прозрачных дырок стояло яйцо.

Он извлек — белое, индустриальное. Ударил, содрал с пленкой крошево скорлупы, и рвотная конвульсия подступила к горлу: вместе со слизью выплыло пятнышко крови. Зачатое, что ли? Вынес и спустил с седьмого этажа. В мусоропровод.

И вышел сам.

Окрест уже горели окна. Разминувшись с нагруженной Юдифью, осведомленно пожелавшей ему «ни пуха, ни пера», он целеустремленно пустился в путь сквозь глубокое грязно-сочное месиво, в котором вдруг увязла к середине февраля Москва 1974 года. Ростепель. Дыхание сбивает. Дворами — забирая вправо от смертельно нависшей угрозы сосуллек. Напрямик через — недавно переименовали — Сальватора Альенде. Мимо парка — в темпе. Навстречу от метро, с продуктами на ужин, валил отработавший люд.

«Сокол». В щель пятак — и вниз.

Плядя с перрона в дыру, в назревающий гул: ужас, он думал. Ужас и страсть.

Вылетел поезд. Двери раскрылись — битком. Масса недобро смотрела, но, плечом принажав, он внедрился. Хрустнул при этом рассказ, расплющиваясь под пальто о выпуклость груди. С кропотливой неуклонностью он протерся промеж глыбистых тел, ухватился за промежуток изъеденной потом ладоней никелированной вертикали смежил веки и выпал из ситуации на все семь, долгих даже для столичных метроскоростей перегонов.

Мы пребывали с ним — незримые и вездесущие.

Станция «Павелецкая». Круты и похоронны ступени перехода на кольцевой маршрут. Отсюда, впрочем, было уже рукой подать — следующая «Таганская». Имени Высоцкого. *Аминь.*

Было черно, как ночью, когда он выехал из-под Москвы и вышел. Подмерзло все — и под подошвами, и воздух. Нолюдно было; к свету табачного киоска выстраивалась очередь, а поперек напора из метро возникали озаренные лица ровесниц и ровесников. «Не на Володю, друг?» — «Юноша, юноша! Лишнего билета нет? Я буду ваша, юноша! До занавеса? до утра? до гробовой доски?» Он высвободил локоть. «Постойте, юноша!...» Пустырь. Хрустящая растоптанность пространства. Из спрессованной в кармане пачки он вынул сигарету, раскурил — прибавил шагу. В известном смысле, ему тоже предстоял выход на сцену. Сыровато-горчащим дымком «Явы» унимая дрожь души, он вошел во тьму.

Человеком поверхности он не был. Как каждый, как любой из *неприемлющих*, он развивался с исподу. Долго. Десять лет. Всю жизнь. И в последние годы не только без видов, но и в отсутствие надежд на возникновение. На грани отчаяния — говорят. Так вот, пребывание на этой грани становилось уже образом жизни. Однажды рукописи его вернулись, отовсюду, все, и он решил, что хватит, сколько можно, ведь ясно: отвергнута сама претензия. Нет, больше не вылажу. Его инструмент, однако, продолжал омрачать ночным стуком ночную тишину меняемых квартир, а на рассвете, несмотря на все свое омерзение к физиономии в зеркале, он все же выбирал зубную щетку, оставляя (нам, нам благодаря!) сопровождающий его по жизни золингенский трофей отца, зеркальный, с выгнутой перламутровой рукоятью, в качестве пока что декорации. А как хотелось иногда. От уха до уха — ухмыльнувшись напоследок кровью. Себе любимому в лицо. В несостоявшееся. И ничего особенного, из ряда вон выходящего, экстремального в этой возможности — от уха до уха — уже не ощущалось. Тот же Козлов, по соседству,

опоясал свой атлетический торс решительной спиралью хрупких шрамов — просто так. Лезвием «Спутник» доказывая оцепеневшим от ужаса Юдифи и семилетней Таечке, что, невзирая на запои, семье он предан. А тут ведь речь не о семье, пусть и отдельно взятой, но среднестатистической, тут — о литературе, извечно требующей жертв. О каннибальской ее утробе, прожорливой и ненасытной пасти. Метафора, вы говорите?..

Это была Эсперанс — кто его вытолкнул. Лично он газет не читал. У нее же еще не атрофировалась иной цивилизацией воспитанная потребность, которую она утоляла здесь, где *Le Monde* не в обиходе, за две копейки — «Вечерней Москвой». Августовским утром он отвалился от машинки, поставленной на табурет, и пребывал в прострации — с «Герцеговиной Флор», угасшей между пальцев оброненной руки. Загородив свою наготу «Вечеркой», подобранной в сортире, явилась Эсперанс. С болью двинув глазами, он созерцал ее, читающую стоя у плиты. Чужестранно-странную на фоне кафельной, хирургической белизны. Вплоть до оттенка кожи. Потом вместо машинки возникают две керамические чашки, надорванный блок рафинада, крытая парафином картонная призмочка сливок и наконец — в роли кофейника — румынский эмалированный чайничек ало-задымленный такой и исходящий парным духом. Она садится рядом: «Прочти». Как бы он ни был изможден, в те времена от глотка кофе, ей привнесенного в обычай, жизнь неизменно возвращалась, пускай и безысходная. Он глянул в разворот — «Литературная страница». Глаза его скользнули — оценивающим зигзагом. «Да ну, говна...» — «Прочешь тебе?» — «Тогда уж лучше страничку из *Mort à credit*. — «Потом. Тут образцы «московской школы». Он взял. Она — глаза блестят — поднесла огня на спичке. Он затыкнулся. «Подвал» страницы занимало произведение в прозе. Сочинил некто Русских. В лоб было псевдонимом. Отвечая на вызов эпохи, молодой автор все же явно переборщил. Да и название с души воротит: «Веселая история (Новелла)». Переборов, он стал читать. От первого лица. Некий «я» шагал по Москве, неся приобретенную в дом палку для занавески. Палка натыкала это «я» на микроконфликты с толпой, тут же, впрочем, взаимно вежливо разрешавшиеся. Необходимость занавески вызывала у «я» ностальгию по добрачному периоду и намекала на проблемы молодой семьи. «Говно», — отложил он газету. — «А «Ганц Кюхельгартен?» — оспорила она. — Нет, что-то в этом есть». — «Есть что?» — «Есть город! Новая ментальность проступает». — «В чем это новая? Отголоски тех же Шестидесятых». С прищуром она затынулась папиросой. «На твоём месте я бы отнесла на конкурс, скажем, «Шар» и «По

пути к дому». — «Что за конкурс?» — Он взял газету. Рядом с прогнозом погоды был анонс в рамочке. Литературная студия при МГК ВЛКСМ и Московской писательской организации объявляла о начале двухгодичного цикла. Зачисление по результатам творческого конкурса. «Тебе не кажется что это шанс?» — «Угу. Капитуляции». — «А в стол годами мастурбировать, по-твоему, триумф? Литература — это контакт, коммуникация». — «А Эм-Гэ-Ка, — сказал он, — Московской городской комитет». — «Но ведь не Госбезопасности — комитет?» — «Не понимаешь ты...» — «Прекрасно понимаю. Все тот же страх. Боишься!» Он выскочил из кухни и вернулся с бритвой. «Боишь?» Он выбросил лезвие. «Не имитируй мне Козлова. — сказала она. — Не смерти. Ты рождения боишься. Изначальный ужас».

Тем временем, отмахав пустырь, он вынырнул на тусклый свет. Казалось бы, уцелевший фрагмент старой Москвы, укромный приуазский переулок — однако не без трепета мы следовали за ним. Был ли то умысел лукавого? Документальным фактом остается то, что еженедельные занятия будущих российских литераторов происходили в столичном Доме атеизма. Он вошел за ограду бывшей дворянской усадьбы. Под высокими окнами особняка мерцал нетронутый снег. Ежась и перетоптываясь, на крыльце перекуривала стайка поэтов. Давным-давно и в Лужниках, и в Политехническом отгремели раскаты поэтического взрыва «оттепели»: стадионы обезлюдели, ореолы исчезли, нимбы угасли. Сквозь зиму прорезалось новое племя — «тихих лириков». Нахохленных, шеи втягивающих под торчащие воротники пиджачков, рассудительно погуливающих нечто в натур-созерцательном духе. Иронически взглянув на коллег, молодой человек одну за другой отворил входные двери бывшего особняка.

Свет, высота. Старинный мрамор. Суета, резонанс голосов. Ощущение, что из носу течет.

— С-сергей! — окликнули его из очереди в гардероб. — Ваше п-п-пальто!

Он сунул шарф и шапку, еще дедовскую, в рукав, вынул расплющенный рассказ и бросил пальто на прилавок перед собратом по прозе — кадыкастым, близоруким, мягкорунным таким блондином; и, кстати, тезкой. Гардеробная бабушка утащила пальто, сделала замечание за непришитую вешалку и щелкнула алюминиевым номерком.

— С-спасибо, С-сергей, — выговорил он, — вспыхивая от

неожиданного заикания.

Блондин Сергей сдал шубу своей жены, которая в отдалении промокала ноздри платочком, сдал свое пальто и, пряча номерки, взглянул своими добрыми глазами. Незабудковые, они у него часто мигали: тик.

— Д-д-да вы не волнуйтесь, — с кроткой доверительностью произнес он. — Не с-смертельно.

День его дебюта на студии был неделю назад, причем оппонировать выпало именно Юргенену. Тексты блондина были напечатаны сквозь новую ленту, через два интервала и на финской бумаге; но что было делать? Учитель словесности в миру, в прозе блондин оказался утопистом. Безмятежный исторический оптимизм царил в его душе. Впервые в жизни оппонент встретил кого-то, кто действительно верил — причем, не столько в официальное «светлое будущее», сколько в неминуемое торжество Эдема на Земле: лазурный горизонт, кудрявые рощи, светлые струи, бесполое любовники, тихо-счастливые матери, румяные дети и прочий антураж надуманного им в часы досуга рая. Сбросив балласт бытия, автор отлетал и празднично парил над Москвой середины 70-х — этаким самодовольным ангелом во плоти. Причем, написано все это было не вполне по-русски. Как в русскоязычном издании «Курьера ЮНЕСКО» — отдавало переводом уж Бог весть с какого наречия. Что было делать? После того как блондин сошел с трибуны, оппонент исполнил ритуал критической казни — в наищадающей, впрочем, форме. Еще и потому, что на занятия утопист являлся вместе с женой, тоже учительницей, но ботаники. Стыдливей, чем супруг, забивалась она в задний ряд, стягивая себя шалью в некий сокровенный, соперничающий комочек — скорее, сестринский или даже материнский по сокрытой сути. Что эта пара могла быть связана иными узами, помыслить было бы брутальностью.

— Вашими б устами.

— Ув-веряю вас: не с-смертельно.

— Нет?

— Н-не на этой стадии.

Всунув платочек под манжетку, его жена простуженно пообещала, одновременно вспыхивая:

— Мы будем за вас болеть.

Деликатно сутулясь, утопист повел ее под локоток в направлении зала — уже людного.

Сигареты остались в кармане пальто, и он снова получил выговор за оторванную вешалку.

Слоняясь вестибюлем среди полузнакомых лиц и фигур, он ощущал набрякшесть левой руки с трубкой рассказа. Лицо уже

горело — явно преждевременно. Усиленно затягиваясь тошнотворным сигаретным дымом, он остановился перед стендом с развернутой экспозицией на антирелигиозные темы. Карикатуры на Книгу Бытия — его первая, инфантильная порнография, неизбежная для поколения. Нет, неспроста сей безобидный комикс прогрессиста из Парижа был увенчан тут Ленинской премией: он ее, безусловно, отработал. Осмеянный миф о сотворении побивался версией науки, которая открывалась угрюмыми антропоидами. Завершал ее всесторонне развитый Новый Человек в строевом его марше к Будущему Всего Человечества. Над Новым Человеком был портрет Брежнева. Молодой человек двинулся обратно, скользя глазами по продолжателям, основоположникам, затем предтечам коммунистического учения. Томмазо Кампанелла в монашеской рясе. От послушания к тюрьме и бегству во Францию, от черной магии — к утопии «Город Солнца».

Был такой город в его жизни — за Окружной московской дорогой. Не утопичный, а вполне реальный город Солнцево Московской области, вырастивший свои шлакоблоки на месте деревни Сукино. Город-спутник, «спальный» город — как элегантно обозначают социологи этот тип концентрации вблизи мегалополисов. С поножовщиной на танцплощадке, с редчайшими новинками в книжном магазине, с тараканами в макаронах, отпускаемых в развес, с сине-зелеными цыплятами в канун праздников, с белым спальным гарнитуром из ГДР за витриной «Мебели», — не по карману никому, — с безобразиями, с христосованием на Пасху, с чистым воздухом, мистическими закатами и дальним шумом ночных электричек. Там, в Солнцево, стихия бытия царила на свободе: ни первого отдела, ни стукачей, ни даже признаков милиции. Не имеющий ни телефонов, ни такси, этот город страшно и отрадно далек был от столицы, от которой всего лишь полчаса на рейсовом автобусе. Там, на отшибе от альмы матер, он и снимал жилплощадь — для себя, запретных книг и пишущей машинки. Именно там его, схоронившегося, и отыскивали силы, превосходящие не то, что КГБ, но и само воображение. Они явились к нему перед закатом Первого мая — в виде химеры, сюда слетевшей прямо с парижской Нотр-Дам. Она была темноволоса, имела тело озорного отрока и говорила на всех языках, его родной включая. Она дала понять, что под предъявленным предлогом одолжить машинку с русским шрифтом (а еще лучше, если он на себя возьмет перепечатку дипломной ее работы /о Гоголе, кстати/) сквозит иной мотив — нечто вроде сезонного обострения неудовлетворенности существованием — чисто эстетического свойства. А там

и: «Говорят, вы пишете? Нельзя ли будет почитать?» Не без видов на идущую в руки победу, он тут же предложил ей текстов к чаю — и удалился свистеть на кухню, где закат. Свистел он долго и заливисто, ибо от соприсутствия парижанки находился в невыразимом по-другому состоянии.

Тем временем закат угас. Вернувшись, он, не включая света, уселся визави — и, к изумлению, был разгромлен. По существу представленных им образов. Поверхностных отражений самосознания — вот вам выбор, одно из двух, — либо боязливого, либо нечестного с собой. Нокдаун. Оправляясь, он пролепетал: «Помилуйте, но форма, стиль...» — «Ах, стиль?! — вскричала эта фурия. — Как способ избежать! Этот ваш набоковский комплекс: «Ах, артистизм! Пластичность парадоксов!» Стилевые змеи, свои же хвосты глотающие! Кольца ужаса. Никогда не задумывались о том, что движет вами по бумаге? О внелитературной обусловленности этого (трясла она рассказы) до последнего эпитета, последней точки; точки с запятой — в индивидуальном вашем случае? Страх правды — нет? Или, может быть, исходите из предположения, что эта вот сверхсложность, изошренно-симфоническая неподвижность — признак цивилизованности? Тогда вы ошибаетесь. Цивилизация — глагол. *Action!* Американцы пишут просто.

За окном зажегся огонек, сигнальный, на трубе теплоцентрали. Угловой сей дом обогнул автобус, и пол под ними затрясся. Снова все стихло. Из черноты оконного проёма веяло духом окрестных полей; явственно различался аромат расцветающих черемух.

— Какое уж тут действие! — в сердцах сказал он. — Атрибутивность тут одна.

— И тем не менее: эпитеты долой.

— И вместе с ними младенца из корытца. Если их долой, то от меня, пожалуй, ничего и не останется.

— Останется, не бойтесь.

— И что же именно?

Смуглое на свету, лицо ее теперь смутно белелось перед ним. С неопределенным акцентом она сказала:

— Я думаю, что страх.

— Страх?

— Может быть, и ужас.

Он честно повоображал: одно, другое...

— Да ничего я, в общем, не боюсь.

Уличающе зацокал ее язык, — кто его знает, может стать, раздвоенный на конце.

— Вот тот рассказ. Где сын-самоубийца на фоне мамы.

— «Минное поле».

— Ландшафты хороши, но мама ирреальна.

— Вы же не знаете прообраз!

— Но вы мне показали мальчика, которому я верю. Который безудержно, но хитроумно стремится в поле. Маме как бы вопреки. И без мотивировки. Предложить вам?

— Попробуйте.

— На самом деле, — сказала она, — ваш мальчик ищет исполнить ее желание.

— Нет! — возразил он. — Потому что мир жесток. Оставим его маму.

— Кому, радиопесням? Монументальной пропаганде?..

Он молчал.

— Это святое, не правда ли? Оставим, ладно. — Отложив рассказы, гостя поднялась. — Мне пора в Москву.

— Уже ушел.

— Что вы имеете в виду?

— Автобус на Москву. Последний.

— Такси?

— Не существует.

— А телефон? Я позвоню бой-френду, у него машина.

— Большевики еще не провели.

Она засмеялась и села обратно, и — мой ты Кампанелла — осталась на ночь, и осталась жить в осуществившейся утопии, и однажды ночью, в последних числах ноября, ужас отлепил его и выгнал босиком на кухню — с машинкой в руках, рычажки которой за безвременье простоя подернулись ржавью.

Ночной тот текст и распирал сейчас ладонь.

В плевательнице на полу стояла рыжая вода. Окурочка зашипела. Прерывисто вздохнув, он с хрипом прочистил горло и — темечком вперед — к проёму лекционного зала.

Он был полон. И освещен до рези в глазах, этот бывший бальный зал — еще и хоры сохранились. Но еще в прошлом веке отыграли свое крепостные музыканты, и с некоторых пор здесь правил бал совсем иной персонаж. Он шел, таща и растягивая за собой вдруг возникшую пуповину всеобщего внимания. Это и понятно: все они тут загодя обдумывали и предвкушали его, намеченного на сегодня. Боковым зрением он опознал влиятельную либеральную фигуру со стороны — критика Е\*\*\*. Профессия и репутация других посторонних — с комсомольскими значками не по возрасту — внушали известное сомнение. Всего в зале было человек семьдесят. За полгода занятий каждый здесь избрал свое место в соответствии с самооценкой. Самые

наглые, естественно, забили первый ряд — сразу перед столом президиума. Как бы стряхивая бремя внимания, он передернул лопатками под свитером и занял место с краю в третьем ряду.

Стол президиума был накрыт зеленым игорным сукном. За ним сидело руководство студии — члены Союза писателей В\*\*\*, С\*\*\* и поодаль — Р\*\*\*. Перед каждым из них на сукне лежала рукопись. Одна и та же: первая копия, третья и вторая. Каждый себе доставшуюся уже прочитал. Мнения, однако, были сокрыты под масками профессионального бесстрастия. Выложив кулак на стол, С\*\*\* говорил что-то на постороннюю тему В\*\*\*, который, молча внимая, важно смотрел в зал. Две выбритые складки — одна над другой — отложились у него под подбородком. Высоколобий Р\*\*\* с усами и бородкой а ля Иисус Христос медленно докуривал сигарету «Пегас» (малоудачная новинка фабрики «Дукат»). Незрячим взглядом интроверта смотрел он перед собой, не имея в лице ни кровинки. Молодой человек бесшумно перевел дыхание. На пороге решающего момента в его судьбе к нему вернулось хладнокровие. Резко пахнуло мускусом и польскими духами «Быть может» от сидевшей перед ним во втором ряду тучной девушки-пародистки. Узел волос на ее затылке был искусно сплетен из множества тугих смолисто-черных косичек. Вдруг она повернулась и сказала шепотом: «Все образуется». У нее было румяное, очень юное лицо. В ответ он прикрыл глаза, кивнул. За зеленым столом В\*\*\* сказал: «Начнем, пожалуй?» С\*\*\* выложил перед собой второй кулак и, повернувшись к залу, принял модный в те времена угрюмо-скорбный, «солженицыновский» вид. Р\*\*\* раздвинул спичечный коробок и затушил в нем окурочок. Трубка рукописи в руках молодого человека была обтянута резинкой, и он застрекотал ею книзу.

— Сегодня, — возвестил В\*\*\*, — мы обсуждаем прозу Сергея Юргенена. Я правильно произношу фамилию, Сергей?

Он поднялся.

— Правильно.

— Это ведь финская фамилия?

— В общем, да. Скандинавская...

— Значит, будете у нас сегодня в роли варяжского гостя. — Пошутив, руководитель вновь принял строгую мину. — Что вы выбрали для чтения?

— «По пути к дому».

— Это надолго?

— Минут на сорок.

— Тогда немедленно прошу на Голгофу.

Элегантная трибуна замыкала перспективу прохода.

Он взошел и оказался над залом.

Лакированная наклонная плоскость завершалась выступом задержки. Он развернул и утвердил рассказ. Захотелось вдруг взяться за края трибуны, но тут же он постановил, что по отношению к этому символу власти будет держаться без фамильярности — напротив, отчужденно. Он развернул плечи, выпрямился и взглянул с высоты.

Кровь ударила в голову.

О н и!

Он взял себя в руки. Бегло осмотрев ряды, из пяти женщин он выбрал русскую — как наименее заинтересованную предстоящим актом. Особа была странноватая. Абсолютно замкнутая. Являлась регулярно, но без видимого интереса. Ни записей не вела, и на обсуждениях отмалчивалась. Вот и сейчас, белея лицом, она пребывала на предпоследнем ряду — с видом прилежным, едва ли не по-школьному руки сложив, — и совершенно отсутствующим. Звали Эльвирой, в столицу приехала из Ульяновска. Еще говорили что пишет человек «нетленку». Ее он и наметил — в качестве барометра.

Он повторил название и опустил глаза:

— «Народ еще толкался у дверей первого автобуса, а тут вдруг подошел еще один 552-й, приостановился за первым, и Косточкин, как каждый в очереди, замер: откроет? или станет ждать, пока первый отвалит? Такое было мгновение.»

Эльвира осталась безучастной. Продолжая читать, он взглянул в ее направлении раз, другой, а потом вдруг увлекся и, выйдя из интонационно-сложного периода, на месте этой ледышки углядел лишь только вспышку, молниеносную, как свет болида: под напором эмоций авторское видение явно расфокусировалось. С другой стороны, надобность в показаниях извне отпала: он, как говорится, уже овладевал аудиторией. Не только критик В\*\*\*, но и лжекомсомольцы в штатском перестали брать его на карандаш, отложили свои хроники и обмякли в пассивном восприятии сюжета. Русских в первом ряду утратил ревнивый прищур конкурента и, осоловело глядя, ритмично выдвигал хоботок яркогубого рта. Потом и его, близкого, смыло. Что было залом и людьми — смутно стало и плывуще. Как водоросли на далеком дне. Приподнимаясь в трибуне на носки, ног под собой автор уже не чувал. Время от времени левая рука, то бесплотная, то словно бы чужая, откладывала дочитанную страницу. Обручем ему сжимало голову. Исходя в пульсациях височных вен, она все нарастала, разбухала, эта голова, — как у макроцефала, как у зародыша — и было нестерпимо. Испанская пытка — было. Сквозь раскаленное кольцо которой он напирал,

прорывался, тужился — и вдруг она прошла. Голова. Прошла совсем, как отскочила, отвалилась. И только голос — прорезался. Единственный отныне его представитель, он уходил и возвращался, и снова наступал, раскрывая этот зев, наполняя этот зал, забивая это жерло до приоткрытой двери выхода, куда заглядывала старушка в синем, — и бросая. Отнимая, изменяя, возвращая обратно обещание завершения, финала, припадка, пароксизма, последних содроганий, конца. И это нарастало. И должно было — по замыслу, осуществленному на сизой от сигаретного дыма кухне два с лишним года назад — оборваться произвольно.

— *Да тихо ты, Бога раги!.. — прошептал Косточкин с яростью, внезапности которой он даже сам поразился.*

Вот так. Без воскресения, без гибели — в ничто. Споткнувшись о фразу, которая и оказалась — вы не были готовы? — последней.

Он собрал рассказ.

Спустился.

Сел.

В сложносочиненной его ноге подергивался некий мускул. Глаза застлало пеленой, и он еще не слышал ничего: по обе стороны мозгов добухивала кровь. Завел за шею руку, оттянул ворот — из-под него, возможно, повалил пар. Рубашка под свитером прилипла к лопаткам. Позвоночник больше не держал и словно бы растворялся; он сполз по вогнутой спинке, вытянул ноги под сиденье пародистки. Обернувшись, она сверкнула глазами:

— *Т а к о е* было мгновение!

Сзади его ухватили ручки представителя второго, пока еще не рожденного поколения «деревенщиков»:

— Ну, кореш, ты меня достал!

Шумный зал расслышал и засмеялся — даже Р\*\*\*, белогвардейские черты лица которого тронула краска жизни. Только Русских не смеялся. Обычно розовенький, он был, как мел. Но и он смотрел совсем другими глазами.

Во время обсуждения автор не поднимал головы. Уши на ней вздулись и пылали. Этой всеобщей любви он хотел, вождедел даже, он спровоцировал ее; а теперь ему было стыдно. Провалиться желалось. Скукожиться и под пюпитр.

Официальный оппонент Оседлов, единственный из них всех «выездной», бессвязно, но пылко делился впечатлениями от прочих рассказов автора, прочитанных им, спортивным переводчиком, в кресле авиалайнера по пути в Канаду и обратно через

Копенгаген.

Отнюдь не «выездной» Крузенштерн, баскетбольного роста и атлетического сложения кандидат технических наук с иссиня-черной бородой, огромной и в мелких колечках, благодарил автора за передачу ему, Крузенштерну, своей э н т е л е х и и — в чистом виде и в аристотелевом смысле. Среди студийцев он был единственный при галстук и запонках на ослепительных манжетах. Писал он сам «черные» монологи от лица мерзавцев разных профессий, как-то: «Таксист», «Врач скорой помощи», «Хозяин кооператива», «Служащая паспортного стола», «Блюститель порядка» — и тому подобные физиологические очерки состояний неограниченного цинизма в действии. Потрясший всех под Рождество как автор, сейчас он снова всех смутил виртуозным спичем с выходами в эстетику античности.

Всех — кроме пародистки. Глазом не моргнув, девушка дополнила Аристотеля его учителем Платоном, «Диалогами», диалектикой и принципом сократической иронии, «этой вечной повитухи истины, современный образ которой и был нам сегодня предложен». Она плотно уселась обратно, и на этот раз аромат ее духов «Быть может» ноздри автора не без трепета восприняли в смысле безоговорочного решения в его пользу. «Но пародию я на вас напишу», — шепнула девушка, подтверждая выводы обоняния.

Остальные выступали проще. С задних рядов женский голос вдруг возразил: «Но ведь вопрос в итоге остался неотвеченным?» — не Эльвира ли попала в ахиллесову пяту? Все замолчали, сердце замерло, разоблачение казалось неминуемым... но зал взорвался: «Ответ не главное! Поставить — главное! Задать!» Животом вперед поднялся В\*\*\* и, багровея, раздуваясь, глядя вдаль на представителей горкома, задиристо напомнил слова политэмигранта Герцена: «Этого общества мы с вами — не враги. Этого общества мы с вами — боль!» Гул, хлопки одобрения. «Да, — сказал «деревенщик». — Отзывчивость к боли других у него явно не по годам. Наверное, Юренив пережил — дай Бог каждому!..» Тогда судебный медик с погонями майора милиции, автор юморески о попытке угона троллейбуса в Турцию, предположил обратное: быть может он, Юренин, по молодости лет и сам не ведает, что сотворил?

Стремительно — все замерли — поднялся Р\*\*\*.

— Какая молодость, помилуйте! Наш первый, вечно юный наш роман — «Герой нашего времени» — был закончен его ровесником! А годом позже Михаил Юрьевич уже судьбу на вызов приглашал! Мы с вами слушали рассказ, который венчает вот эту, — положил он руку на рукопись, — книгу. Она напи-

сана, по нашим сегодняшним меркам, совсем еще юным человеком. Но автор ее обладал уже тем, чего и до седин можно не нажить: своим видением мира. Я слушаю вас вот уже полгода и должен сказать, что сегодняшней день для меня особенный. Благодаря совершенно неожиданной, тем паче — в этом доме, встрече с человеком, который пишет не всуе, а вот именно ведая, что творит. Благодаря встрече, — пауза мертвой тишины... — *с писателем*. Да! И будь моя воля, я бы тут же принял этого писателя в наш профессиональный союз. Впрочем, и я не совсем уж беспомощен. Когда придет время, рекомендацию вам дам с удовольствием. Самое же главное — помочь с изданием этой книги. Надеюсь, коллеги меня поддержат. Иначе — зачем все это, собственно говоря? Эта студия — и вообще?

Р\*\*\* сел. Где-то скрипнуло сиденье. «Книга? Писатель? Этого не может быть, — думал он. — Это не со мной все. Не про меня». За спиной потрясенно произнесли: «С клена падали листья ясеня...»

— Этот дом, — сказал С\*\*\*, — не рухнул, кажется, только потому, что «Бог» в рассказе произнесен ни разу не был...

— Был! В междометии «ей-Богу», — вставил Русских, внимательный же человек.

— ...но лично я воспринял рассказ как аргумент. От противного, как говорится. Да? Только что из братской Польши переслали экземпляр моей книжки. Издали они так: на обложке икона, простреленная пулей. По-моему, все ясно, нет? Поскольку их, рекомендаций, надо три, я дам вторую. Если устрою, конечно, как рекомендатель.

Опустившись, С\*\*\* прикрылся ладонью, как бы совестясь своего пафоса; задавленный авторитетами недавний провинциал, он имитировал не только Солженицына, но и — а ля Хемингуэй — «боязнь высоких слов», уже немодную в его идейной группировке, предпочитавшей Фолкнера и Вульфа. Но С\*\*\* был еще робкий патриот, только нащупывающий верный путь в столичном плюрализме того безвременья (откуда выход знали только демоны и мы).

— Для меня, — сказал В\*\*\*, — этот вечер в чем-то символичен. В чем-то — по большому счету. Тут мои коллеги, каждый по-своему, выразили свои чувства по поводу учреждения в котором приходится еженедельно собираться и работать. Разделяю всецело! Считаю безобразием, товарищи из горкома, что во всей столице не нашлось нам, литераторам, более соответствующего пристанища. Крещеных людей в этом зале, возможно, раз-два и обчелся. Однако все мы с вами имеем честь принадлежать к словесности, которая в купели родилась! Отрадно, что

на исходе тысячелетней ее истории мы начинаем об этом вспоминать — пусть и под столь неподходящей крышей. Ну, да ладно! что уж там. В конце концов, важна не форма, а содержание. Пойдет в рост, а там, Бог даст, еще при этой жизни мы встретимся с вами не в этом Доме, а во Дворце Духа! — Раздувшись до отказа, руководитель перевел дыхание и сбавил тон. — Третью рекомендацию я вам дам. Но вступление в союз, это не завтрашние заботы. Книга — вот точка приложения усилий. Обнадеживать вас не стану. Работаете вы на грани публикабельного, так что пробиться вам будет непросто. Мы, разумеется, сделаем все, что в наших силах. Но в литературе российской, как вы и сами знаете, власть писателям пока еще не принадлежит. Надеюсь, терпения дожидаться у вас достанет. Надеюсь, все тут сказанное сегодня голову вам не вскружит. Не почивайте на лаврах. Сергей! Долбите! Это относится ко всем. Рождение писателя не только право, но и главный его долг. Не забывайте об этом. Долбите! бейте лбом! Авось пробьете.

Уже все поднимались, хлопая сиденьями, когда к трибуне вышел человек и поднял руку. Вместо творческих семинаров, объявил он, в следующий раз будет лекция, общая для всех — прозаики, поэты, драматурги. Тема пока еще неизвестна, явка — строго обязательна. На сером лацкане поблескивал значок в виде миниатюрного знамени с профилем Ленина; сам же он имел твердо очерченное, аскетически-суровое лицо. Темно-сизые скулы напоминали пистолет «ТТ» и облик летчика с коллекционного бумажного червонца тридцатых годов. Инструктор по литературе Петров мог бы сойти за несгибаемого ретро-сталиниста; образ портили надетые зачем-то фривольные солнцезащитные очки.

Исчезнуть в темноте не удалось: от Дома атеизма за ним валила свита. Вокруг наперебой предлагалось продолжить неофициально, выдвигались названия ресторанов, еще открытых алкогольных точек («Мотор — и на Смоленку! Во Внуково и назад!»), завязывался конкурс «хат» (с малиновым вареньем к чаю и дедушкой-библиофилом, с отсутствием жены и датским фильмом, с фотостудией на дому и парой лесбиянок из кордебалета на той же лестничной площадке и даже — с обсуждением сборника «Из-под глыб») — он устоял. Устал он. После «Таганской» свита поредела, но и после «Павелецкой» его все теребили (предложением сочинить в соавторстве сценарий, предложением «сочинить ему дублон» или, по крайней мере, блейзер для будущих визитов в ЦДЛ). Предпоследний, отваливая на «Проспекте Маркса», предагал вложить уже вы-

численные три тысячи, которые он получит за книгу, в какой-то сомнительный «верняк» — распространение «эровских» ксерокопий Апокалипсиса: «Через год на «мерседесе» будешь ездить! Как Володя!..» — «Не в том беда, что гедонисты, а в том, что — графоманы, — сказал Русских. — Я докторскую защищаю на той неделе. Давай дружить домами?» — и соскочил на «Маяковке», такой пострел. С облегчением он взялся за поручень, но тут от темных стекол с двойным «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ» повернулась некто в серо-голубой дубленке...

— Эльвира?

Он в первый раз увидел собрата по перу в упор. Какой «собрат», о чем ты? Бледная, с порами сквозь тон, уже повидавшая виды, но еще с глазами — наивной, выплаканной голубизны. И угрожающе-восторженными. К лону голыми руками прижат мужской портфель.

— А я не знал, что вы по этой ветке.

— Я по другой. Неважно. Просто я хотела вам сказать. Сегодня вы так раскрылись... Вы, наверное, смелый человек.

— Эльвира, это просто роль. Известного бесстыдства требует. Ваш день придет, откроетесь и вы.

— Я? Никогда!

— Придется. Молва гласит, у вас в работе исторический роман?

— Хотя мне первый муж московский и прививал пороки, я не эксгибиционистка: нет! Не исторический. О современности роман. Но там я как бы — из будущего. Ракурс там. Ретроспектива. Вы знаете латынь? *Sub specie aeternitatis*. Ну, в общем исторический, вы правы. Только концовки еще нет. Я вам прочту. У вас ведь есть кофемолка?

— Есть, — опешил он. — Ручная.

— Кофе у меня с собой, но в зернах. Вы по-турецки любите? Ах, да у вас, наверное, жена-ребенок? Я тоже без угла сегодня, такой огромный город, правда? а некуда приткнуться, но что поделывать, да? Но вы меня прочтете? На ночь? — Воротник ее дубленки был отстегнут, под бело-зимней кожей горло пульсировало тонко, голубым. Ломая ногти, она пыталась отстегнуть застежку на боку портфеля.

Поезд вылетел из тоннеля.

Портфель распался, он был набит с трудом — червонцы, вата, колготки, зубная щетка без футляра, закопченное дно болгарского кофейничка, рукав махрового халата, сигареты, косметика, червонцы, резиновая груша с черным клювом. «Где же она?» — вытаскивалась из-под всего тетрадь и лепetalось про версии финала, вот он прочтет, он ей укажет оптимальный...

Двери за ним еще не съехались. Он резко оттолкнулся от поручня:

— Моя станция!

Выскочил и повернулся. Согнувшись, будто в живот ударили, девушка прижимала к себе свое барахло, глядя поверх всего с какой-то собачьей тоской.

— Сережа, я пропала, — сказала она из вагона.

— Эльвира, я обязательно прочту. Это прекрасный роман, я уверен. В другой раз — договорились? Моя станция!

— Не понимаешь, да? *Ich bin verloren. Ich bin am Ende!*

— Что?..

Она смущенно улыбнулась. Двери съехались, оставляя его — наконец — в одиночестве. Он еще догонял уплывающие стекла — «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ / НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ», бежал и делал гримасы, ободряюще-заверительные, все, дескать, будет, сбудется и состоится — в другой раз! — и махал, как отмахивался — и Эльвиру унесло. Окна сплылись в ослепительную полосу. Поезд исчез. Урчащая тьма дыры в перспективе умолкла. Он отвернулся. Безумный мир.

Это была станция «Динамо».

Не его.

Прислушиваясь к отзвуку своих шагов, он направился к выходу на поверхность.

Вдали от победившей Родины, невдалеке от кирхи XIII-го века, вуаль откинув, женщина вскричала по-немецки:

— Боже мой, умоляю! Спаси нас, Курт!

Она была уже на сносях — и ужас захлестнул во чреве уже готовый к выбросу во человечество плод майских страстей.

Тот, кто был назван Куртом, — лицо эпизодическое, даже однократное, — несостоявшийся по возрасту вервольф, а ныне сотрудник гаража комендатуры, жал на тормоза и обливался горячим юным потом.

*Opel Kadett*, столь лихо вылетевший из-за угла, волчком крутился по обледенелой мостовой; то возникал, то исчезал в глазах у женщины серп месяца. Январь в начале. Лед.

Еще достывал на этой земле Взгляд Ужаса, но мы уже витали в избранных местах; к ним относился этот городок — восточная столица Бранденбурга, аванпост рейха, без малого три года назад оставленный Третьей танковой армией генерала Хассо фон Мантейфеля. Еще важнее событие произошло здесь сто семьдесят лет назад, когда сей город разрешился безумцем Эроса и Смерти, автором бессмертного «Принца Гомбургского» и парного самоубийства в компании с девицей Фогель... Вы угадали: Ген-

рих фон Клейст. До этой ночи и ее событий единственный был литератор, подаренный вам Франкфуртом-на-Одере.

Но — к фактам. Полтора часа назад на КПП при выезде на берлинский автобан младший чин по фамилии Долбонос путем обстрела затормозил подозрительную легковую машину марки BMW. Долбонос гневно передергивал затвор, выбрасывая гильзы: не дать уйти врагу! Шпиону-диверсанту! Садил сблизил и с наслаждением злобным слышал, как прошивают пули фрицевский металл: врешь! Не уйдешь! Потом он перезарядил винтовку и подбежал к машине: «А ну, выходи! Руки вверх!» — «Да тихо ты, мудака, — снутри ответил ему шофер и снова вклинился промежду спинок: «Товарищ старший лейтенант, вы живы? Товарищ старший лейтенант?..»

На заднем сиденье, под шинелью, пластался офицер.

Он был еще не мертв.

Его звали Сергей Александрович. Ожидаемому со дня на день сыну он приготовил имя Александр. Не только в честь будущего деда, но и чтобы — Александр Сергеевич. Как Пушкин. Полчаса назад он, держа ладонь на животе жены, заверил, что вернется послезавтра: «Ты избегай волнений, ладно? И, Бога ради, Сашку береги».

Не лед то был, а Дьявол, отыгравший у нас отца; занос же разрешился в пользу сына — и у Курта, обретшего сцепление с дорогой, враз отлегло от сердца. Большого, увы! мы сделать не могли, а посему, вдыхая тлетворный аромат бензина, пассивно полетели в черной машине по направлению к комендатуре, где женщину ждала заведомая ложь, что «будет жить!» Наутро, в госпитале будущая мать была обманута и умирающим: «Я выкарабкаюсь. Вот увидишь. Родил мне только Сашку...» С этой мольбой и умер — офицер поневоле, сугубо штатский человек из Питера, специалист по наведению мостов.

Деваться было некуда — и он родился, бессмысленный младенец мужского пола.

В чужой стране, в холодной комнате, они лежали на мраморном столе втроем: обоссанный, парной комок орущей красной плоти, суровый пистолет «ТТ» и урна с прахом.

Вот так мы и начнем разгадку своего сюжета.

Он возвращался, его трясло. Ни души, вдоль улицы стояли запаркованные на ночь троллейбусы, деревья в парке исходили капелью, перед глазами все сверкало, переливалось и было хлипким и хлюпало, ботинки мокрые насквозь, он возвращался под мглистым излучением фонарей, а выше — над уснувшей уже столицей, обреченной на неразгаданные сны, — черно было и непроглядно. Вот так мы и начнем. Он превратился в пепел;

я, быть может, выкарабкаюсь. И шлепал по беспутью тающему. Топь, наводнение. Как перезамороженный холодильник, Москва вдруг потекла: оттепель среди зимы.

Слыша ее, подбегающую в шерстяных носках, он стоял перед дверью. Сейчас она: «Ну, как?» А он с иронией: «Нет, я — не Байрон. Но усну сегодня знаменитым...»

Распахнулась дверь, и Эсперанс задыхаясь:

— Идем скорей.

— А что случилось?

— Изгнали Солженицына!

Он захлопнул дверь плечом. Коридор этой квартиры, темный и длинный, сворачивал налево, в ослепительную кухню, где посреди на табурете сидел Козлов — уже на взводе. У себя на коленях он держал «Спидолу» с разбитым корпусом и выдвинутой к потолку антенной. Забывая голос диктора, подвывала глушилка.

— Вот так-то, брат Серега, — сказал Козлов. — Извергнули Исаича!.. Давай? С морозцу в самый раз.

Заодно с транзистором Козлов принес бутылку.

— Какой «морозец»? — пробормотал он, стаскивая шапку. — Растаяла столица.

— Теперь замерзнет! — пообещал Козлов, отмеривая по стаканам. — Вожди Союза, они народ крутой. Но тоже и с разбором: могли ведь и не в Бундес, а в Потьму загнать. Юрок, наверно, Ленке, отсоветовал. Ты как считаешь?

— Никак он не считает, — вмешалась Эсперанс. — Он в шоке.

— Аналогично и со мной! Являюсь, значит, своевременный и трезвый. А она мне, Фирка, как шарахнет по мозгам! Я сразу повернулся и за угол. В отдел. Там дверь уже железом накрест. Ну, что тут делать? Тормознул таксиста. «Есть водка?» — «А червонец есть?» У меня всего трояк. «Побойся Бога, — говорю, — на горе наживаться!» — «Что у тебя за горе?» — «Не у меня: у нас! У русских. Ты русский человек?» Он было залупнулся: «Не видишь, что ли?» — «Тогда и у тебя,» — и, в свой черед известие промеж рог! Что, мол, Иван Денисовича реваншистам выдали. А он читал, он знает! К тому же тесть в Рязани. «Ну, это, лял! — он говорит, — как если б Сталинград не мы — они у нас отняли. Национальный траур только объявить». Ну, и раз так: сошлись по себестоимости. Что отошел? Тогда держи.

Он взял и стиснул грани.

— За что?

— А я скажу. *За возвращение домой.* Чтобы мы все вернулись, я имею: ты, я, она, Иван Денисович... Когда-нибудь. До дна!

Спустя неделю об этом знала вся Москва. Приближаясь к Дому атеизма, он невольно усмехнулся: невдалеке был припаркован микроавтобус «Бюро добрых услуг».

Зал был уже полон. И угрюмо молчал. Табу на имя изгнанника никто, казалось бы, официально и не объявлял, но оно как-то само возникло и утвердилось, стоило собраться вместе. Только раз оно было нарушено, и то из президиума, откуда перед началом донеслось нервное предположение «национально мыслящего» критика К\*\*\*: «О Солженицыне вопроса, видимо, не избежать... И что тогда?» — «Ответ давать, Вадим», — сказал авторитетно его сосед, спокойный, как крупье. Потом с трибуны зачитали лекцию. Началась она так: «С кем вы, мастера культуры?» Взволнованный вопрос основоположника социалистического реализма в наши дни актуален, как никогда...» Через сорок пять минут (установившись в циферблат своих золотых швейцарских часов, изначально принадлежавших Домингесу, самому знаменитому из тореадоров XX века, молодой писатель обдумывал свой выбор) было предложено задавать вопросы. Но вопросов ни у кого не было. Всем все было ясно. Даже микроавтобусу, который, осознав, что услуги не понадобятся, исчез до конца занятий.

Было жутко холодно. И на этот раз из Дома атеизма все расходились молча и поодиночке. Только снег под подошвами протестующе взвизгивал.

— Эльвиры и сегодня не было, — ни к кому в особенности не обращаясь, нарушил он затянувшуюся паузу. В присутствии Петрова эти паузы сводили общение к каким-то обрывкам — надуманно-фальшивым и мучительным. Однако если б не Петров, они бы так и не узнали, что, несмотря на поздний час, правомочные люди имеют возможность расслабиться за стойкой коктейль-бара, уютно затаившегося на одном из предпоследних этажей отеля «Россия». Коктейль «Московский» оказался крепок. Пошевеливая соломинкой оплывающие кубики льда, он посмотрел в окно: почти интимно, ночниками, светили близкие звезды Кремля, а над ними — словно бы поживаясь — по-весеннему несмело обнажились небесные; и он подумал вслух.

— Эльвира? — поднял голову Русских. — Почему не знаю?

— Ну, как же? Та блондинка.

— Еще интересней. Искусственная?

Он подумал.

— По-моему, от природы.

— Этих предпочитают джентльмены. Меня же лично заводят крашенные. Причем не первой свежести, а этак двухнедельной. Чтоб от корней темнело. Они, как правило, уступчивы донельзя. Эх, пергидрольные мои! (Петров не реагировал.) У Хема — помнишь ге-ни-альнейший рассказ. Нет, не *The Killers*. Другой. Ну, как же он?.. Скажи мне, западник?

Петров оспорил сбоку:

— Какой он западник? Юргенен — он наш.

— Она еще роман писала, — заклинился Юргенен. — Исторический. Единственная, кто еще не обсудилась.

— Такая — не от мира сего, но себе на уме? Ну, помню, помню. Далась тебе эта фригда! не пришла и не пришла. Она уже с зимы не ходит.

Петров не выдержал:

— И не придет.

Всем корпусом он повернулся к инструктору по литературе.

— Откуда вам известно?

— Только чтоб между нами, да? — Отложив соломинку, Петров проглотил коктейль и вытолкнул в стакан обратно кубик льда. — Ее убили.

— Эльвиру?

Петров кивнул.

— То есть как — «убили»?

— Зверски.

Вокруг было уютно. В тишине далекий бармен бережно перевернул страницу журнала «Тайм». На этот раз нарушил паузу Русских:

— Что означает в наше время «зверски»?

— Детали? — Петров подвигал желваками. — Они не для печати. Лыжники ее нашли в лесу. Труп, то есть. Разъезженный в лепешку протекторами «Волги». Удалось установить, что перед этим ее насиловали и глумились. Группой. В том числе, при помощи бутылки из-под шампанского. Французского — может, из «Березки». Кто? Неизвестно. Есть версия: была завязана с какой-то мафией. Но вот с какой? Сегодня имя им, как говорится, легион. Мотив там был: отсутствие московской прописки. Ей могли пообещать устроить, естественно, за тысячи. А там... Но тут уже, как говорится, область серых пятен. С черной дырой посреди. Короче, следствие зашло в тупик.

— А роман?

— Никаких бумаг не нашли. Вообще ничего. — Петров снял темные очки и энергично растер подглазья, преждевременно набрякшие. — Одно мне ясно: за этим делом новый социальный

тип. Нэпман, что ли, вновь прорезался. Потребители, наслажденные — н-ненавижу. Эх, вернуться бы в те годы: «Ваше слово, товарищ Маузер!»

Русских осведомился:

— По основной специальности вы кто?

— Я? Я юрфак кончал, — с достоинством ответил инспектор по литературе и — дужками назад — надел свои «макнамары». — Только, прошу вас, никому. Эльвиру имею в виду. Меня предупреждали... Во избежание страстей.

— Какие уж там страсти! Даже я, с моей визуальной памятью на блондинок...

— Так что: вот так. — Петров смотрел в окно. — Вот вы все «37-й год, 37-й год!» А звезды эти, между прочим, именно в том году зажглись. На Спасской, на Сенатской...

Звезды озаряли красным указанные башни восточной стороны Кремля. *Свет мира*. Но пока еще не всего.

Русских сказал учтиво:

— Курьезно. Я не знал.

— Мало кто знает. Афишировать не принято. У нас же нынче все с оглядкой: что Запад скажет. Себя сами стыдимся. Но ничего! Придут иные времена, взойдут иные имена. — Недобро двинув твердо-вороненой щечкой, он допил растаявший лед. — Есть мнение, и даже предложение... Не против? В смысле повторить?

Швейцарские часы напоминали, что сроки вышли.

Коллеги отказались.

Все трое вышли из отеля и остановились в зоне света. Петров был в модном кожаном пальто. Он поднял воротник.

— В какую сторону, литература?

Ей было, разумеется, в другую.

«Москва» отказала не мотивируя, «Аврора» тоже, «Наш современник» за «стилистическую несовместимость», «Дружба народов» за «солженицыновские интонации», за то, что «много пьют» и «отталкивающе физиологично рожают» — и год прошел. С концом зимы возникли надежды в «Студенческом меридиане» и «Литературной России». Обе внезапно оправдались в начале апреля: «Ставим в план. Считай, что состоялся!» Дебют был неминуем, оставалось дожидаться. Но эта неизбежность была уже не в силах хоть что-то воскресить. Слишком далеко зашел процесс. Настолько, что возникнуть предстояло мертворожденным. Увы. Об этом, впрочем, никто не знал. Кроме него.

Было тепло и поздно. Вместе с Минераловым (он же Русских)

они шли вверх по улице имени автора романа «Мать» и говорили о концовках. Потом и об оргазмах, только в порядке исключения, конечно, дающих «много плода», но как-никак, а мы с тобой обязаны тем стародавним, растворившимся уже в огромной дыре небытия — как говорят французы — «малым смертям». Обязаны, не спору. Только чем? Жизнью, мой друг. Историей нашей.

— Свою, ты помнится, в «Вечерке» назвал «Веселой».

— Читал?

— Имел удовольствие.

— Мой самый первый рассказ. Из написанных и, к сожалению, из напечатанных. Не тронули ни строчки, между прочим. Вот только, тут ты прав, название сменили.

— А было?

— Антонимично. «Грустная».

— Ты согласился?

— А ты бы нет? Да хоть и чертом назови, но дай в набор.

Шагая, он молчал.

— В известном смысле, — сказал задетый за живое Минералов, — творцы Истории ведь все равно не мы. С членским билетом или нет — такие же ее объекты, вон как они. Надеюсь, ты не претендуешь на роль Меча Господня?

Вместо ответа он пнул по водосточной трубе. Несильно — но от раструба вверх труба вдруг загудела, как органная. Гул нарастал, этаж за этажом проталкиваясь к крыше. Он поднял голову. Попутчик крикнул, отскочил, а он увидел собственную смерть. Из-под карниза, отцепившись, всей черной готикой сосулек в зрачки ему летел огромный сталактит. Откуда он? весной. Ну что ж, закономерно. 27. Фамилию теперь давать придется в рамке. О Господи, моя любовь! В лицо морозно дунуло, и он закрылся локтем. И вовремя: его ударило. Но снизу — взрывом. Осколками.

— Кровь, — указала женщина.

Он взял протянутый платок и приложил ко лбу.

Выдергиваясь из стены, труба гремела и тряслась — сквозь жесть проталкивалось что-то, упорное и злое. Потом, как в пароксизме, на тротуар стал извергаться лед. В отличие от аспидно-черного с изнанки фундамента, промазавшего по герою, этот, законсервированный до весны, выбрасывался под ноги кристаллически-чистым. Не лед — берлинская лазурь. Неистощимо-обреченные содрогания уже переходили границы пристойности, что начинало вызывать соответствующие комментарии со стороны опомнившихся полуночных гуляк.

# НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Памяти

Юрия Трифонова и Михаила Демина

Там все не так...

Гоголь, Страшная месть

Он позвонил наутро:

«Старик, тут говорят, тебе вlepили *скок*?»

Я подтвердил: «Если ты это имеешь в виду».

«А сам-то знаешь, что это такое? Будешь читать мою книгу, там я подробно описываю. Я же был *сочкарем*, старик! В сорок шестом однажды, на Северном Кавказе...»

Он *тискал рbман*, я внимал. На Северном Кавказе аналогичной жертве вдобавок размозжили лоб килограммовой банкой с халвой. Мне не было смешно. Скачок с его спонтанностью к моему случаю не подходил. Он тоже перестал смеяться:

«Что, *по наводке*?»

Я рассказал ему кое-что об одном «национальном» кафе на другой стороне моей улицы. За стойкой, под полом, куда однажды мне предложили спуститься всего за пятьдесят франков, по добрососедству, там оборудован бордель в одно койко-место.

«Все ясно. Закрыть этот «Сезам»? Звоню сейчас своим сербoхорватам на Монмартр. У них Эм-Ге».

«Пardon?...»

«Машиненгевер. Будь спок: солидный инструмент. Так как — звонить?»

С той душной ночи, когда, выключив телевизор, мы услышали из окна взрыв ликования на площади Бастилии, где левый Париж дожидался результатов выборов, вот именно с того момента минуло полгода — явился 1982-ой.

Новый, социалистический год начался ударом ниже пояса. Хозяин квартиры решил не продлевать контракт — в связи с ликвидацией всей своей недвижимости перед убытием в *les Etats-Unis*; конкретно — в Бруклин. Кроме этой двухкомнатной квартиры в доме XVI-го века, вся его недвижимость располагалась на соседней *rue Charlot* — квартира с парализованным тестем, депрессивной женой и музыкально одаренной младшей

дочерью (старшая, философ, находилась в разрыве), и — ниже этажом — швейная мастерская, где с десятков желтолицых беженков от азиатского коммунизма строчили ему прибавочную стоимость — при этом весело щебеча. До весны — до 1 марта — выселить жильцов, да еще с ребенком, в этой стране он не мог еще по наполеоновскому закону. Об этом он, разумеется, знал. И сваливать на улицу с пожитками он не требовал, а просил — как о заслуженной им услуге. Вскользь пробросив несколько писательских имен — Эмиль Золя, Владимир Короленко, — он напомнил о принципе интернациональной солидарности жертв. Его дед с его отцом бежали с щирой Украины, отец с ним — из Венгрии, а вот сейчас пришел черед и ему, месье Шнайдеру, выводить свой род из-под угрозы — благо в Бруклине был брудер.

Что тут поделывать? Мы обещали не вставлять палок в колеса. В перспективе переезда — пятого за четыре года парижской жизни — в ванной появились первые картонки из-под *Perrier*. По ночам я приносил в них пищу из круглосуточного супермаркета возле Бобура. Куда деваться при этом — было абсолютно непонятно. К тому же и без денег. Эта неразрешимая забота задвинула на задний план угрозу, которую опережающе, наследственным сейсмографом, чуял месье Шнайдер. В нашей ситуации было не до метафизики. А предстоящая национализация моего банка, месяц назад отобравшего у нас чековую книжку за уход в минус на жалкие сто двадцать франков, меня как-то не омрачала. Вопрос же обобществления жен на повестке дня пока еще не стоял.

Жуткий, жуткий был вечер. Погода из тех, когда говорят, что хороший хозяин собаку за порог не выпустит. Мы и не выпустили: наш Шогун, годовалый скоч-терьер с ярлыка общеизвестного виски *Black & White*, остался дома. Он был блэк — и подошвой сапога я осторожно утопил его морду в темноте на кухне и закрыл дверь. После чего осмотрел комнату.

— «Семьдесят третий» мой где?

— Зачем он тебе? — спросила строго моя Констанс.

Я побренчал патронами в кармане штанов.

— Орехи колоть.

— А! знаю! — вскрикнула Беата.

Уже в шубе, она бросилась в свою комнату, включила свет и стала рыться в бардаке. Я возвысил голос:

— Что он у тебя там делает, а?

— *От государства*, — произнесла Констанс, — защищаться бессмысленно. Если государство приняло решение убить эмигранта, то оно убьет. И нечего таскать тяжести.

— Причем тут оно? В этом квартале у меня друзей хватает.

— И потом, я принципиально против оружия в доме, где растет ребенок!

Тем временем ребенок приволок мне револьвер. В то время я обладал французской общевойсковой моделью образца 1873 года. Слиток полированного металла весом 1,18 кг. Барабан на шесть патронов калибра 11 мм. При всех своих убойных данных был узаконен в качестве коллекционного.

Я взвел курок и ахнул: упругий спуск болтался, как...

— Ты что, его разбирала?

С яростью Беата отказалась:

— Это Кристель!

Кристель с рю *Pastourelle* являлась младшей дочкой мамы-уборщицы. Папа-итальянец был у нее в бегах. Провернув револьвер на пальце, я оставил его на краю стола рядом с электрической пишущей *IBM*. И выключил свет.

На лестничной площадке двоим не разминуться. Констанс с Беатой спускались, а я, запирая, старался не вдыхать. Дверь соседа была приоткрытой — как всегда с наступлением тьмы. Освещается светом с лестницы — своего у него нет. Ни электричества в комнате, ни сортира: срет в ведро, которое выносит утром, а ссыт, случается, в камин. Камин в его норе — в человеческий рост. Подергав дверь, я заглянул в источник вони. Квартальный дурачок, тридцатитрехлетний сын клошаров, пропивших свою винную лавку плюс над ней квартиру и переселившихся в метро, Себастьян как раз вливал в себя вино из горлышка пластмассовой бутылки. Стоял и, запрокинувшись, обеими руками держал два литра. На фоне заливаемых сверху донизу стекол силуэт его был обведен сияющим ореолом. Тоже отмечал в одиночку. Впрочем, праздник у него перманентный.

Я снял с перил наш зонт и наполнил пролет грохотом. Внизу, под сводами туннельчика, Констанс и Беата ждали меня с пальцами на губах: «Тс-с...» В нашем патио дождь колотил по жестяной крыше пристройки, не щадя при этом и запаркованный при входе в эту обитель хулигана японский мотоцикл с раздутыми серебряными жабрами и сверкающим зеркалом заднего обзора. «Что?» — шепотом спросил я и услышал сквозь бой дождя нечто столь же невероятное, как советское мое детство первой половины неоправдавшихся 60-х, как слезы первые любви, которые глушил подушкой девятилетний пионер, слушая сквозь стену гостиничного номера, пожалуй, первую на памяти оргию. О Господи, как бил потом ремнем капитан Несмеянов ее героиню, свою дочь — выпускницу десятого класса, сказочную блондинку с гордым именем Диана. «Вы не представляете

предел падения этой твари! — говорила в коридоре мачеха жертвы моей матери. — Все, ну все было залито... вы меня понимаете? Мне пришлось ночью, как воровке, выбрасывать наши китайские коврики!» Падшая Диана, остригшись под Ким Новак, мужская рубашка узлом на животе, брючки по щиколотку, ставила мне на патефоне самодельные диски тех лет — «на ребрах» — на рентгеновских снимках:

*Мишка, Мишка, где твоя улыбка,  
полная загора и огня?  
Самая нелепая ошибка —  
то, что ты уходишь от меня!*

Этот шлягер я и слушал, задрвав голову в пролет. Опомнившись, только и смог вскричать:

— *Incroyable!* Откуда, кто?..

— Это, наверное, *perère*, — предположила Беата.

— Какой еще *perère*?

— Который на чердаке живет.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что он русский.

Указанный *perère* здоровался с нами исключительно по-французски. Мы с Констанс переглянулись.

— С чего ты это взяла?

— Он мне сам сказал.

— Что он тебе сказал?

— Он твою «Русскую мысль» читал, а я в школу шла и увидела. И он мне сказал.

— Что именно?

— «*Moi, mademoiselle, je suis russe aussi. Je m'appelle Michail Ivanych*».

Тогда все ясно. Почтовые ящики под сводами туннельчика запора не имели; оставалось воздать должное первочитателю недешевого эмигрантского еженедельника: следов прочтения он никогда не оставлял.

На стене была кнопка с надписью *La porte*. Беата нажала ее, и дверь на улицу разомкнулась. Я выставил зонт наружу и раскрыв. Сгрудившись, вышли мы.

Лил ливень, и Париж покрыт был отвратительной коростой льда: плиты тротуара, железные вдоль него перегородки, крыши запаркованных машин — все. Более гнусной погоды, чем под это православное Рождество по старому стилю, не то, что в Париже — в жизни не видел. Машины у нас нет — как и водительских прав. Мы шли к метро, и поскольку лично я выве-

ден был во внешний мир вопреки своей творческой воле, под жидким льдом, заливающим щели улиц нашего квартала и колотящим по зонту, настроение, и без того отсутствующее, провалилось в черную дыру. Молча я нес ее в себе. Ближайшая станция метро — *Filles du Calvaire*. Крутые ступени спуска не просто обледенели, они превратились в гофрированную ледяную горку. Заглянув в этот зев, я немедленно представил себе диагноз: *перелом шейки бедра*. Такси? По бульвару Бомарше все они, включая и свободные, пронеслись мимо нас, жмущихся под зонтом, в обе стороны — как налево, к площади Бастилии, так и направо, к площади Републик. Прямо напротив — на той стороне — сияла вывеска: «*CIRQUE D'HIVER*».

— В Москве цирк лучше, — сказала Беата.

Мы посмотрели на нее сверху вниз.

— Да! Там дамы на конях скакают...

— Скачут, — поправил я как мастер родного языка. Она игнорировала:

— А еще в Москве медведи *en jupette*.

— А здесь не в юбочках?

Она не приняла иронико-шутливый тон, ответив обреченно:

— Здесь *нет* медведей.

— Зато «Макдональды» есть. Скажи мне лучше, который час.

Охотно Беата достала из кармана своей дубленки карманные часы — из красной пластмассы и с Мики Маусом на циферблате. Мы уже опаздывали. Пришлось приступить к спелеологической авантюре — вдоль кафельной стенки, по поручню вниз один за другим семейка эмигрантов соскользнула в парижскую подземку.

Тут было грязно и светло. И пестро, и тепло, и сухо — но мы приехали. Всего лишь навсего за Републик — хотя из-за пересадок и переходов ехали так долго, что отогрелись. Наверху дождь объединился со снегом, и мы погрузились в омерзительную кашу еще на полчаса, отыскивая улицу и дом. Зонт ограничивал наш кругозор, так что опоздание мы усугубили.

В лифте было зеркало. Я причесался и стряхнул воду с расчески.

Открыл нам Бруно — брюки заправлены в сапоги, в руке дымится трубка. Ни бэ ни мэ по-русски, был приведен он сюда своей Жислен — весьма охочей до нашего брата.

Квартира оказалась в одну комнату.

Хозяин этого *studio* поднялся из кресла навстречу. Когда-то за одиннадцать лет до моего появления на свет, в Москве 1937 года жили два мальчика. Отцы их были братьями. Отца одного арестовали и расстреляли, у другого — его — разорвалось сердце

в ожидании ареста. Оба мальчика выросли и стали писателями. Один, намного более известный, умер недавно в Москве, а другой, пером добывший здесь на Западе славу Папийона а ля рюсс, оказался тощ, хром, носил дорогие притененные очки, седеющие усики, перстень и страдал одышкой. Дома перед выходом я сверился с задней обложкой его книги: Алику было 55.

Мы пожали друг другу руки. В ожидании нас они ополовинили бутылку «Джонни Уокера» и задымили комнату — голландским трубочным табаком, сигаретами «Данхилл» (Жислен курила их через мундштук из слоновой кости) и беспощадными французскими «Боярами», — впрочем, Алик садил их через антеникотининовые фильтры. Непростые все были люди. Я отказался от виски: чего уж рассаживаться? И так опоздали на час.

— Бон! — поднялся Алик. — Тогда давайте не откладывая...

И мы пошли.

В ресторан. В китайский. В *его* китайский ресторан, содержатель которого, по словам Алика, *без балды* агент пекинской разведки и благоволит к клиенту, возможно, не бескорыстно, а имея виды. А ты, старик, не смейся (ничего, что тютюирую?) Разведслужба Поднебесной — это...

— Старик! — перебил он себя. — Вот, говорят, ты все читал. А роман моего кузена, посмертный?

Я читал.

— Ну, и как тебе?

Я не стал лукавить — высказал.

— Так ты считаешь? А я, ты знаешь, не смог осилить... уф-ф... Сейчас, старик...

Под зонтом, который держал я, Алик стал задыхаться. Кроме того, выйдя в изящных итальянских мокасинах, он постоянно оскальзывался, особенно на поворотах. Ни с одной женщиной не был я столь деликатен, подставляя ладонь, о которую опирался локоть этого пожилого юноши. Сохраняя образ, который он имел о себе, Алик принимал эту подстраховку не благодаря, как бы и не замечая вовсе. Но — локоть упирал. Сердце у меня сжалось. Мы стояли на углу, он опирался о стену тремя пальцами руки. Перчатки на нем были тонкой, узорчатой кожи.

Он отдышался, мы пошли.

— ...Вы обратили внимание? — начал я.

— Тютюируй, — отозвался он, — тютюируй, старик...

— Я о романе Юрия Валентиновича. Помните героя? *Антипов*.

— Н-ну.

— *Писатель Антипов.*

— Ну? Это ж он, он сам. Альтер эго, старик!

— Алик, а он вообще был как? В смысле религии.

— Кузен? — удивился Алик. — Не знаю. Лично я не замечал. Мы с ним, старик, о таких материях как-то не обменивались. А что?

— Есть такой персонаж, — сказал я. — *Антипа*. Летописец, сидящий под тронем Сатаны, но верный Господу своему.

— Это где, в Библии?

— Да, в Откровении. В Апокалипсисе...

— Любопытно. — Алик остановился. Вдыхая, как рыба, он пытался раскурить под зонтом влажный окурочек «Бояра». Он сделал затяжку и посмотрел на меня сквозь затененные стекла. — Значит, понравился тебе роман кузена?

— Я вообще люблю беспощадные книги, — ответил я как бы винясь в потаенной привязанности к его покойному кузену, которому когда-то, в конце 1970, в самый гибельный момент своей юной жизни, был я представлен в Дубовом зале ЦДЛ — этакий увалень, советский вариант Пьера Безухова, сырное, одутловатое лицо, толстые очки в типовой угрюмой оправе, и это его неожиданно застенчивое: «Юра...» За столом, который держал автор «Кортика», праздновались «Юрины» «Предварительные итоги». Я выпил рюмку водки, насильно, а потом, спустившись в подвальный кафельный сортир, выблевал ее вместе с желчью — только из больницы, я доходил тогда во всех смыслах, и эта водка «за Юру» была моей первой «писательской», хотя в то время я еще не мог предвидеть, что научусь писать и *как печатают*, навык, человеку противопоказанный.

— Во всяком случае, — добавил я, — чернее этой я пока не знаю. В контексте времени и места.

— *В контексте*, — неприязненно повторил Алик. И вдруг взорвался:

— Да что он знает об этом времени?! Кроме страха своего — нет, ты скажи мне, *что*?

— Тоже, по-моему, немало.

— Боялся так, что кровь свернулась! Женщин, жизни — всего! По-моему, старик, кузен ее просто пропустил. «Жизнь прошла мимо», была такая картина? Ладно. Пассон. Давай перенесем внимание во внешний мир. Где же он, мой ресторан?

— Не этот?

— Нет. Мой называется, старик, возвышенно. *L'Empire Celeste*. «Небесная Империя»...

Две-три затяжки — и мы поковыляли дальше. Констанс, Беата, Бруно, Жислен вдали сворачивали за угол. Больно было видеть, как Алик наступает в лужи.

Мы обошли весь квартал, но «Небесной империи» так и не нашли, хотя, благодаря упорству Алика, сыскали место, где стол был яств: замазанная изнутри витрина нас не отразила, а дверь была забита досками. Признаков Китая — никаких.

— Загад! — сказал Алик. — Ничего стабильного! Дважды в один ресторан и то войти нельзя. Последний раз, представь, гулял я здесь — когда? Ну, перед самой больницей, — в октябре. Была «Империя»!

— Обанкротился твой резидент.

— Он просто выполнил задание, — опроверг Алик. — И был отозван — я уверен! Центром!

С серьезным видом он извлек антиникотиновый мундштук, вставил новый «Бояр» — черный табак завернут в желтую, маисовую бумагу — и щелкнул зажигалкой.

— А жаль. Здесь таки-и-ие были... эти, как их?

— Креветки?

— Нет.

— Утки с апельсинами?

— Нет... подожди, как же их? Забыл, старик. Но точно помню, были — пальчики оближешь!

Так или иначе, «Империя» накрылась. Оказались мы в эльзасском заведении на площади Републик: прозаический *choucrouste royale*, излишним грузом вареной капусты, грудинки и толстых сосисок легший на желудок, и пиво, конечно, несвоевременно ледяное, а главное, усиленная имитация общения, собственное лицедейство на фоне четкого сознания необязательности всего — при том, что в километре отсюда простаивает на незаконченной фразе моя *IBM*. Перед кофе спустился в туалет, отмыл руки, отлил, машинально закурил, взглянул на себя в зеркало и опустился на ступеньку. Наверху последними конвульсиями воли Алик пытался царить — быть остроумным, быть галантным, говорить комплименты. Соответствовать образу. Я сидел и смотрел на тлеющую сигарету, на пальцы, которые ее держали, на руку — с выступившими от пива венами. В этот час и погоду даже на бойком месте посетителей в ресторане почти не было, и никто мне здесь, на ступеньке, не мешал.

Африканец в вязаной шапочке увез Алика на своем выдавшем виды такси, а мы отправились домой. Пешком по хрупкому льду и жидкому снегу. Наша дочь Беата, Констанс, я — и пара французов. Жислен и Бруно. Она в роскошной длинной шубе, он в шляпе и офицерских сапогах. Было около двух ночи. Зачем они идут за нами — этого я не понимал. Во взаимоотношениях людей здесь вообще для меня много неясного. И это я спокойно принимаю. До тех пор, пока они не начинают идти со мной на

сближение. Не обнаруживая при этом никаких, мне видимых, эмоций. Я шел и нервничал. «Нулевой градус» увязавшейся за нами пары выводил меня из себя. Это их поколение «Шестьдесят Восьмого» — жуткие люди. Раз на заре туманной юности самовыразившись, они превратились в интровертов. Настолько не обнаруживают себя, что я их побаиваюсь — порознь ли, попарно или скопом. В этом их тихом омуте не просто черти — сам Сатана, мне кажется, — там, под поверхностью, — нетерпеливо бьет хвостом.

Ну, и кроме метафизической тревоги, ведь ясно сказано поэтом: «Любить иных — тяжелый крест».

Так или иначе — мы пришли. Беата нажала кнопку — дверь отщелкнулась.

Из патио на плиты туннельчика натекло, и в луже намокал лист бумаги. Сворачивая на лестницу, я заглянул в него и обмер.

Сквозь воду на меня взглянула родная кириллица.

Страница моего романа!

С рубчатым оттиском резиновой подошвы.

Винтом я взлетел наверх. Сзади гремел сапогами Бруно.

Дверь Себастьяна-дурака была заперта.

Наша — тоже. Но из-под нее сквозило. И бился об нее, визжа, Шогун: я, помнится, его на кухне запирал. Доставая ключ, я повторял:

— Сейчас, мой мальчик, я сейчас...

Открыв дверь, я шагнул во тьму квартиры — и стая писчей бумаги, сотни машинописных страниц, бросилась мне в лицо. Шторы вздувались, окно во двор было открыто. Отбившись кулаками от своего романа, я крикнул на лестницу:

— Нас, кажется, обокрали!..

Подтверждая догадку, под каблуком что-то хрустнуло.

При свете нам предстала картина развороченного дома. Нам и незванным нами гостям. Я поднял залитую воском бутылку из-под шампанского, Бруно — чем удивил — извлек и раскрыл *Pradel*, крестьянский нож, одним поворотом металлического кольца превратившийся в боевой: достанет до сердца и не согнется. Включая повсюду свет, мы обошли квартиру. Уже некого. Бруно закрыл нож. Вошли женщины.

— ТЕЛЕВИЗОР! — с порога вскричала Беата и зарыдала оглушительно и бурно.

Цветной *Telefunken* из угла зиял чернотой отсутствия.

Бедное мое теледита.

Прижимая к себе щенка, Констанс опустилась на тахту. Шогун скулил, виляя хвостом и бешено зализывая свою вину.

Самосознание, как у немецкой овчарки, но возможности, увы, не те. Что он мог, бедняга?

— Он в шоке, бедный, — повторяла Констанс, — мой бедный, бедный! Слава Богу, хоть его нам оставили!

*IBM* они тоже оставили. Я сбросил со своей машинки книги, снимки в разбитых рамках и просто полароидные и стоял у стола, держа ее за охолодавшие угловатые бока. Это был первоисточник. Всего. Я включил машинку — она послушно загудела. Все было поправимо. Я отключил мотор и повернулся.

Не снимая шуб, французы из угла наблюдали реакции обобранных эмигрантов.

Что именно украли — в беспорядке трудно было сообразить. Все было усеяно страницами моего второго романа. Еще недописанного, но уже втоптанного в грязь. Я опустился на колени, стал собирать, бессмысленно изучая оттиски подошв первых своих критиков. Швырнул все в мусор, поднялся и увидел, что с полки над радиатором исчез черный кубок. Я привез его из Мюнхена. На случай, если придется пить свою цикуту. Я сказал:

— Позвони в полицию, *cherie*.

— А смысл? — откликнулась моя Констанс.

Из комнаты Беаты раздался вопль ярости. С кровати девочки стащили черные сатиновые простыни, чтобы завернуть в них все ее электронные игрушки. Увидев это, я вышел из-под собственного контроля. Однажды я уже выходил — когда ко дню б-летия дочери из великой и могучей сверхдержавы пришла бандероль от русской ее бабушки. Вскрыв ее, Беата обнаружила внутри старательно раздавленную сапогом таможенника игрушку, рублевого «ваньку-встаньку» из пластмассы и разорванную пополам — по бледным цветам — поздравительную открытку. У нас — по пути в Штаты — стоял тогда писатель А\*\*\*; при виде этого он тоже забился в истерике бессилия. «Крысы! — сжимал кулаки А\*\*\*. — Крыс-с-сы...» На этот раз крысы были местными. Париж кишит ими.

— Я ебал, йе-бббал! — повторял я за отсутствием в своем словаре более точного адекватата — *ебал* — и, рыча, прокладывая дорогу в мусоре, отбрасывая ковбойским сапогом «*Go West*» книжки на разных языках, фотоснимки, письма, страницы дневников, противозачаточные пилюли и прочий интим, вываленный под ноги. Крысы искали того, чего нет — денег с драгоценностями... Бруно подобрал несколько полароидных снимков. Сидел в расстегнутой шубе, сдвинув шляпу, и изучал их. Снимки были не из тех, что на показ в семейный альбом, но я ебал. Крысы их видели, пусть и психоаналитик полюбуется. На одном из них Констанс в пальто и сапогах обнимала меня — голого —

и с фингалом под глазом. При этом мы улыбались. Кому? И, главное, чему?

Явилась полиция. Три белых ажана под началом пожилого офицера-мартиниканца. Четкие, щеголеватые, экипированные до зубов — «уоки-токи», наручники, дубинки, пистолеты — они хмуρο взирали на бардак. Осмотрев разбитое окно, офицер подобрал страницу.

— Это по-русски?

— Да.

— Изящная словесность?

— Она самая.

— Месье! — Мартиниканец выпрямился. — В одном могу вас заверить. Это не КГБ.

— Вы так считаете?

— Месье, поверьте моему опыту!..

КГБ я как-то и не винил. Длинные, конечно, руки, но отнюдь не единственные. У меня были свои подозрения. И с полицией я ими делиться не стал. Ночная стража составила протокол о краже со взломом — еще один случай мелкой преступности, эпидемией захлестнувшей Париж в сезоне смены власти. Мы получили копию — с тем, чтобы приложить к ней опись пропавших вещей, а затем отправить все это в страховальную контору. Какой-то процент будет возмещен. Наличными; как говорят здесь: «жидкими». Ажаны откозыряли.

Перекурив, мы вышли проводить свидетелей. Дождь кончился, лужи замерзли, уши пощипывало. Все уже было закрыто, только на рю Сентанж — Святого Ангела — светилось занавешенное окно кафе. Из-за двери раздавался шум. Я предложил выпить по последней. Мы вошли. Внутри было ярко и тесно. Перегнувшись через стойку, бармен вполголоса предупредил: кафе специализированное. Для гомосексуалов. «В том смысле, что мы можем шокировать клиентуру?» — уточнила Констанс. «Нет, но... — замялся бармен. — Ведь с вами ребенок?» — «Ребенок, он привычный», — отрезала Констанс. Мимо стульев мы протиснулись к озеркаленной стене с подставкой для пепельниц, локтей, стаканов — и оседлали табуреты. Зеркало отражало празднично наряженных клиентов — активных и пассивных. *Look* они имели разный, и среди молодых людей сверкали заклепками и черной кожей девушки в стиле «*Sado-Maso*». К зеркалу надо мной полоской скоча была приклеена вырезанная из бумаги двукрылая фигурка в джинсах, из коих, как язык, вываливался длинный член — также бумажный. Черным фломастером вокруг по зеркалу было красиво выведено:

«*NOUS VOUS SOUHAITONS EN CETTE NOUVELLE ANNEE BEAUCOUP DE BONHEUR ET UNE GROSSE BITTE!*»\*

Избегая замечать нависающее неприличие, Жислен и Бруно сидели с непринужденным видом. В ожидании выпивки они расстегнули свои жаркие шубы. Жислен торопливо затягивалась сигаретой, Бруно, взглядывая в зеркало, вминал в свою трубку большой и оранжевый палец. Они жили в XVI-ом округе и в нашем квартале, который лет 500 если не больше вполне оправдывал свое название (*Marais*, то есть «Болото»), чувствовали себя не вполне в своей тарелке.

Иное дело дочь — несмотря на неполные десять лет. Она тянула сквозь соломинку кока-колу. В черных бархатных джинсах, черном джемпере и серой дубленке была она, и медные ее волосы рассыпались по меховому вороту. Сжимая обеими руками бутылку, она заворуженно созерцала отражения карнавализованных фигур представителей сексуальных меньшинств. Скандализованные нашим вторжением, нетерпимости они не выражали. Тем лучше для них.

Я посмотрел на Констанс.

— Хуй мне, видишь ли, пророчат на этот год! — сказал я ей сварливо.

Скорбь сострадания проступила в ее улыбке.

— Но они, — сказал я, — заблуждаются. Не веришь?

— Почему же? Верю...

— А вот увидишь!

Конечно, мой Париж — отнюдь не праздник. Нет, не фиеста! Чего уж там таить. С другой стороны, 34-х еще нет. И первый мой роман имел успех. Вернемся — соберу сейчас второй, по листочку, смою с них следы, разглажу, просушу. А главное — машинка. Ай-Би-Эм. Она — на прежнем месте. Она — стоит.

Прибыл коньяк — и я посторонился. Когда бармен повернулся спиной, Жислен переложила в левую руку сигарету в мундштуке — и выдернула из приклеенной фигурки бумажный член. Я посмотрел в зеркало — за спиной никто этого не заметил. Тощая рука Жислен с янтарным прибалтийским перстнем комкала бумажку.

— Bravo! — сказал Бруно и поднял свой коньяк. — Так выпьем за прекрасных дам. За дам-кастраторш.

Он был вне себя от ярости.

И выпил по-русски.

До дна.

\*«Много счастья вам в Новом Году — и большого хуя!»— Перевод автора.

После чего перегнулся ко мне и сделал предложение — переселиться к нему на баржу.

— Где это?

— На Сене. У Нового Моста. А кастраторши пусть тебя не пугают, — добавил Бруно. — Мы найдем на них управу. *On les enculera*, зашьем в мешок, утопим и уйдем в Атлантику. Друг?

Зрочки психоаналитика сошлись от гнева в две точки.

— *On verra*, — уклончиво сказал я.

Допил коньяк и расплатился за всю компанию. Рядом, в витрине астрологической лавки, был выставлен политический гороскоп нового Президента. Согласно астрологам, эту страну ожидала безоблачная семилетка.

На площади Республики мы посадили их в такси и — на этот раз уже окончательно — пошли домой. Составлять опись утрат. Я остановился и ударил себя по лбу:

— Бабушкин крестильный крестик! Неужели и его?!!

Констанс стянула ворот свитера, вытащила из-за пазухи и молча показала в щепоти кроткое золотое сияние.

Мы двинулись дальше. Дома ждал нас наш Шогун. Когда-то, на исходе процветания, мы заплатили за него три тысячи одной философствующей фермерше, это было в провинции, причем, в абсолютном географическом центре *douce France*. И день я помню — зеленый, голубой и солнечный. А он был — блэк.

Еще я помню, что после вышеописанных событий — наутро — он мне позвонил. Он предлагал мне поднять на предполагаемых обидчиков южных славян с Монмартра — с крупнокалиберным немецким пулеметом проехать вечерком мимо «Сезама» и разнести его до основания, а минетчицу Шехерезаду из погреба — освободить. Романтический сей вариант показался мне избыточным; я отклонил. Он справился, есть ли у меня что-нибудь — в смысле огнестрельное. Был — до той ночи. Он утешил. Огнестрельное ему, *в принципе*, внушало отвращение — как японцу. Но холодного у него был целый арсенал, и он обещал мне подобрать соответствующий клинок — перед посещением «Сезама». Вдвоем пойдем, старик: «Сегодня или лучше на неделе?» Мне было лучше на неделе.

«Вызовем их формально: перо на перо! Читал уже, как я с Хасаном резался? Нет? Ну, прочтешь. Это в Грозном, после войны... А все-таки забавно! — смеялся он. — Гуляешь в заведении с российским Папийоном, а синхронно тебе лепят скок по-парижски! Конгениально, да? Но ты не унывай! Мы с ними жестко разберемся. Перо на перо! Кишки мерзавцам выпустим, а

девочку — на волю. Несовершеннолетняя, уверен?»

«Совсем ребенок».

«В принципе, значит, ты *d'accord?*»

Я был даккор.

«Тогда, старик, в любое время. Алик ждет сигнала!»

Он отключился — больше мы не встретились.

Не по его вине.

Мне все еще тогда казалось, что Запад — это где-то форма бессмертия.

# ПУТЕШЕСТВИЕ

Напротив была женщина, ему небезразличная, но справа в поле зрения назойливо вторгался человек с красным лицом. Не исчадие ада, нет, обыкновенный пассажир, скорее всего, американец, несмотря на запах духов и тщательность в одежде — льняной костюм цвета, как говорят французы, «*погсеченной белизны*», рубашка с пристегнутыми уголками воротника и шелковый галстук — вопреки жаре. Еще в набор лица без особых примет входили белки с прожилками, глаза с доброжелательным выражением человека одного измерения, когда на деле у него их два, и во втором это уже не человек, а волчий вой: а впрочем, просто скулеж от абсолютной потерянности в этой жизни. Ботинки на нем дорогие и новые, но апоплексического удара в конце пути ему не миновать. Фоном этой красной физиономии была дерматиновая обивка и обшивка эпохи «холодной войны» — кресел, стен и всего купе в целом. Какого колера? Тухлого мяса, того самого, которое, ничтоже сумняшеся — все, мол, сожрут — бухнули на заре века в котлы российского камбуза, за что страна расплачивается до сих пор его отсутствием. Поддерживая мысль о перспективах перестройки, под потолком купе, где-то там в нише багажной полки то бросала, то вновь принималась за вялый зуд невидимая муха. Отзывало первыми синтетическими запахами детства. Именно оттуда, из детства, и выехал этот поезд, который, несмотря на спесивые таблички на своих пыльно-зеленых боках, тряско плелся периферийной веткой — прочь от европейских магистралей. Открытое окно усугубляло душегубку. Подавленно жужжало насекомое, глазами сорокалетнего мальчугана себе на уме поглядывал анонимный, хорошо одетый алкоголик. Случаются в жизни такие вот, принудительные люди. И что поделать? Ведь не бросишься с ножом.

Женщина напротив имела темные очки, все прочее, за исключением черной кожаной сумочки или, скорее, дорожного бьюара,

было на ней ослепительной белизны — несколько инфантильные спортивные тапочки с носками, юбка и «тишотка» под пиджаком с приподнятым воротником. Палец в рот не клади — такая это была дама неопределимой национальности, и смотрела она темными стеклами на томительный пейзаж в окне. Тщательно выбритые ноги, короткая молодежная стрижка, покрашенные губы. Под несильным, но все же давлением взгляда визави она подавила вздох, расщелкнула бювар, вынула из внутреннего отделения пачку сигарет и обнаружила отсутствие зажигалки.

— *Have you got a light, please...?*

Хлопнув себя по карману, человек с красным лицом ответил с американским акцентом:

— Бросил. Соу сори.

Герой, откинувшись и вынул из кармана потертых джинсов пластмассовую зажигалку. Он преподнес огня слегка дрожащей сигарете.

— Данке.

— У нас, — сказал краснолицый, — все уже бросили.

— Правильно, — сказала женщина.

— А Европа еще курит.

— *Элас!*

— Причем, Чехословакия даже больше курит, чем Германия.

— Вы едете в Прагу?

— На уик-энд, — кивнул краснолицый. — Отсюда коммунизм рукой подать. Вот преимущество Европы. — Он было засмеялся, но раздумал. — Красивый, между прочим, город. И пиво лучше, чем в Америке.

На малопопулярном языке герой спросил:

— По-русски, случаем, не говорите?

У любителя тоталитарного пива отпал подбородок. Женщина в темных очках снисходительно улыбнулась.

— Случайно говорю. Вы русский?

С безотчетной гордостью он кивнул.

— А какой?

Он ей сказал, она не поняла: — Из белых?

— Нет, из *беглых*. А вас, сказал бы я, зовут Кармен.

— А вас Иван?

— Неважно. Не скоротать ли путь за чашкой кофе?

— Если есть ресторан.

Расписание лежало на соседнем сиденье. Напротив номера этого третьестепенного поезда он обнаружил символ: миниатюрную вилочку и ножик. Крест-накрест.

— Есть.

Американец поднялся, выпуская их. Он был на полголовы выше, но орыхлел без тренировки; курить он бросил, но компенсация его нашла, бай-бай, до встречи в преисподне, анонимный ангел наш хранитель — цвета «блан кассе».

Коридорами и громыхающими тамбурами они шли по ходу поезда, а он шел в Прагу, на пути в которую им встретилась баба-яга, переодетая в официантку, обычная такая, хотя и призабытая уже. Крашенные волосы, редкие, рыжие, седые у корней, полотняная куртка не первой свежести, а именно второй, *возвратной*, к тому же и с мужского плеча; не то горбатая, то ли просто сутулая, но явно колченогая, разносчица ковыляла, таща перед собою мятую проволочную корзинку с одинокой, но большой бутылью «Российского игристого» в сопровождении многоцветья фужеров богемского стекла. Эта тяжесть молча и с нарастающей от вагона к вагону озлобленностью предлагалась редким пассажирам, даже и ему, который, отказавшись, задержал дыхание и протиснулся мимо, но уже до конца не смог избыть вернувшийся вдруг образ женщины 30-х годов, коротконогой среднерусской молодайки, которая над желобом для стока крови — он был из жести, сказано в забытой книге тех свидетельств — кончала свои жертвы выстрелом в затылок.

Вагон-ресторан был пуст и полон солнца. Дальний, за арочкой, выход из ресторана был заблокирован, там уже шел вагон почтовый, а на верхнем изгибе арочки имелась эмалированная табличка с темно-синим предостережением «*NE KOUŘIT*».

Они сели справа от прохода. Нижняя половина окна задернута занавеской, столик, их разделивший, под щедрой на международном рейсе скатертью — безукоризненно чистой. Солонка с перечницей были непривычной формы и из хрусталя. Он взял солонку. На дне приклеен миниатюрный ярлычок — синий и овальный. «*Made in Czechoslovakia*».

— Не к добру, — сказала она.

— Что именно?

— Вы соль просыпали.

— Ах, соль... Что это значит?

— Не знаю. Но надо бросить через левое плечо.

Усмехнувшись, он бросил щепотку — и поднял глаза.

Из-за переборки возник официант. В общем — нормальный, белый верх, темный низ, и русский бы в него поверил, не будь сей чех (или словак) развитым гармонически: этакий мастер спорта, кандидат в телохранители, рекомендую, с глазами интеллектуала, забывшего о заповеди «не убий» — я уж не говорю о прочих. При всем при этом он с улыбкой на распаренной и как бы добродушной будке положил на скатерть два меню в

переплетах из настоящей кожи — перед дамой, затем перед спутником.

— Энтшульдигунг, — обратилась дама. — Здесь что, нельзя курить?

Официант расплылся еще больше и ответил тоже по-немецки, но с другим акцентом:

— Можно. *Вам...*

Принес пепельницу, тоже хрустальную, и удалился — отчасти за перегородку. Сложив на груди ручищи мясника, он держал клиентов в поле выжидательного внимания.

— Никому нельзя, но *вам* можно... — Русский обслужил спутницу огнем и закурил сам. — Тем и соблазняют Запад. Кофе?

— Я бы что-нибудь и съела...

Он тоже раскрыл меню — двуязычное. По-чешски он понимал еще меньше, чем по-немецки.

— Что, например?

— Вот это, может быть? Звучит достаточно странно.

— *Ла мем шоз нур муа*, — перешел он на французский. — Должен сказать, что чувствую себя здесь не в своей тарелке.

В отличие от него по-французски она говорила свободно:

— В тарелке с борщом было уютней?

Игнорируя вопрос, он сказал, что и вообще к этой стране питает он немного — несмотря на Кафку. Еще в детстве, посетителем читальных залов как-то предпочитал журнал «Польша». Ну Швейк, окуроченный, прилипший к спине проститутки. Но в большей мере другая — про смерть, которая зовется Энгельхен. Что же до августа Шестьдесят Восьмого, то как раз во второй его половине он начал прогуливаться вечерами по Ленинским горам со студенткой из Праги, недоступность которой с каждой прогулкой становилась все более доступной — вплоть до момента вторжения. Я имею — в ее страну. После чего вопрос об иных вторжениях отпал за бестактностью. И хотя эти прогулки, оставшиеся, можно сказать, платоническими, имели место на втором курсе, на четвертом его почему-то исключили из списка группы, отправленной в Чехословакию на лето. Так он и не увидел Златой Праги, о чем сейчас, конечно, сожалеть не приходится.

— Нет, — возразила она, — город, действительно, красивый. Запущенней, правда, не меньше Питера, и в тысячу раз печальней, но очень, *очень...*

Сначала прибыли столовые приборы, включая накрахмаленные салфетки, толстые и всунутые в кольца едва ли не из черненого серебра, потом последовал кофе, каждому по два стакана (как было истолковано здесь слово *doppelt* — двойной), причем все в подстаканниках — предмет цивилизации, в памяти уже

поистершейся до дыр. Затем явилось основное блюдо — посыпанный сахарной пудрой омлет с брусничным вареньем — в каких-то тоже, по меньшей мере, мельхиоровых судках. Заменяя пепельницу на чистую, официант пожелал приятного аппетита на своем акцентированном немецком, от которого у русского непроизвольно напряглись мышцы брюшного пресса.

— Сервис, однако...

— Ты омлет попробуй. Уровень «Шварцвальдера», — имея в виду рафинированный, но за пределами Мюнхена, малоизвестный ресторан, сказала женщина с энтузиазмом человека, который у себя на кухне до утра выясняя отношения, забыл о завтраке.

Он расколыцевал салфетку. Омлет, изготовленный в недрах этого вагона, был *времен делисьез*. Не едал он подобных ни на Западе, ни на Востоке. Мысленно перелагая эту фразу на французский, он увидел, как из-за переборки появился изготовитель завтрака — повар. Если в роли официанта был рядовой боксер-тяжеловес, то в этой у них был занят просто великан. Белый берет врезался ему в красный лоб, плечи распирали халат, и за столик по соседству, но в левом ряду, он втиснулся с большим трудом. Как бы не замечая своих клиентов, повар вынул из кармана принесенную с собой газету.

Стараясь не скрежетать ножом о судок, русский, на всякий случай, умолк и по-французски, предоставив своей спутнице, лингвистически более убедительной, за двоих исполнять роль обычной западной пары. Вкушая омлет, она продолжала чешскую тему, рассказывая — быть может, не только ему — о том, как впервые попала в эту страну. Это был период, когда, наследуя московским, там уже прошли пражские процессы, фарсом от повторения не ставшие, о чем свидетельствовал финал, отмеченный виселицами, кремированием тел и ритуальным развеиванием пепла врагов по ветру новой жизни. Этот пепел еще не реабилитировали, когда в Прагу, в роскошные апартаменты барочного отеля, занесло давно исчезнувшую девочку, о которой рассказывала женщина в темных очках. О том, как девочка приобщалась к странному очарованию таких деталей, как, например, хрустальные люстры, розовые и голубые амуры на отвалах кровати или огромная ванна с латунными отворотами и на львиных лапах в зелено-голубых оттенках окисла. В отсутствие родителей — отца, занятого проблемами мирового коммунизма, и матери, занятой исключительно собой, — ванна наполнялась водой долго, но тоже до размеров мирового океана, в который та девочка запускала бумажный кораблик, отправляя его в кругосветное путешествие между всплывших волос своей

матери, от депрессии лысевшей. Новая жизнь в стране уже взяла свое, и посетители старинного отеля еще не овладели этикетом и культурой потребления озерной, допустим, форели. Отец разделял ее при помощи одной руки и вилки, причем, не той, после чего выплевывал рыбы кости, иногда и без посредства вилки, на отлогие закраины тарелки мейсенского фарфора. Что-то в девочке отказывалось следовать тому же образцу. Ее безмолвное отчаяние привлекло внимание дальнозоркого официанта. Знававший времена иные, этот старик во фрачной паре и с салфеткой через рукав, приблизился и, игнорируя сановников, склонил над ней пробор набриолиненных волос: «*Ce n'est pas grave, mon petit...*» И тет-а-тет привил ей навык обращения с благородной рыбой.

— А в следующий раз его уже там не было. И вообще все изменилось. Старую мебель выбросили вместе с ванной. Даже с потолков лепные украшения сбили. Все уже было, как в Москве, Варшаве, Бухаресте...

Она отложила нож и вилку. На салфетке остался легкий след губной помады.

За столиком через проход недвижимо сидел гигант, укрывшись разворотом «Руде Право». Официант прошел мимо него с таким видом, будто никакого отношения к коллеге и соотечественнику не имел. «Было ли вкусно?» спросил он по-немецки, имея на западнославянском своем лице приторное, но чрезвычайно умное, я бы даже сказал, *флорентийское* выражение отравителя-профессионала.

Односложно выразив энтузиазм, они заказали еще по *doppelt* кофе, вновь получив четыре стакана в мельхиоровых подстаканниках. При этом им снова сменили пепельницу, и они продолжали курить сигареты и разговаривать — впрочем, больше она, поскольку при взгляде на газетный камуфляж повара язык у него отнимался. Вернулась довольная баба-яга-разносчица — с корзинкой без «Российского игристого», которым, вероятно, соблазнился анонимный, хорошо одетый путешественник с американским акцентом. Специалист по сладкому омлету сидел за «Руде Право», будто перечитывая одну и ту же заметку: ни головой не двигал, ни газетой. Заслушался, наверное. В отличие от официанта, повар владел еще и французским. Возможно, вообще был полиглот и мастер на все руки. Надеялся услышать что-нибудь интересное. Но не на таких напал: она впитала конспираторство с молоком матери, можно сказать, его в советском детстве тоже недаром воспитывали плакаты типа «Болтун — находка для врага». И он не болтал. Даже в детстве. Он вообще был малоразговорчив. Поэтому, возможно, и взялся за перо — с

тем, чтобы, пусть и в письменном виде, но освободиться до конца.

\*\*\*

Окончательно помирившись, они сошли на последней перед границей станции. Багажа у них не было, только кредитная карточка; и по эту сторону Европы, еще разделенной железным занавесом, чувствовали мы себя не так уж плохо.

Во всяком случае — налегке.

# СОДЕРЖАНИЕ

Скорый в Петербург .....	5
Убийство на Разъезжей.....	23
Новая эпоха .....	27
Охота на светлячков .....	31
Сон Ломоносова .....	49
Мертвый час .....	59
Эстетический патруль .....	71
Любите ли вы театр?.....	99
По пути к дому .....	115
Опыт самозабвения.....	131
Под знаком Близнецов .....	147
Эмигрантка Эмма .....	177
Партия ангелов.....	185
Ночь под Рождество .....	207
Путешествие .....	221

Сергей Юрьенен родился в 1948 г. в Германии. Жил в Советском Союзе, работал в журнале «Дружба народов». В 1977 г. в издательстве «Советский писатель» вышла его первая книга, сборник рассказов «По пути к дому». В том же году членом Союза писателей уехал на Запад. В 1984 г. вышел его первый роман «Вольный стрелок», Париж-Нью-Йорк, «Третья волна»; в 1986 г. в том же издательстве выпущена книга «Нарушитель границы». Книги изданы на французском, немецком и английском языках.

*«Юрьенен, кажется, «начал» еще до эмиграции, десять лет назад, спроворился даже с первой книжечкой вступить в Союз писателей, но это не принесло ему тогда ни официального, ни либерального признания: это не было его истинным началом, для истинного начала он отправился за рубеж.*

*«Вольный стрелок» сразу ставит Юрьенена в первую линию его литературного поколения.*

*...Я думаю, появившись такой роман в порядках современной американской литературы, вызвал бы порядочную сенсацию».*

*Василий Аксенов  
«Обзрение», 1986 г.*